Глоток свободы

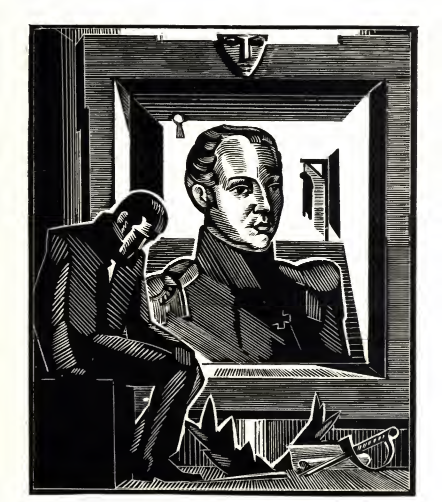
БУЛАТ ОКУДЖАВА







Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1971



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Булат Окуджава

ГЛОТОК СВОБОДЫ

ПОВЕСТЬ
О ПАВЛЕ ПЕСТЕЛЕ

Р2
О-52

Имя Булата Окуджавы широко известно. Он автор нескольких стихотворных сборников, двух киносценариев, пьесы о декабристах. Знают его и как прозаика, написавшего повесть «Будь здоров, школяр», книгу для детей «Фронт приходит к нам».

«Глоток свободы» — это историческая повесть о Пестеле, раскрывающая самые горькие страницы в истории декабристского движения. Создатель программы революционного преобразования России предстает перед читателем сложным человеком, не свободным от недостатков, свойственных дворянским революционерам. Мы видим идеолога декабристов не только в период его властной, обаятельной силы, но и в минуты слабости, когда рушились его надежды. В то же время автор дает почувствовать глубину того следа, который оставили в сознании русского общества люди, впервые открыто выступившие против самодержавия и крепостничества.

1—6—4
191—70

Павел Пестель и его эпоха

В апреле 1821 года в тревожные и славные дни восстания греков за свою независимость в Кишиневе встретились впервые и долго беседовали два человека, имена которых потом составили гордость России,— Пушкин и Пестель. В дневнике А. С. Пушкина осталась запись: «9 апреля. Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» О том, какое большое впечатление произвел на поэта новый знакомый, свидетельствует и сохранившийся в пушкинских бумагах набросок пером — резко очерченный профиль его собеседника — высокий прямой лоб, проницательный сосредоточенный взгляд, решительный волевой подбородок. Некоторые знакомые Пестеля склонны были усматривать в нем сходство с Наполеоном, и не только фигурой — небольшой, плотной и коренастой, но также твердым мужественным характером, воинской доблестью, разносторонними талантами. Главнокомандующий граф Витгенштейн говорил, что Пестель всюду будет на своем месте — и на посту министра, и во главе армии. С одинаковым успехом он мог быть также дипломатом и разведчиком, сам же готовился стать законодателем революций, главой и основателем величайшей республики на свете. Сподвиж-

ники называли его «гениальным» и гордились им как «одним из замечательнейших людей своего времени».

Павел Иванович Пестель, сын московского почт-директора, родился 24 июня 1793 года.

Годы учения сына вельможи — в александровское царствование И. Б. Пестель стал сибирским генерал-губернатором — в общем малоинтересны, если не считать того, что в течение четырех отроческих лет мальчик обучался в Германии. При возвращении на родину он сразу же попал в выпускной класс привилегированного Пажеского корпуса, и здесь учебное начальство осталось им недовольно: юноша не стеснялся порицать крепостное право, толковал о равенстве. «Пестель имеет ум, в который извне вливаются вольнолюбивые внушения»,— отметил директор корпуса. Тем не менее в декабре 1811 года имя Павла Пестеля как первого по успехам выпускника было выбито золотыми буквами на мраморной доске.

Время было тревожное. В составе лейб-гвардии Литовского полка юный прапорщик двинулся в поход, навстречу военной грозе. Боевое крещение он принял в Бородинском сражении. Под вечер во время атаки французских позиций его тяжело ранили.

За храбрость, проявленную в бою, Кутузов наградил Пестеля золотой шпагой.

После восьмимесячного лечения, с незатянувшейся раной, из которой все еще выходили кусочки кости, двадцатилетний подпоручик поспешил вслед за действующей армией за границу, где его назначили адъютантом главнокомандующего графа Витгенштейна. Вновь и вновь он отличается в сражениях, и его боевые подвиги отмечаются пятью орденами. Но не золотые генеральские эполеты, не будущая карьера занимали молодого офицера. Он принадлежал к той славной дружине верных сынов отечества, чьи патриотические чувства пробудила всенародная война против нашествия Наполеона.

«Мы — дети 1812 года»,— с полным правом говорили о себе декабристы. Военная страда сблизила лучших из офицеров с солдатами, заставила по-новому взглянуть на бедствия закрепощенного крестьянства. Невиданный патриотический подъем масс в годину Отечественной войны, когда «славные опасности», по выражению Н. Г. Чернышевского, «пробудили к новой жизни русскую нацию», вызвал в передовых офицерах чувство уважения к своему народу, стремление напомнить о его национальных заслугах и традициях, забытых дворянской аристократией.

«Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании»,— говорил декабрист Иван Якушкин.

Освобождение России и Европы от наполеоновского ига служило доказательством в глазах декабристов способности русского народа «к самостоятельным действиям, и следовательно, и к самоуправлению». Декабристы желали видеть свободным «русский народ, первый по славе и могуществу своему».

Реальные основы и идейные источники мировоззрения декабристов не исчерпывались родной почвой. В первой четверти XIX века еще очень жива была память о событиях великой французской революции, провозгласившей освободительные идеи новой эпохи. Во время заграничных походов будущие революционеры увидели уже освобожденные от феодальных пут народы, близко познакомились с учреждениями и принципами, рожденными французской революцией.

Французская революция 1789 года, по свидетельству мемуаристов, была чуть ли не ежедневным предметом разговоров и жарких споров в среде деятелей тайного общества.

Однако большинство декабристов, в особенности члены Северного общества, напоминали таких известных деятелей 1789 года, как маркиз Лафайет и граф Мирабо. Готовые признать заслуги этих более чем умеренных революционеров,

они с ужасом говорили о Робеспьере и Марате. Одобряя «Декларацию прав», составленную Лафайетом, большинство декабристов, как бы следуя этому деятелю французской революции, порицало якобинскую диктатуру. Только немногие решились бы заявить вместе с Пестелем, что Франция блаженствовала под управлением Комитета общественного спасения. Пестель видел заслугу якобинской диктатуры в том, что она твердой рукой предотвращала попытки аристократической реставрации. В то же время у Пестеля можно найти и проницательные мысли о нерешенности задач французской революции, ибо «аристократию феодализма» заменила «аристократия богатства».

Деятелей тайного общества волновали известия о революционных событиях современного им мира. В Южной Европе и в Южной Америке народы с оружием в руках взялись за дело национального освобождения. В начале 1820 года вспыхнула революция в Испании, затем последовали революции в Неаполе, Португалии, Бразилии, Сан-Доминго. Весной 1821 года восстала против турецкого гнета Греция. «Что почта, то революция»,— восхищенно записывал в дневнике декабрист Николай Тургенев.

— Дух преобразования заставляет умы клокотать,— заявлял Павел Пестель.

Но если передовая молодежь думала о свободе, то правительство делало все возможное, чтобы удержать народ в рабстве, погасить искры свободы и просвещения. «Воспитанный под барабаном», как отозвался о нем поэт, Александр I стал преследовать офицеров суворовско-кутузовской школы. Тупая муштра, избиения солдат, издевательства возвращали армию к павловским порядкам.

В стране установился режим аракчеевщины. Александр I, занятый борьбой с революционным движением в Европе, поручил управление государством невежественному и жестокому крепостнику Аракчееву. Аракчеев покрыл Россию военными поселениями. Под страхом самых тяжких наказаний

солдаты должны были обрабатывать землю и одновременно нести военную службу.

Пытаясь предупредить распространение передовых идей, правительство занялось насаждением религиозного образования. Вводится строжайшая цензура. Из столицы высылается за вольнолюбивые стихи Пушкин. Из университетов изгоняются лучшие преподаватели. Наступает полоса самой мрачной реакции.

Аристократы в гвардейских мундирах бездумно бросаются в кутежи, швыряют деньги в заграничных вояжах. В летописях Кавалергардского полка сохранился рапорт о годичном отпуске в Испанию «дабы посмотреть тамошних красавиц».

Но светские забавы были чужды Пестелю и его друзьям.

На вечеринках они обсуждают европейскую политику, регулярно собираются на квартире профессора Германа, убежденного противника крепостничества, слушать лекции по политической экономии.

— Это странно! Очень странно! Отчего они вздумали учиться? — вскричал Александр I, узнав об этих лекциях.

Основания для подобного беспокойства были. Зимой 1816 года в Петербурге возник кружок патриотически настроенных офицеров, вознамерившихся спасти Россию от царского деспотизма и варварства крепостников. В этот «Союз спасения», преобразованный затем в более многочисленный «Союз благоденствия», вошел и Пестель. Здесь впервые он принял участие в спорах о подходящих для России формах государственного правления, о способах борьбы с самодержавием.

Большое впечатление на еще неопытных заговорщиков произвели ошеломляющие известия об испанской революции. Командир батальона стрелков Рафаэль Риего поднял восстание и заставил короля присягнуть конституции и созвать парламент. Военная революция «наподобие гишпанской» стала будоражить умы наиболее радикальных офицеров. Уме-

ренный в общем «Союз благоденствия» был распущен с тем только, чтобы создать более действенные революционные организации. В Петербурге в 1821 году создается Северное общество во главе с Сергеем Трубецким и Никитой Муравьевым. В Тульчине, на Украине, тогда же образуется Южное общество, организатором которого и идейным вождем стал Пестель.

К этому времени он уже более семи лет пробыл в должности адъютанта главнокомандующего. Впоследствии выяснилось, что в списке «Союза благоденствия», попавшего в руки царя с помощью доносчика, была и фамилия Пестеля. Но не столько ставший известным царю роспуск этого тайного общества, сколько блестящее выполнение разведывательного задания о греческом восстании 1821 года отчасти оправдало в глазах Александра I молодого подполковника. Когда министр иностранных дел Нессельроде поинтересовался, какой дипломат составил столь проницательный документ о положении Греции, царь ответил:

— Не более и не менее как армейский подполковник. Да, вот какие у меня служат в армии подполковники.

Вскоре Пестель производится в полковники и назначается командиром худшего во 2-й армии Вятского полка, известного казнокрадством начальства и дезертирством солдат.

Новый полковой командир начал с того, что заменил прежних командиров по-настоящему деятельными и дисциплинированными офицерами. Одновременно он сразу же позаботился о солдатском питании и одежде — для этого пришлось затратить даже собственные средства. Не удивительно, что среди «нижних чинов» резко сократились болезни, прекратилось дезертирство. На «высочайшем» смотре Вятский полк прошел церемониальным маршем одним из лучших.

Гораздо энергичнее, чем парадными упражнениями, Пестель занимался в это время делами тайного общества. Когда

потом следственный Комитет задавал вопрос: «Кто из членов наиболее стремился к распространению и утверждению мнений, и к самому начатию действий общества советами, сочинениями и влиянием своим на других», ответ нередко гласил: «Один Пестель».

— Из всех нас он один в течение почти 10 лет, не ослабевая ни на одну минуту, упорно трудился над делом тайного общества. Один раз доказав себе, что тайное общество — верный способ для достижения желаемой цели, он с ним слил все свое существование,— рассказывал Иван Якушкин.

У Пестеля даже не нашлось времени для женитьбы, хотя иногда подобные планы у него и возникали. Редкие вечера, которые отдавались отдыху, он проводил за фортепьяно, часами играя Моцарта и Глюка, а затем незаметно переходя на импровизацию. Одну из музыкальных пьес Пестеля декабристы восстановили в Сибири и написали слова на его музыку.

Пестель, как подлинный революционный лидер, знал «одну, но пламенную страсть» — тайное общество. Ему отдавал он весь свой досуг, свою одаренность организатора и теоретика.

Значительнейшим памятником политической мысли движения декабристов явилась «Русская Правда» Пестеля — наказ будущему революционному правительству.

«Русская Правда» провозглашала Россию республикой и заявляла об уничтожении крепостного права. Временная революционная диктатура должна была подготовить введение выборного представительного правления и наделить крестьян землей, для чего предполагалось обратить в их пользу до половины помещичьих угодий. Одно это предложение показывает, как далеко опережал Пестель дворянских реформаторов 1861 года с их грабительскими «отрезками».

Важнейшей теоретической заслугой Пестеля была разработка программы республиканского устройства России,

Когда на съезде в 1823 году Южное общество приняло «Русскую Правду» как свою программу, Пестель стал настойчиво добиваться слияния с Севером. Однако ни поездки его эмиссаров, ни личные встречи с руководителями Северного общества больших результатов не давали. Слишком многое разделяло довольно умеренных «северян» и радикальных «южан». Юг был за республику, Север — за конституционную монархию, Юг — за революционную диктатуру на время переходного периода, а Север ориентировался на Учредительное собрание. Да и во всех других важных вопросах — о тактике вооруженного восстания, о будущих границах Польши — всюду были разногласия. Кроме того, в Петербурге упорно подозревали руководителя Южного общества во властолюбии. Идею революционной диктатуры трактовали как бонапартизм. Человека, мечтавшего о славе Вашингтона, за глаза называли Наполеоном, забывая о том, что будущий император Франции был далек от того, чтобы отдавать лучшие годы своей жизни на разработку республиканской конституции. И все же некоторые сдвиги в сторону объединения были. На нем настаивали молодые и весьма энергичные члены Северного общества — поэт Кондратий Рылеев и писатель Александр Бестужев.

Во время поездки Пестеля в Петербург в 1824 году было решено через два года созвать объединительный съезд.

Но над тайным обществом нависли темные тучи. Офицеры не соблюдали конспирации, слишком смело рассуждали о своих делах при посторонних. В общество проникли шпионство и измена.

В ноябре 1825 года в главную императорскую квартиру в Таганроге поступило сразу три доноса о тайном обществе. Один из шпионов представил даже полученное им для передачи Пестелю письмо со сведениями о ячейке в Кавалергардском полку и о планах организации типографии. Однако самым страшным для Южного общества оказался донос от человека, которому Пестель многое доверял и который был

знаком даже с содержанием «Русской Правды». Этим предателем стал штабс-капитан Майборода, незадолго перед тем уличенный в растрате казенных денег. Опасаясь расследования, Майборода, давно уже выведывавший секреты своего командира полка, притворяясь его единомышленником, решил упредить течение событий.

Не успел Пестель получить от своих друзей в штабе армии сообщение о том, что общество, видимо, раскрыто, как внезапно распространилась ошеломляющая новость: 19 ноября в Таганроге умер Александр I. Это известие должно было ускорить события.

Пестель прекрасно понимал, что успех политической революции решается в столице. Но оперативной связи с Петербургом тогда не было, и руководители Южного общества проводили день за днем в мучительной неизвестности, теряясь в догадках и предположениях. Ежедневно рискуя быть арестованным, Пестель все же не решался дать сигнал к восстанию. К столь неожиданно возникшей благоприятной ситуации общество не было готово. Об этом на следствии вполне откровенно и очень выразительно заявил один из виднейших южных декабристов — генерал Михаил Орлов. «К несчастью, их обстоятельства созрели прежде их замыслов, и вот отчего они пропали»,— писал он в своих объяснениях. Слова «к несчастью» подчеркнул дважды сам Николай I, руководивший следствием. К ним он поставил 11 (одиннадцать!) восклицательных знаков и заключил их огромным двенадцатым.

Вечером 12 декабря Пестеля внезапно вызвали в штаб армии, куда, как ему сообщили, неожиданно приехал состоявший при царе генерал-адъютант Чернышев. При въезде в Тульчин глава Южного общества был задержан, и ему пришлось отдать свою шпагу. Ядом, который хранился у него уже несколько лет, он не воспользовался: еще теплилась надежда на успех заговора в Петербурге, на восстание на Юге.

В этот день в Петербурге на квартире Рылеева окончательно был утвержден план восстания. Революционные полки должны были окружить Сенат и заставить его издать Манифест об уничтожении «бывшего правления» и отмене крепостного права.

Утром 14 декабря колонна Московского полка во главе с Александром Бестужевым построилась в каре у памятника Петру I, напротив Сената. Вскоре туда прибыл гвардейский морской экипаж во главе с Николаем Бестужевым, а также Гренадерский полк.

На Сенатской площади оказалось около трех тысяч восставших войск. Но назначенный военным руководителем (диктатором) полковник князь Сергей Трубецкой проявил малодушие и на площадь не явился. Другие организаторы восстания действовали нерешительно. Солдаты дрожали от холода, офицеры спрятали сабли в ножны. Новому царю Николаю I удалось окружить мятежное каре 10 тысячами верных ему войск. Но для восставших еще не все было потеряно.

Ряд полков при случае готов был примкнуть к восстанию. На Сенатской площади был и народ — рабочие, ремесленники, дворовые, разночинцы. Многие из них сочувствовали восстанию. Строители Исаакиевского собора кидали в Николая I и его свиту камни и поленья.

Когда начались сумерки и положение стало критическим, царь дал команду стрелять по восставшим из пушек. Солдаты, теряя убитых и раненых, побежали по льду через Неву. Восстание было разгромлено. Узнав о катастрофе в Петербурге, члены Южного общества осознали свою обреченность. Смятение вкралось в их ряды. Одно за другим раздавались предложения поднять восстание в полках или в военных поселениях, выдвигался проект освободить Пестеля. Но только попытка ареста крупного деятеля тайного общества Сергея Муравьева-Апостола заставила его поднять на восстание Черниговский полк, в котором он служил.

Однако колонну полка встретил огонь правительственной артиллерии, и все заговорщики были схвачены.

Вечером 17 декабря по указу Николая I открыл свою деятельность «Высочайше учрежденный Тайный Комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества».

Вскоре это бюрократически названное учреждение перестало называться тайным, а в мае 1826 года было переименовано в комиссию. Комитет (а потом комиссия) заседал почти беспрерывно в течение нескольких месяцев. Вот его-то заседаниям и посвящены многие страницы повести Булата Окуджавы.

Обыкновенно Комитет допрашивал обвиняемых сначала устно, а потом эти же вопросы посылались в каземат, где заключенный отвечал на них письменно.

За ходом следствия неустанно следил сам царь, который лично допрашивал в первые дни многих руководителей Северного общества. Страх, испытанный им 14 декабря, боязнь, как бы следствие не упустило кого-либо из бунтовщиков, заставили Николая I опуститься до роли полицейского следователя. Угождая императору, члены Комитета всячески добивались от декабристов раскаяния и стремились исторгнуть признания угрозами и лживыми обещаниями. В результате арестованные, не чувствуя за стенами крепости никакой общественной поддержки и напуганные страхом пыток, нередко падали духом и оговаривали себя и своих товарищей. Хотя правительство и старалось уяснить себе вопрос об источниках «вольномыслия» участников тайного общества, едва ли не главной задачей Комитета было представить всех декабристов цареубийцами. Этой цели и подчинялся весь ход следствия, о чем ближайший помощник Пестеля Н. И. Лорер писал: «Следственный комитет был пристрастен с начала и до конца. Обвинение наше было противозаконно, процесс и самые вопросы были грубы, обманчивы и лживы» (*Н. Н. Лорер*. Записки. М., 1931, стр. 102).

Когда Пестеля арестовали, он сказал своему товарищу Сергею Волконскому:

— Не беспокойтесь, ничего не открою, хотя бы меня в клочки разорвали.

Узнав, что следователи хорошо осведомлены о делах и замыслах тайного общества, Пестель пал духом и даже обратился к генералу Левашову с покаянными письмами. Но потом он вновь обрел самообладание и до конца держался достойно, несмотря на ослабевшие силы.

Особенно отягчали вину Пестеля два пункта: «Русская Правда» и планы цареубийства. Вот почему в записках Николая I он назван «злодеем во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния». Вот почему Пестель в числе пяти главных обвиняемых был приговорен к четвертованию. Лицемерный царь, правда, распорядился о казни «без пролития крови».

13 июля 1826 года Пестеля и его товарищей — К. Рылеева, С. Муравьева-Апостола, М. Бестужева-Рюмина и П. Каховского — вывели на кронверк Петропавловской крепости. Увидев эшафот, Пестель произнес: «Неужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отворачивались от пуль и ядер. Можно было бы нас и расстрелять!»

...Тела казненных тайно захоронили на одном из пустынных тогда островов невского взморья. В дни столетнего юбилея восстания декабристов в 1925 году здесь был воздвигнут памятный обелиск, и остров получил название острова Декабристов.

Причину поражения декабристов понять нетрудно. Дворянские революционеры, они опасались крестьянских выступлений, повторения пугачевщины и готовили чисто военный переворот. Так же как испанский революционер Риего, они не могли опереться тогда на большинство армии, и были разбиты.

«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа»,— писал В. И. Ленин (Полн. собр. соч., т. 21, стр. 261).

Тем не менее декабристы сыграли выдающуюся роль в русской истории. «Пушки на Исаакиевской площади разбудили целое поколение»,— вспоминал А. И. Герцен. Вполне закономерно, что декабристам посвящена большая литература, как научная, так и художественная. Но в этой литературе сразу же бросается в глаза диспропорция: Северному обществу в связи с восстанием 14 декабря посвящено гораздо больше произведений, чем более революционному Южному, об иных второстепенных деятелях написано больше, чем о вождях декабристов.

Долгое время не везло виднейшему руководителю тайного общества П. И. Пестелю. Почти 35 лет готовилось к печати издание его «Русской Правды» — она полностью была напечатана лишь в 1958 году, через 132 года после смерти декабриста. Едва не пропало его следственное дело: в годы революции оно исчезло с архивной полки и только спустя несколько лет нашлось. О Пестеле не было исследований — очень уж трудно было разобраться в «Русской Правде», в истории Южного общества. В последние десятилетия положение изменилось: появились монографии о философских, экономических, социально-политических взглядах Пестеля, вышла научно-популярная биография в серии «Жизнь замечательных людей». И вот, наконец, перед нами повесть о Пестеле Булата Окуджавы. Повесть написана в оригинальном творческом ключе. Это не обычное для биографического жанра спокойное и последовательное повествование со всеми нужными и не очень нужными датами и фактами, где как будто бы есть все детали и нет запоминающихся образов, неповторимых личностей. Нет, это не протокол деяний и высказываний, столь свойственных порою документальному жанру. Историческая повесть «Глоток свободы» — произведение своеобразное по форме, неожиданное своими образами, психологическими конфликтами, острым сюжетом. В повести образными средствами воссоздаются наиболее драматические страницы движения декабристов. В центре — фигура вождя

Южного общества П. И. Пестеля и его сподвижников. Хотя действие отнесено к периоду появления членов тайного общества перед длинным столом следственного Комитета, на страницах повести возникают портреты наиболее видных декабристов, проходят наиболее интересные эпизоды их борьбы.

Вряд ли можно требовать от художественного произведения всестороннего очерка мировоззрения главного героя повести или хотя бы его социально-политических взглядов. Это большая и трудная задача, с которой еще не справились философы и историки (соответствующие работы носят не столько исследовательский, сколько популярный характер). Но автору «Глотка свободы» удалось показать, какую огромную морально-нравственную силу таила в себе личность революционера такого ранга, каким был Павел Пестель. Влияние этой выдающейся личности, как известно, признавалось впоследствии в мемуарах многих декабристов. В повести Булата Окуджавы это влияние сказывается не только на товарищах Пестеля по тайному обществу, но и на лицах, которые отнюдь не являлись и не могли являться его единомышленниками — тем сильнее представляется сила этого воздействия.

Примечательно, что отсвет значительной личности Пестеля все более и более бередит душу довольно наивного, но честного и бесхитростного юноши, попавшего по прихоти судьбы в писари следственного Комитета (Авросимова). Всецело остается преданным Пестелю и вполне исторический персонаж — денщик Савенко, который во время допросов поражал причастных к заговору офицеров своей верностью. Известно, что Николай I по-своему оценил это качество бывалого солдата: приказал отправить его в действующую армию на Кавказ.

И наконец, наиболее, пожалуй, противоречивый персонаж повести — предатель Майборода, вспоминающий, как он любил своего командира. Образ этого иуды, презираемого

даже недругами декабристов,— определенная удача автора, сумевшего показать сложное переплетение, своего рода калейдоскоп душ и характеров офицерской молодежи 20-х годов прошлого века.

В своем «Докладе о революции 1905 года» В. И. Ленин говорил о декабристах как зачинателях революционного движения в России. Отмечая, что в 1825 году «руководство политическим движением принадлежало почти исключительно офицерам, и именно дворянским офицерам», В. И. Ленин напоминал, что «масса солдат, состоявшая тогда еще из крепостных крестьян, держалась пассивно» (Полн. собр. соч., т. 30, стр. 318). В этих условиях принятая декабристами тактика военного заговора обусловливалась не только классовой ограниченностью дворянских революционеров, но и тем, что в то время не было готовности народа к вооруженной борьбе. Однако декабристы сыграли огромную роль в истории освободительного движения. Декабристы принадлежали к числу тех, о ком В. И. Ленин говорил: «Лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ» (Полн. собр. соч., т. 23, стр. 398).

В ряду славных деятелей первого поколения русских революционеров достойное место занимает и глава Южного общества декабристов Павел Пестель.

С. ВОЛК,
доктор исторических наук

1

Иван Евдокимович Авросимов, молодой рослый розовощекий человек с синими глазами, широко посаженными, отчего выражение его лица было всегда удивленным и даже восторженным, не успел пронумеровать и половины объемистой тетради, как затылком ощутил, что в комнате появились люди.

Они вошли неслышно, чем немало смутили нашего героя и даже повергли его в трепет.

И действительно, шутка ли сказать, но как бы вы, милостивый государь, не вздрогнули и не сжались бы, когда в комнату, где вы приспособились быть один со своим занятием, вдруг пожаловали бы столь знатные особы, рядом с которыми вы ничто?

И не то чтобы один из них заглянул в дверь мимоходом, случайно (и то страху не оберешься), а просто весь Высочайше учрежденный Комитет при всех орденах и регалиях изволил пожаловать к длинному своему столу, словно на торжественное пиршество.

У Авросимова, как он ни перепугался, все же мелькнул этот не совсем, может быть, удачный образ

относительно пиршественного стола, ибо со времени известного и ужасного предприятия на Сенатской площади прошло около месяца и первоначальный ужас начал зарастать корочкой.

Иван Авросимов, будучи провинциалом, никогда не предполагал, что фортуна так смилостивится над ним и уже в молодые лета вознесет его в место, которое раньше и сниться-то ему не могло и где будет решаться судьба предприятия, наделавшего в государстве столько шуму.

И хотя наш герой сидел от главного стола на почтительном расстоянии, за своим маленьким столиком, в углу, и не должен был слова молвить, он, однако, нисколько не чувствовал себя обойденным. И вот уж действительно не было ни гроша, да вдруг алтын, ибо не приди его дядя, отставной штабс-капитан Артамон Михайлович Авросимов, в то знаменательное утро на площадь просто так, полюбопытствовать, как солдаты выстраиваются вкруг Петрова монумента, и не увидь он молодого императора Николая Павловича, который на всякий народ, на кучеров да на мастеровых, топал ногами в ботфортах и кричал: «Вот я вас!..» и не бросься Артамон Михайлович с обнаженной шпагой на эту толпу с яростью, помутившей его взор, что царю не подчинились, и не осади толпа, не было бы у нашего героя нынешнего взлета.

Однако все произошло именно так, и его величество изволил обратить внимание на Артамона Михайловича и на его верноподданное старание и на ярость, и даже сказал при этом: «Молодец, я тебя не забуду...»

И ведь не забыл, ибо к Артамону Михайловичу, примкнувшему к царской когорте, несмотря на его

 преклонные годы, уже через какой-нибудь час под-

скочил адъютант генерала или полковник какой-то, а может быть, и не тот и не другой, а сам генерал, и повлек старого Авросимова за собой, и граф Чернышев или Милорадович, со щекою в крови, протянул ему руку в белой перчатке...

Что там в этой перчатке было, дядя не рассказывал, но стоило Артамону Михайловичу потом заикнуться о своем племяннике, как тотчас племянник этим графом был вознесен и усажен на стул — писать быстро и разборчиво все, что говорится в Комитете, где эти гордые и недосягаемые государственные деятели спрашивают у бунтовщиков по всей строгости, как, мол, они даже в мыслях могли иметь такое, а не то что на площадь выходить с оружием.

Вот уже почти неделю Иван Авросимов восседал на своем стуле, вот уже почти неделю по утрам входил он во двор Петропавловской крепости, однако привыкнуть никак не мог, и всякий раз вздрагивал, как перед ним взлетала полосатая палка шлагбаума.

И пока он торопливо семенил по двору, махнув рукой на достоинство и походку, выработанную в своей провинции, то есть умение ходить медленно, задрав голову, чтобы не подумали, что он там что-нибудь такое, а он как-никак все-таки Авросимов и владелец двухсот душ, и вот пока он семенил таким образом, его одолевали всякие страшные мысли под влиянием темных крепостных стен и окон казематов, за которыми гибли живые души.

И нынче утром, как всегда, пробегал он двор, торопясь на свой стул чудесный, и вдруг в отличие от прошлых разов, когда только страх и ужас леденили его, почувствовал, как вдруг что-то облегчило душу, и он понял, что это от мысли о том, что он не принадлежит к числу тех, кем так плотно нынче забиты казематы.

Наверно, музыка играла, когда они, преследуя Бонапарта, проходили Европой, и родина, уже перекроенная на сей европейский манер, виделась им издалека. Каково же было их огорчение, когда, вернувшись, застали они свою землю пребывающей в прежнем виде; каковы же были их гнев и неистовство при мысли об сем, и, уже ослепленные, ринулись они в безумное свое предприятие так, что цепи зазвенели. Да и кому из их противников была охота привычным своим поступиться?.. И двери крепости широко раскрылись перед ними.

Господи, как это прекрасно придумано, что человеку непричастному можно дышать свободно, что есть судья, который все видит, все знает, и ни в чем его не собьешь. Ведь могло бы случиться так, что он, Иван Авросимов, ходил бы, влача цепи на ногах... Ан не случилось.

И это был первый день, когда наш герой смог по-настоящему вздохнуть свободно. И он вздохнул, с благодарностью оценивая все выгоды своего положения. И словно в подтверждение его мыслей, перед ним возникло печальное шествие, которое состояло из преступника и из двух солдат с офицером во главе. Куда вели злодея, Авросимов не понял, да это было и неважно, но он еще раз радостно вздохнул, будто только что сам вырвался на свободу, да к тому же перестал семенить и голову вскинул, чтобы уж никак не было сходства, чтобы лишний раз для самого себя хотя бы почувствовать пропасть меж собой и им...

А злодей шел на него, и место попалось такое, что нельзя было Авросимову свернуть, и он даже остановился, чтобы вдруг ненароком не задеть злодея, не коснуться его. И так он стоял, видя его приближение, вознеся голову и стараясь придать лицу выра-

жение полного презрения, хотя сквозь все усилия все-таки пробивалась краска испуга и губы мелко подрагивали.

А злодей все приближался. Был он коренаст. Дорогая шинель была наброшена на плечи. Ноги его ступали в снег неуверенно. Из-под серой нанковой шапки вылезал на лоб светлый чубчик, довольно-таки реденький. Ах, знаком был этот облик, знаком! И молодой Авросимов решительно глянул злодею в глаза. Но глаз его он не увидел. Глаз не было. Был белый блин. Авросимов вгляделся, недоумевая, и вдруг понял: батюшки, тряпка! Глаза преступника были завязаны, и конвоиры шли к нему вплотную, чтобы он не потерял направления.

Зачем же ему завязали глаза? Этой меры наш герой никак осознать не мог. А знал ли этот коренастый, как плачевно кончится его предприятие, когда полный сил и здоровья скликал солдат и распространял хулу на его императорское величество? А знал ли он, что его вот так поведут с завязанными глазами через крепостной двор и он, Авросимов, будет глядеть на него с чистой совестью? Знал ли он? Нет, он не знал. И, снедаемый гордостью и честолюбием, наверное, злорадно смеялся и руки потирал, представляя себе, как будет униженно просить его о помиловании сам государь император, ибо не мог же он замышлять свое черное дело без того, чтобы не надеяться на это. И ведь дядя Артамон Михайлович не так чтобы ни с того, ни с сего вдруг кинулся, обнажив шпагу, на толпу, которую хлебом не корми, а только дай ей позлодействовать. И эти высокие сановные люди ведь неспроста же собираются каждодневно в комнате, где и Авросимову выпала честь пребывать, собираются, чтобы решать, как государству очиститься от мрака бунтов и тоски хаоса.

Так с достоинством и твердостью размышлял наш герой, пока печальное шествие не скрылось за углом здания.

Явившись в Комитет значительно раньше положенного времени, он намеревался в тишине и одиночестве тщательно подготовиться к работе, но высокие чины незамедлительно пожаловали следом, словно не решились оставить молодого Авросимова наедине с собою. Они вошли один за другим, блистая эполетами, вошли бесшумно, словно не касаясь пола, и пестрая, недобрая их вереница потекла, огибая длинный, покрытый синим сукном стол.

Авросимов встретил их стоя, вытянув руки по швам и вперив глаза в их лица, хотя ничего перед собою не видел, а только какое-то шевеление, мелькание и легкую суету; и, лишь когда все уселись на свои стулья с высокими спинками, зрение его слегка прояснилось и он смог как бы в тумане различить наконец отдельных представителей этого ослепительного воинства.

Когда матушка Ариадна Семеновна провожала его и напутствовала в дорогу, Авросимов никак не мог понять ее слез и страхов, ибо вознесение его хотя и было внезапным и стремительным, но ведь за что-то оно ему да выпало, ведь счастливые встречи Артамона Михайловича с царем и срочное письмо и прочее — ведь это был знак судьбы, тайных движений которой никто не умеет объяснить покуда.

Но взгляните-ка вокруг, вдумайтесь-ка. Много разных людей околачивалось в то утро на площади, много племянников и сыновей ждало милости судьбы по медвежьим-то углам, не видя перед собою с детства с самого ничего такого, отчего можно было бы вздрогнуть, ахнуть, получить сердцебиение, так надо
 же, чтобы именно Артамон Михайлович обнажил

шпагу, чтобы племяннику своему письмо написал, мол, немедленно выезжай... Спроста ли это?

И вы, матушка, напрасно льете слезы, уподобляясь дворовым бабам вашим, отдающим сыновей своих в рекруты. Шуточное ли дело оказаться вдруг в Санкт-Петербурге, в самом что ни на есть его сердце, неподалеку от молодого государя и, может быть, даже его самого сподобиться лицезреть и приветствовать низким поклоном, полным благоговения и любви... Господи, да и варений, и солений, и копчений ваших у меня будет вдоволь, я ведь не к шведам отправляюсь! И с лица мне спадать не от чего, и Ерофеич присмотрит. А что до почерка, то в грамоте я не хуже иных-многих, как ведомо вам, и буйством не отличаюсь, даже на рождество, и уж если и пригублю, так самую малость, да и то с вашего же благословения, так что мне столичные разгулы эти и ни к чему, вздор это. А которые прокучивают свои состояния оттого, что им много позволено, они потом и устраивают в горячке разные противозаконные предприятия... А я отправляюсь на царскую службу с ясным разумом, чистым сердцем и спокойною душою.

И когда кибитка выехала наконец с господского двора и, вздымая снег, заскользила по укатанной дороге, и сельцо уже скрылось за леском — все стало затухать помаленьку: и матушкины слезы позабылись почти, и лица приживалок, и жалобы, и жалостные слова, все... Только тревога какая-то осталась в душе молодого Авросимова, от которой он не мог избавиться, и она саднила где-то там, в глубине, и пощипывала, и нашептывала, и отдавала холодком.

Размышляя вдруг об всем этом, он и не заметил, как ввели очередного злодея, а уж когда заметил,

тому с лица конвоиры молча срывали повязку, чтобы мог оглядеться.

Вот и огляделся. И Авросимов наш с удовольствием представил, как этот злодей видит все вокруг себя, как у него синие круги перед глазами пробегают, как он трепещет да притворяется, что страху у него нет,— еще раз судьбу испытывает.

И наш герой глянул исподлобья в глаза злодею, тот ответил, так нехотя, так равнодушно своим отрешенным взглядом и отворотился, и Авросимов его узнал! Он вспомнил двор крепости и его, коренастого, идущего под конвоем...

Наступила тишина. Слышно было, как снег за окошком падает и в стекло попадает. И злодей, молодой еще, полковник, слегка кивнул сидящим за столом, вот именно, кивнул, и прикрыл глаза. Любопытно. Ему на колени, наверное, не мешало бы стать...

Авросимов изготовил перо и прицелился, не совсем, однако, представляя себе, о чем еще можно спрашивать такого вот с круглым лицом и маленькими глазами, в которых ни мольбы, ни покаяния... И вдруг он обратил внимание на руки полковника, которые мелко тряслись, выдавая страх перед лицом важных особ, глядевших на злодея молча и с гневом.

Снег шуршал о стекла. Конвойные офицеры переминались едва заметно. Ну пора, пора, начинайте же! Как вчера, как третьего дня: кто таков, род и звание, кто вовлек в преступный заговор и когда, как решился и почему, и прочее, и прочее, и прочее, чтобы и этот, как те его соумышленники, ответствовал с дрожью в голосе и печально, потому что теперь уже ничего не оставалось другого, как отвечать, каяться и рыдать, не стесняясь, в голос. И, напрягая сознание, наш герой видел, как шевелятся губы сиятель-

ного графа, сидящего во главе стола, а глаза при этом устремлены па злодея, а тот весь наклонился вперед, словно изготовился целовать графу руки, старческие и жилистые.

Значит, можно его спросить обо всем, пока он еще не грянулся об пол бездыханным от слабости и страха, спросить, чтобы уж до конца развязать все узлы и чтобы у других желания снова их завязывать не появилось...

Ведь плакал же третьего дня тот князь! Не стесняясь, плакал, размазывая слезы по щекам ладонью. В голове уместиться не могло: как это он, князь, решился на такой позор? Воистину, чем больше у тебя есть, тем большего желаешь. Потому-то и твердили ему, Авросимову, с детства: не заносись, мол, не гордись, не зарься на чужое. Ах, не зря была матушка опытом умудрена, сумела разглядеть прах, в который не то что ступить, а и плюнуть позорно. И ведь он все это усвоил. А князь? Что же это он?

Но тут молодой Авросимов увидел склонившегося над собой самого секретаря Комитета Александра Дмитриевича Боровкова, который разглядывал нашего героя, раздувая желтые ноздри, отчего у Авросимова похолодел затылок и руки стали липкими, скользкими, так что перо поползло из пальцев прочь. И в продолжающейся тишине раздался шепот секретаря, словно гром небесный, или Авросимову в страхе померещилось это:

— Вы что, сударь? Ай спите?..

И секретарь взмахнул кистью руки, и тотчас в уши ворвался звук, который исходил из того конца комнаты, где стоял злодей, непривычно горбясь. И Авросимов, зажмурившись на мгновенье и упрятав свой страх, ткнул пером в бумагу и застрочил, заст-

рочил с тщанием и отменной скоростью, стараясь наверстать упущенные звуки, слова, полные чрезвычайного смысла. То есть это ему показалось, что он застрочил, а на самом деле рука была по-прежнему неподвижна, и какая-то странная слабость охватила его тело, и он почувствовал, как кровь, хлынув к голове, ожгла щеки, и без того далекие от благородной бледности. А получилось так не потому, что Боровков склонился над ним, хотя это и само по себе было ужасно, а потому, что сверх всякого ожидания коренастому злодею любезно подвинули кресло и предложили сесть, вместо того чтобы толкнуть его на колени, как он и заслуживал.

Так, может быть, он вовсе и не преступник, а напротив — князь? Но третьего дня тоже был князь, а цареубийством не гнушался. Значит, преступник он, ибо это его вели с завязанными глазами, хотя причуд и тайн у вельмож предостаточно (мало ли что глаза завязанные), вон и кресло предложили... И опять что-то очень знакомое показалось Авросимову во всем облике допрашиваемого злодея, а что — понять он не мог.

Имя и звание свое преступник выдохнул едва слышно, так, что Авросимов почти и не расслышал, и перо его оставалось неподвижным, пока подскочивший и склонившийся над ним Боровков не шепнул огорченно: «Да Пестель же, сударь!..»

И Авросимов вывел аккуратно странное это имя и даже не позабыл снабдить прописную букву приличествующими завитушками, после чего Боровков удалился наконец к своему стулу за главным столом.

Дальше все пошло уже попроще, ибо помогла привычка, которая появилась в течение тех семи дней, что Авросимов высиживал за своим столиком попеременно с другими столичными грамотеями.

Перо скользило по бумаге легко, как сани, привезшие его, Авросимова, в Санкт-Петербург, и стремительно, как его собственный жизненный взлет, и ему даже казалось иногда, что члены Комитета посматривают в его сторону, удовлетворяясь его прилежанием, и он старался как мог, почти не вникая в смысл беседы... И лишь тогда, когда преступнику дали время на обдумывание следующего вопроса и он поднес вопросный лист к глазам, Авросимов, вернувшись из лихой своей скачки, поднял голову.

Злодей неторопливо просматривал вопросы, адресованные ему, а члены Комитета переговаривались вполголоса, нисколько не удивляясь, что преступник-то сидит тоже в кресле, словно это он сейчас начнет задавать вопросы. Авросимову снова стало не по себе от этой мысли, а красивый такой кавалергард, стоящий возле дверей, тонкорукий и кудрявый, взглянул на нашего героя и вдруг усмехнулся одними губами и тотчас руку приложил ко рту, словно прикрыл зевоту, и это движение отозвалось в памяти Авросимова, напомнив ему совершенно невероятный случай, происшедший с ним нынче утром, когда он выбегал, запахивая шубу, из ворот дома, где снимал квартиру, чтобы торопиться в крепость. И вот в тот момент, как он выбежал из ворот, он почти столкнулся с молодой дамой ослепительной наружности, которая едва успела отскочить в сторону, а в ответ на его извинения быстро приложила пальцы к губам и, оглядев нашего героя любопытным и даже зовущим взглядом, кинулась прочь к ожидавшему ее роскошному выезду.

Авросимов долго еще стоял на одном месте, хотя сани давно скрылись, увозя прекрасную незнакомку, и утренняя метель успела засыпать следы полозьев. Это все произошло слишком стремительно, но наш

герой, жадный до всего необычного, успел все-таки разглядеть ее лицо, полные губы, и жар в глазах, и ровный, аккуратный, чуть розоватый носик. Кто была она? Вполне возможно, что и купеческая дочь, хотя это легко опровергалось ее благородной грациозностью и выездом, который купцам и не снился. Но если она, благородная дама, решилась искать встречи с ним, с Авросимовым, значит, на то были у нее основания. А уж то, что она искала с ним встречи, а не так просто столкнулась у ворот, было ясно как божий день. Но какая тайна скрывалась за ее легкой усмешкой?

Молодой Авросимов не относился к числу людей, страдающих неуважительным к себе отношением, и скромность в поведении вовсе не отвергала надежд на яркий случай, которого он был достоин, как всякий человек.

Он оглядел все близлежащее пространство, надеясь увидеть маленькую записку на розовой четвертушке. Записки не было. И след незнакомки простыл.

Несколько удрученный, он, однако, заторопился в крепость, чтобы не опоздать к назначенному часу.

И вот теперь, глядя на кавалергарда и его усмешку, вдруг подумал, что этот изысканный офицер вполне мог оказаться ее братом и, восхищаясь взлетом и удачливостью Авросимова, мог, натурально, нашептать сестре такое, что она представила себе нашего героя в самом лучшем виде...

Тут Авросимов снова глянул на кавалергарда попристальнее и снова заметил усмешку на его губах.

Но приятные и обольстительные воспоминания об утре тотчас вылетели из головы, едва злодей Пестель начал говорить своим ровным глуховатым голосом, отвечая на следующий вопрос, которого Авросимов не слышал. И перо нашего героя стремительно

кинулось к бумаге, поспешая за словами... «никогда ничего никому не говорил ни таковаго...» и даже разбрызгивая иногда чернила... «ниже малейше подобнаго сему...».

Авросимову фраза понравилась, когда в паузу он оглядел ее всю сверху донизу опытным глазом. Но если «никогда, ничего и никому», то зачем же он здесь? Пестель... Лютеранского вероисповедания... Немец... Дорого ли ему соврать? «Никогда и нигде не был членом никакого таковаго злодейскаго тайнаго общества...» Авросимов и не заметил, как под шумок и собственное словцо вкатил, а именно — «злодейскаго»,— так понесло перо, что и не остановишь.

— Нет, нет, нет,— сказал Пестель,— об этом я и не слыхивал...

Будучи человеком прилежным, наш герой первоначально намеревался в точности, то есть троекратно, воспроизвести на бумаге услышанное отрицание, но, глянув оцепенело на круглое, с маленькими глазками лицо Пестеля, весь возмутился от неприязни к этому лицу и решительно оставил отрицание в единственном числе.

«Нет никогда ничего таковаго не рассказывал ибо никогда подобных мыслей не держал в преступной своей голове...» — записал Авросимов, и ему захотелось крикнуть что-нибудь оскорбительное в ответ на эту заведомую ложь, но он сдержал себя усилием воли и еще ниже пригнулся к листу, хотя сомнения, вспыхнувшие в нем после того, как Пестеля усадили в кресло, не утихли, а напротив, возгорелись сильнее и жарче.

«...что же касается до денег взаймы то я неоднакратна разным своим знакомым таковыя давал и ничего в том не щитаю дурного...»

И вирямь, чего ж дурного? Прошлым летом Авросимов сам давал взаймы соседу Кириллову триста рублей ассигнациями до Рождества, хотя матушка и обижалась, а он все же дал, памятуя о доброте соседа и о его выручках, что по нынешним временам большая редкость. И как вы, матушка, этого не понимаете!

«...но чтобы я давал на прогоны для курьера опщества, то сего никогда ни бывало, ибо ни к какому такавому опществу не препадлежал...»

Боровков не подходил, значит, был доволен. Да и сам Авросимов был доволен собой, скача пером по бумаге и ощущая себя приобщенным к важному делу, хотя в темечке все что-то ныло едва-едва, словно бы кто сзади стоял молча. Скорее всего это из памяти не выходила прекрасная незнакомка, которая, вот ей-богу, не могла исчезнуть навсегда со своим призывным взглядом... А к тому же еще этот Пестель покачивался перед глазами, стоило только голову поднять, и тихое его «никогда, ничего, никому, нигде», тупое и монотонное, раздражало понемногу. А ведь скажи он «да» да поплачь, покайся — все бы уже кончилось. Как эти вчерашние да третьевошние, что друг на друга валили торопливо, хотя перед правым судом правду молвить — не позор, а честь... «...Тайных бумаг я никаких никагда нигде не прятыл...» Ну вот, ну вот... «В генваре сего года я ездел в Киев не с членами тайнаго общества а са сваимя друзьями...» Друзей имел! А они-то, друзья... И вдруг он вспомнил отчетливо, что это о Пестеле все дни разговор шел! А как же? Эти все, что на улице грозны были, а здесь слезы лили, ведь они Пестеля называли! Он, Авросимов, все думал: фамилия-то не русская какая-то, прости господи! Он ведь все никак

 записать ее не мог, нервничал... Теперь вспомнил.



Они все как сговорились, его поминали да торопились эдак-то, Авросимов даже подумал: «Чего это они немца какого-то поминают все? Нашли, разбойники, козла...» А вышло, что немец-то — вот он! Пестель. Павел Иванович. Да ко всему и не очень-то виноватый. Вон ему кресло подкатили...

И в этот момент наш герой вздрогнул, потому что Пестель произнес несколько в повышенном тоне и даже раздраженно:

— Я еще раз повторяю, что ни к какому тайному обществу не принадлежал и ничего не знаю... Не знаю.

И, сказав это, он слегка поворотился в сторону нашего героя и неожиданно увидел его за маленьким столиком, в углу, полусогбенным над тетрадью; увидел его глаза, удивленные и полные ненависти, и подумал: «Какой, однако, волчий взгляд» — и снова сел ровно, как и сидел.

«Нет,— подумал Авросимов,— я тебе не поддамся, выдюжу».

И выдюжил, и очень обрадовался, что может с чистою совестью смотреть в лицо цареубийце, не моргая и ничего не боясь, хотя как бы оно там вышло, попади Авросимов в полк к сему злодею, а не сиди он в комнате, где все — противу одного... Выдюжил бы? А вот ей-богу! Все равно... Крикнул бы разбойнику...

Авросимов поднял глаза. Члены Комитета переговаривались о чем-то между собой. Пестель снова неотрывно смотрел в глаза Авросимову. Ах, знакомые черты у злодея!

«Молодой человек,— подумал Пестель.— Что он понимает? По крайней мере, сочувствия — ни на грош. Как страшно... Возьми мы верх (и он усмехнулся горько), каково ему было бы?..»

Авросимову мгновенная усмешка на лице Пестеля не понравилась никак.

«Слава богу, что они почти ничего не знают,— подумал в этот миг Пестель.— Судя по вопросам, они только еще ищут веревочку. Да вряд ли им это удастся... Ах, только бы не размякнуть! Только бы это кресло не принять за проявление истинных чувств...»

Он думал так и разглядывал членов Комитета с тоской и отвращением. У графа Татищева — обрюзгшее лицо и меланхолия в каждом жесте, но он умеет изворачиваться, ибо понимает, что от его председательского умения зависит успех следствия, от которого, в свою очередь, зависит и его собственная судьба, хотя, впрочем, это общеизвестно с давних времен... Генерал Левашов очень старается, не очень задумываясь — для чего. Генерал Чернышов — старый знакомец — открыт, распахнут весь. Ему бы волю — он бы и до пыток додумался...

Комитет был весь как на ладони перед Павлом Ивановичем. Почтенные мужи, кабы не пустые лица. Воистину — машина, способная вопрошать, вопрошать, вопрошать!.. И, развивая это представление, он вдруг поджался весь, и бледность покрыла его щеки, и обреченность внезапная овладела его душой и телом.

«Доищутся! — вдруг понял он, поверил в это, не в силах отвести взора от их белых, покрытых морщинами масок.— Докопаются. Не упустят. Не упустят».

Губы графа Татищева дрогнули, расползлись, и военный министр, не глядя на Пестеля, неохотно спросил:

— Кто из офицеров вашего полка был принят в члены общества собственно вами?

Пестель откинулся в кресле, лицо его выразило муку.

— Я уже утверждал,— выдавил он хрипло,— что не принадлежал ни к какому тайному обществу, а следовательно, не мог никого в оное принимать...

«Никого никуда никогда не принемал,— торопливо привычно проскользило перо Авросимова по листу,— ибо сам не был членом никакого опщества».

— Я уверен,— сказал Пестель, вглядываясь в лицо председателя,— что никто из этих офицеров не сможет по совести меня опровергнуть...

Члены Комитета оставались неподвижны.

«Им не за что ухватиться!» — с сомнением подумал Пестель.

«Дурак! — чуть было не крикнул Авросимов из-за своего столика.— Не твои ли офицеры, разбойник, все эти дни тебя честят? Ай-яй-яй, не лги, не лги... Все ведь известно. И их сиятельство все ведь знают, да хотят в смысле снисхождения услышать ответ по правде. Он тебе участь облегчает, злодею. А ты заладил свое: никогда, ничего, нигде, никому...»

Пестель живо поворотился к Авросимову, словно услышал течение его мыслей, и настороженное что-то в лице молодого писца поразило его.

«Как он преобразился,— подумал Павел Иванович в волнении.— У него хоть щеки розовые, не в пример этим. На него хоть смотреть можно... Ах, не слабею ли я? Не к жалости ли обращаюсь?.. Или он мне сигнал подает?»

«Отворотись ты от меня, враг! — воскликнул про себя Авросимов.— Мутишь ты меня всего...»

Генерал Левашов на аккуратном листке, заранее приготовленном, нацарапал торопливо: «Не пора ли объявить очную ставку, дабы ускорить ход дела?»

Военный министр на таком же листке вывел ленивую строку: «Поспешность в сем деле вредна. Должно утвердить преступника в полном нашем неведе-

нии. Зато раскрытие карт повергнет его в такое отчаяние, что хоть веревки вяжи».

Генерал Левашов кивнул удовлетворенно, не снимая белой морщинистой маски.

Авросимов почистил перо о рыжие свои кудри и подумал, что высокие чины могли бы вполне Пестеля загнать в угол, и тем более их неторопливость вызывала недоумение, хотя наш герой робел даже мысленно представить себе пусть самое легкое противоречие меж собою и Комитетом.

Долгий день начал томить его, и он с каждым часом со все большим удовольствием и тревогой предвкушал окончание работы, и как он пойдет через мост, колеблемый волной, и как, облачившись в мягкий сюртук, накинет шубу и пойдет прохаживаться возле ворот с независимым видом, но с тайной надеждой повстречать ту самую, утрешнюю. Не женское это дело самой подбиваться — так богом устроено, а уж коли подбивается, значит, подкатило, и надобно усилия дамы облегчить. Ведь не каждый день подобные выезды привозят к вашим воротам, милостивый государь, такую красоту, и это надо уметь ценить. А как же? Тем более, что вся эта история страсть как интригует, и покуда не дознаешься, до той поры покоя не будет. И в молодые лета это не позор.

«Какой он ни злодей, а все ж таки человек,— вдруг подумал Авросимов, глянув, как Пестель, в волнении наверно, обкусывает ногти.— И против Бонапарта воевал. И даже сам князь Кутузов пожаловал ему золотую шпагу «за храбрость» на поле сражения! Ах, злодей, злодей!»

Но вот робкий, как мираж, облик незнакомки вспыхнул в его сознании с новой силой, словно озарился, и Авросимов удивительно отчетливо предста-

вил себе, как он стремительно подсаживает ее в карету и как уже на ходу впрыгивает сам, так лихо, изящно, что она вскрикивает и всплескивает руками от страха за него и «Ах!..». Но он смеется и усаживается рядом, а серые в яблоках несут, несут... Дальше-то что? Он рассказывает ей, глядя в ее полные ужаса глаза, как его дядя, отставной штабс-капитан Артамон Михайлович, выхватил шпагу на глазах у государя и этой самой шпагой по толпе, по сборищу! Какие они?.. Носы сизые, как у Ерофеича, взгляд тусклый, щетина зверская через все лицо, а он, дядя, шпагой, шпагой... По лицам, по лицам... У Пестеля лицо кругловатое, белое, чистое, щетины нет... А дай ему шпагу — этот тонкорукий кавалергард ведь первым кинется прочь... А он, Авросимов? Когда дома бычок годовалый, проломив забор, ворвался в сад и затанцевал среди яблоневых стволов, повергнув в страх и смятение матушку и родственниц дальних, которые отмахивались чепцами, визжа, он скатился с ветки, где восседал лениво, скатился почти на спину бычку и ухватил его за рог и подчинил себе...

Пестель, словно ища отдохновения, снова глянул на Авросимова и увидел, что тот разглядывает его самого с неприкрытым любопытством, и подумал: «Странный, однако, молодец. Все чувства на физиономии... И какой рыжий! Должно — провинциал».

«Если он подойдет,— подумал наш герой,— и маленькими своими глазами упрется, ведь страшно. Ведь как подумаешь, что на руках — кровь, в душе — дьявол... Но смел, злодей! Не побоялся, что не выдюжит, не побоялся! Только как он плясать будет, когда узнает, что козни-то его известны все? Вот ужо...»

«Волк, истинно волк»,— мелькнуло в голове у Павла Ивановича.

Сидящие за столом снова пришли в легкое движение, почти незаметное со стороны, хотя Пестель научился уже угадывать за этим обязательный вопрос. И действительно, граф Татищев пожевал губами, спрашивая:

— Истинная цель сего общества направлена ли была к разрушению существующего в России порядка вещей?

Авросимов похолодел, так страшен показался ему вопрос, ибо порядок вещей был он сам, Авросимов, и его кровь, и его душа, и его судьба. И как же не вздрогнуть, когда в лицо вам бросают такое, о чем даже помыслить невозможно?

— Не принадлежа к здесь упоминаемому обществу,— с твердым упрямством сказал Пестель,— и ничего не зная о его существовании, не могу сказать и о целях его...

«Ну погоди, враг,— подумал Авросимов, ненавидя.— Покаешься на каторге». А перо его тем временем делало свое дело, как бы и не завися от него самого.

«Никогда не к какому преступнаму опществу не принадлижал и тем еще менее могу сказать какова истенная цель оннаго».

Павел Иванович глянул на лица знатных мужей. Лицо Татищева было в маске, и Левашов словно аршин проглотил, да вот генерал-адъютант Чернышев сидел с разинутым ртом, подавшись вперед, на Пестеля...

«Знают! — содрогнулся Пестель.— Все знают. Притворяются».

Снег за окнами повалил гуще. Январские сумерки быстро накатили, и Авросимов ощутил тяжесть в правой руке и согнутых ногах.

 Теперь ему все хитросплетения следствия стано-

вились понятнее, и то, что Пестель попался, как муха на мед, не вызывало сомнений. Он еще сидел в своем жалком кресле, как последний калиф перед крушением царства, но кресло уже было не его, и царство рассыпалось, а вокруг уже толпилось возмездие. И нашему герою, полному предвкушения справедливой расправы, не терпелось увидеть ее воочию, ибо мы всегда любим получать наличными в собственные руки за свои труды. И он чувствовал себя счастливцем, сознавая, что все это пройдет перед ним и лишний раз утвердит его правоту в этой жизни. Даже усталость не снижала этих счастливых чувств. И когда Пестеля наконец отпустили и он выходил, сопровождаемый дежурными офицерами, наш герой не мог отказать себе в удовольствии еще раз взглянуть на него пристально и с осуждением. Но широкая спина Пестеля качнулась и исчезла в дверях. Он не обернулся.

Уже выходя из комендантского дома, Авросимов увидел, как военный министр медленно, по-медвежьи карабкается в карету, но, занеся одну только ногу, он обернулся и поманил Авросимова, на что тот ответил стремительным скачком и остановился перед графом с бьющимся сердцем.

— Экий великан,— сказал Татищев, прищелкнув языком.— Рука-то не устала скрести? Небось, отсидел мягкие-то места, а?.. Злодея боишься?

— Нет, не боюсь,— выдавил Авросимов, не понимая направления беседы.— Я, ваше сиятельство, рад послужить государю.

— Вот как? — удивился граф, продолжая стоять на одной ноге и улыбаясь доброжелательно.— Это похвально, сударь ты мой, похвально. А не произвел ли на тебя Пестель симпатии? Он ведь человек весьма умный... А? — граф засмеялся, видя смятение

в нашем герое.— Он ведь многих умников соблазнил, не тебе чета. А?.. Каков он тебе показался?

Авросимову смех военного министра разрывал душу своей неопределенностью. Намекает ли на что? Или недоволен чем?..

— Жалко Пестеля,— вдруг сказал граф, перестав улыбаться.— Хороший был командир. Что же его с толку сбило, как думаешь?

— Не знаю, ваше сиятельство,— пробормотал Авросимов,— должно, бес его обуял...

— Бес? — рассердился граф.— А небось, встреться он с тобой месяц назад, да посули он тебе рай земной, так ты за ним кинулся бы, небось, с радостью. А?

— Нет, ваше сиятельство,— сказал Авросимов, тайно мучаясь,— мне его посулы — пустое место. Я свой долг знаю. Мне его посулы...

— Ладно, ступай,— проворчал Татищев и ввалился в карету.

Авросимов вышел за ворота крепости, и Петербург померк. На Неве громоздился лед.

«Не зря матушка слезы лила,— удрученно подумал наш герой, прикрываясь от пронзительного морозного ветра,— что-то все вокруг меня совершается, а понять нельзя. Беда какая».

И в самом деле, милостивый государь, посудите сами: когда на вас, баловня тишины уездной и благорасположения окружающих, не обремененного государственными заботами и в простоте душевной помышляющего о маленьком своем счастье без всякого там тщеславия и прочих иных чудачеств, вдруг сваливается тяжесть, недоступная вашему разуму и душе; когда на протяжении целой недели вы погружаетесь в разгул чужих страстей, намеков, недомолвок, тонкостей таких, что не приведи господь; когда сам

 военный министр, а не какой-нибудь уездный дво-

рянский предводитель, вам вопросы задает и нагоняет тумана; когда на ваших глазах цареубийце кресло предлагают — ну как вам с вашим-то ясным взором и простотой, и неискушенностью не ужаснуться да не впасть в меланхолию?

И так-то вот мучаясь, начинаете вы понимать, каково это быть у государственного кормила, чувствуя в сердце одно, а совершая другое, хотя все ради пользы отечества. И так это все тонко, хитро и недоступно, что греховными, а не просто смешными кажутся вам уездные ваши мечтания: мол, мне бы министром, я бы уж все поворотил наилучшим образом. Где уж там! И не зря, не зря ваша матушка слезы лила, предчувствуя — каково это в Петербурге не сладко в чинах ходить, коли нет на то божьего изволения.

Так в расстроенных чувствах, в тревоге и в смятении шествовал наш герой по Васильевскому острову, но едва дошел до места, где Большой проспект смыкается с Первою линией, как словно из-под земли, из крутящегося снега и мрака вдруг вырвалась карета шестеркой и остановилась, перегородив Авросимову дальнейший путь; и не успел он, как говорится, охнуть,— из кареты показалось знакомое обрюзгшее лицо графа Татищева, и военный министр сказал, улыбнувшись одними губами:

— Что это, сударь мой, пешком топаешь, ровно мужик? Так и замерзнуть недолго. Ишь разыгралась,— и он поглядел на черное небо.— А? Что скажешь?

— Не замерзну, ваше сиятельство,— широко разевая от страха рот, сказал Авросимов.— Я мороза не боюсь.

— Молодой ты какой да рыжий, да ничего не боишься,— сказал граф непонятно к чему.— У тебя

друзья-то тоже, небось, молодые? Тоже, небось, всё на свой лад переворотить намереваются? А?

— У меня здесь и друзей-то нету,— не в себе промолвил Авросимов,— упаси бог...

— Что ж так? — усмехнулся военный министр.— Без друзей и не решить ничего... Вот Пестель с друзьями новые законы вздумал издать, крестьян освободить. Резонно? Что скажешь?..

— Нельзя этого делать,— выдавил Авросимов, переставая хоть что-нибудь понимать.— Нельзя... Так уж определено, что нельзя.

— Глуп ты однако,— рассердился граф.— В государственных вопросах должно рассуждать исходя из блага отечества, а для сего голову надо иметь... А у Пестеля государственная голова! —почти крикнул он.— И ты, сударь, пошел бы за ним, помани он тебя...

— Да нет же, ваше сиятельство,— почти плача, возразил наш герой.— Вот уж нет...

Тут граф засмеялся.

— Эк тебя трясет. Уж не к девице какой пробирался? А?

— От внезапности встречи, ваше сиятельство...

— Врешь,— хмыкнул граф,— в женском обществе покоя ищешь... А к Пестелю, я замечаю, у тебя симпатии... Размышляешь, что да как... Да?

— Никак нет,— выдохнул Авросимов с ужасом.

— А отчего же нет? Это даже странно. Вот ежели бы ты сказал, что, мол, симпатию имею, но подавляю, мол, я бы тебе поверил.

— Я государю привержен,— заплакал Авросимов.

— Государю,— передразнил граф.— Государь есть идея. А в сердце у тебя ч т о?

 — Государь...

— Государь,— снова передразнил Татищев.— А сам к женщине спешишь.

— Никак нет,— заторопился Авросимов, а сам подумал: «Да как же это нет, когда именно да?» — и вспомнил давешнюю незнакомку.

— Ну ладно, ступай,— сказал граф сердито и полез в карету, захлопнул дверцу, но тут же высунулся, протянул Авросимову руку.

— Возьми-ка вот.

— Что это? — не понял наш герой.

— Возьми, возьми,— сказал граф по-простецки, но в то же время несколько таинственно, и что-то скользкое шлепнулось в подставленную Авросимовым ладонь.

— Благодарю покорно, ваше сиятельство,— пролепетал он, а сам подумал: «Уж не орден ли?»

Граф засмеялся. Кучер взмахнул кнутом. Экипаж скрылся.

Авросимов кинулся к ближайшему фонарю и раскрыл ладонь. Маленький красный бесенок с черными рожками стоял подбоченясь и глядел на него голубыми пронзительными глазами. Затем он вытянул вперед свою красную ручку и сказал, обращаясь неведомо к кому:

— Господа, не сочтите меня чрезмерно привередливым, но этакого подвоха от их сиятельства я никак не ждал-с...

Наш герой в ужасе тряхнул ладонь, сгреб снегу и потер руки. Наваждение исчезло.

Впрочем, и это бы ничего, но дома Ерофеич поведал, что в его, Авросимова, отсутствие наведывалась дама, барина спрашивала, ожидать отказалась, назвалась непонятно.

— Какая еще дама? — простонал Авросимов, валясь в чем был на кровать.

— Знатная,— сказал Ерофеич.— Два жеребца на месте не стоят.

Но образ прекрасной незнакомки померк в сознании Авросимова под тяжестью иных событий, померк, наподобие сумеречного Петербурга. Вертя на подушке голову, он пытался унять дрожь в челюстях и причитал:

— Цареубийца проклятый, сатана! Каторга по тебе плачет! Беда какая... Зачем, зачем это мне, господи!..

Ерофеич, видя, как дитя страдает, кинулся в кухню стремглав.

А наш герой был, что называется, при последнем издыхании от страха и сумбура в голове, но на его счастье Ерофеич внес в комнату и поставил на стол дымящуюся тарелку щей с бараниной, и сытный аромат заставил Авросимова вздрогнуть и открыть глаза, ибо, хотя и был он натурой чувствительной и по тем временам тонкой, однако молодость и здоровье делали свое дело, а пустой желудок отказывался ждать.

Кое-как переодевшись с помощью Ерофеича, Авросимов уселся к столу, испытывая естественное нетерпение, а тут еще, как сквозь туман, различил пузатую рюмку с крепкой домашней наливкой и, заткнув за воротник салфетку, опрокинул наливку одним махом.

— Может, огурчиков солененьких? — спросил Ерофеич.

— Давай, давай,— сказал наш герой, обжигаясь щами.

Ел он торопливо, но пища пока не производила своего благотворного влияния, и Авросимов не ощущал приятной расслабленности в теле, а, напротив, с каким-то ожесточением представлял себя рядом с военным министром, и как он, Авросимов, стоит, вы-

тянув руки по швам, и как говорит жалкие слова, вместо того чтобы толково все разъяснить о себе и свое мнение относительно графского любопытства; то вдруг круглое лицо Пестеля, бледное и напряжённое, появлялось перед ним, словно из пара, вьющегося над щами, и Авросимов пытался увязать его злодейство с тем, что граф Татищев понимает об этом.

И ведь как не помянуть матушку добрым словом, хотя с другой стороны все надо пройти самому и всё понять. Вот, к примеру, надо, собравшись с мыслями, определить, как Пестель на злодейство решился.

— Ерофеич,— сказал Авросимов,— в крепостных ходить тяжело, небось?

— А что это вы, батюшка, щи-то отставили? — спросил Ерофеич, пряча глаза, как будто и не его спрашивали.

— В крепостных тяжело, да ведь сие от бога,— продолжал наш герой, откинувшись на стуле.— Или государь сам не знает, чего да как? — тут Авросимову почудилась на лице старика улыбка...— А может, это козни всё? — сказал он неуверенно.

— Щи-то остынут,— мягко сказал старик.

Лицо его было гладко и сурово, и уж не то что улыбки, а и малейшего просветления не было заметно. Авросимов заработал ложкой, доел щи, отставил тарелку и спросил:

— Или вот скажи мне, как бы тебе, к примеру, если бы вольную тебе? Что бы ты тогда?..

— Я, батюшка, господину своему рад послужить,— выдавил Ерофеич, не понимая направления беседы.

— Это похвально, сударь мой,— сказал Авросимов, доброжелательно улыбаясь.— А если тебе злодей вольную посулит — не произведет ли на тебя это симпатии? — и наш герой засмеялся, видя смятение в

душе Ерофеича.— Он ведь многих умников соблазнил, не тебе чета. А? Каков он тебе?

— Я его сроду не видывал,— пробубнил Ерофеич.

— Не видывал? — рассердился Авросимов.— А небось, встреться он с тобой месяц назад да посули он тебе рай земной, так ты бы за ним пошел с радостью. А?.. И меня бы — вилами...

— Нет, не пошел бы,— мигая и тайно мучаясь, сказал Ерофеич.— Вот я вам кашки сейчас...— и он кинулся на кухню, переступая ватными ногами.

«Кашки...— подумал наш герой осовело.— А каково ему-то там, злодею этому? Вот я сейчас поем, оденусь в лучшее и пойду... Кликну ваньку, съезжу на Невский, пойду до Фонтанной до самой пройдусь, к дяде, Артамону Михайловичу зайду, спрошу его обо всем... А этому-то каково? Он хлебушка пожевал, водою запил и на досточки улегся... Ах, да зачем же он все это затеял?! Чего ему нехорошо было? Или не виноват он? Да нет, соумышленники на него указывают почем зря...»

Отказавшись от каши, Авросимов улегся на постель и закрыл глаза. Организму его не пришлось долго со сном бороться, тем более, что привычка деревенская была покуда сильна в нем, а именно — ранний сон и вставание на заре с петухами. И он вскоре захрапел, отдавшись этому приятному занятию, словно спасаясь от выпавших на его долю огорчений и забот, в которые был вовлечен не по собственному расчету. Но жизнь человеческая в руках божьих, и уж если тебе назначено нести бремя, то от назначения этого с легкостью не уйдешь, как бы ни изворачивался, как бы ни притворялся. И едва наш герой прикрыл глаза и перестал слышать пошаркиванье Ерофеича и его шуршание, как тотчас увидел перед собой лицо военного министра, который, не то что во сне быва-

ет — искаженно как-нибудь изображается или вдруг залает (мало ли чего...) — а совершенно как живой уставился на Авросимова и спросил:

— Где, когда, для чего, с кем?

И Авросимов, оказалось, сидел перед ним в пестелевом кресле с голубыми протертыми подлокотниками и никак не мог решить, на какой вопрос отвечать сперва: «С кем?» или «Для чего?»

И в тот самый миг, когда он, обливаясь потом, полный ужаса, решил все же — на первый, какой-то бес его обуял вдруг, и он выговорил одним духом:

— Нигде, никогда, ни с кем, никуда...

Татищев засмеялся и, вытянув руку, тронул его за плечо...

Авросимов открыл глаза и сквозь сонную пелену увидел Ерофеича, который словно отползал от него.

«Зарезать хотел!» — подумал наш герой и вскочил с постели. Ерофеич стоял рядом, будил его.

— Чего ты?!

— Кричите, ровно душит вас кто,— сказал Ерофеич.— Ложились бы по-божески. Ночь ведь.

— Ночь? — задумчиво, как не в себе промолвил Авросимов и вдруг, уставившись в детские глаза Ерофеича, спросил:

— А ты, небось, тоже с дружками-то со своими все на свой лад переворотить замышляешь? А? Говори...

— Какие у меня дружки, батюшка,— опасливо протянул Ерофеич.— Упаси бог...

— Глуп ты! — рассердился наш герой.— Для государственных дел нужно голову иметь! Вот у Пестеля — голова. Небось, кликни он тебя, ты бы рысью за ним побежал...

— Да нет же, батюшка! — почти плача, простонал Ерофеич,— вот уж нет!.. Да тьфу мне на него!..

— А тебе не жаль его? Хороший ведь командир был,— сказал Авросимов, продолжая казнить Ерофеича взглядом.

— Да помилуйте, батюшка! — заплакал Ерофеич, не понимая сути.— Чего мне его жалеть, нешто он мой барин?

Меланхолия все-таки сотворила свое черное дело, и Авросимов опустил руки, не испытывая уже желания мучать Ерофеича да и себя самого вопросами, которые он, по сути, себе самому и задавал, находясь в душевном смятении. Что знает человек, сей ничтожный, о себе самом? Пожалуй, лишь то, что он ничтожен перед лицом высших сил, и стоит ему об этом задуматься, как тотчас ничтожество его прет наружу, словно ребра у худого коня. Но если он и впрямь таков, откуда это у него сила взялась на государя руку поднять? На божество? На первого в сословии? Стало быть, либо государь не велик, что противоестественно, либо злодей велик, что тоже противоестественно, хотя, может, и от сатаны все. Ну а бог-то что же? А вот он и покарал. Тогда для чего же целый сонм судей, да адъютантов, да фельдъегерей, да всяких прочих, таких, как Авросимов сам? Почему они все божеское предписание исполняют, а те, другие, противоборствуют? В чем же истина? Велик государь? (А надо бы тебе, сударь ты мой, принять казнь за таковые сомнения.) А если велик, как же у того разбойника достало силы духа вынашивать черные свои планы об убийстве? Как он замахнуться-то осмелился? Вот ведь что ужасно! Какое оно, начало всему было? Ведь не мог же он просто так: жил, жил, как все, вдруг решил — убью. Не мог. Значит, исподволь все копилось. А начало где? А нет ли этого начала и в нем самом, в Авросимове?

2

А дело, видать, приближалось к полночи. Ерофеич похрапывал в прихожей. Свеча оплыла. Авросимов и сам потом объяснить не мог, какая сила его подняла с места, заставила одеться, не раздумывая. Даже галстух повязал он так, словно целый час вертелся перед зеркалом, хотя к зеркалу и не подходил, занятый своими мыслями, а так всё на ощупь. Накинул шубу и — вон из постылого дома к людям, туда, где шум.

И тут же за углом — ванька. И поехали — только полозья скрипят.

Мимо проплывали темные окна, кое-где свет пробивался, знаменуя, что жизнь идет своим чередом, снисходя к людям и давая им отдышаться.

На углу горел масляный фонарь, и вокруг него кружился снег. Авросимов отпустил ваньку и пошел вдоль Мойки, мимо спящих домов.

Но не успел он сделать и сотни шагов, как мимо него пронеслась с шумом и гоготом вереница саней, переполненных какими-то людьми, остановилась как раз перед ним, и сидевшие в санях посыпались на снег против ворот темного двора. Авросимов услышал женский смех и визг и с любопытством провинциала шагнул поближе, чтобы позабавиться на редкую картину.

И вдруг он увидел, как два офицера тянут из сугроба молодую даму, а она визжит и сопротивляется. Тут эти офицеры заметили Авросимова и, очевидно, приняв его в темноте за своего, кликнули помочь им. Он с охотою кинулся исполнить их желание, ухватил даму за плечи и стал тянуть, но она не поддавалась, хохотала, выворачивалась, и Авросимов ощутил легкий винный аромат, исходящий от шалуньи. Голова у

него слегка закружилась, то ли от этого, то ли от того, что он щекой невзначай прикоснулся к ее щеке и как бы ожегся, а она обернулась к нему и мягко ткнулась горячими губами в его шею.

Наконец они вытащили ее из сугроба и с криком и шутками повели в ворота, куда направилась и остальная компания, и тогда Авросимов выпустил из рук ее плечи и собрался было идти своей дорогой, но дама заметила это его намерение и крикнула:

— А вы куда же?

— Мне идти надо,— сказал Авросимов не очень радостно.— Я не ваш.

— Да мы все не наши,— засмеялась дама, и офицеры вторили ей.

— Пошли, пошли! — крикнул один из них, и Авросимов не заставил себя долго упрашивать.

Они прошли ворота и устремились к небольшому флигелю с освещенными окнами, стоявшему в глубине двора.

Они скинули шубы в маленькой прихожей, озаренной пламенем единственной свечи, и ринулись в залу, где тоже царил полумрак и сразу было не разобрать, что она собой представляет.

Единственное, что успел заметить на первых порах наш герой, это что все приехавшие были люди молодые и, вероятно, холостые, судя по тому, как вольно они держались с молодыми дамами.

Сей же момент кто-то ловко занавесил окна, привычная дворня набежала, расставила на большом вытертом ковре, расстеленном прямо на полу, бутыли да флаконы, тарелки с огурцами, с кровяной колбасой, с сыром, побросала в беспорядке серебряные кубки и бокалы зеленоватого стекла и исчезла, будто ее и не было.

 Авросимов, ворвавшись в залу с толпой, устроил-

ся на низком диване, еще не очень хорошо соображая что к чему и для чего он здесь, однако веселье, непринужденность остальных сделали свое дело и позволили нашему герою быстро освоиться в незнакомой среде.

И вот, несколько поостыв, он уже стал обозревать со своего дивана новых знакомых, с которыми так внезапно и прихотливо свела его судьба, и понял, что они все, действительно, почти ровесники ему, а стало быть, можно и не чиниться.

В противоположном конце залы, на другом диване, в золотом полумраке, раскинув руки, разметав светлые пряди волос, полулежала та самая молодая дама, которую Авросимов помогал тащить из сугроба. Она была в голубом платье, из-под которого выглядывала красная остроносая туфелька. Дама эта кричала что-то неразборчивое, а молодой человек в сером мятом сюртуке склонялся над ней с бокалом и умолял ее пригубить. Сердце у нашего героя затрепетало блаженно, и он снова ощутил на шее прикосновение горячих губ.

Некоторые молодые люди развалились прямо на ковре и ели, и пили, громко переговариваясь. В углу за круглым столиком началась игра. Из соседней комнаты доносился визг, да такой, что пламя свечей вздрагивало, от чего лица принимали нелепые формы.

Недалеко от себя Авросимов, медленно вращая головой, увидел другую молодую даму, в розовом платье, черноволосую. Она держала в одной руке кубок, а другой гладила по щеке лежащего перед ней офицера, а сама между тем поглядывала на нашего героя, и ему показалось, что она моргает ему, хотя это можно было отнести за счет дрожания пламени.

Авросимов потянулся было к вину, чтобы не отставать от компании и выпить за эту прекрасную

молодую даму, как вдруг она легче пушинки кинулась к нему со странной улыбкой и протянула ему свой кубок. И не успел он воспротивиться из учтивости, как она тотчас скользнула на пол, налила себе и, устроившись возле его ног, откинула голову и, смеясь, предложила выпить.

Старинное серебро зазвенело, сладкое вино легко пролилось внутрь, молодая дама обхватила колени нашего героя, приникла к ним горячим телом и, осушив свой кубок, швырнула его на ковер.

Авросимов склонился к ней, хохоча напропалую без всякой видимой причины, обнял ее за шею и утонул лицом в душных завиточках ее волос. А она и не вырывалась на манер деревенских девок или уездных барышень, когда, бывало, наш герой пытался со свойственной ему скромностью не то что обнять их, а лишь коснуться...

Откуда-то снизу, сквозь пелену волос, рук, пальцев опа спросила:

— Вас как звать-то? А?..

Авросимов, наслаждаясь, проговорил свое имя и потянулся к ее губам.

Губы у нее были горячие, влажные, они шевелились словно живые существа, прилипали — не отлепишь. Авросимов даже застонал, все более сползая к ней, на ковер, со своего дивана, все крепче обхватывая ее шею, плечи, задыхаясь... Вдруг она оттолкнула его этак лениво, скинула с себя его руки, проговорила капризно:

— Да ну вас, измяли всю... Что это вы, Ваня, как медведь... Ну вас...

А наш герой сидел рядом с ней на ковре, широко разинув рот, жадно дыша, в каком-то безумном отчаянии протягивая к ней руки.

— Да не лезьте вы, не лезьте,— сказала она, оправляя платье,— я к Сереженьке хочу.

— Как вас зовут? — выдавил Авросимов, пытаясь остановить ее, ухватив за подол, но она легко, несмотря на некоторую полноту, упорхнула от него и в миг была уже возле прежнего своего офицера.

И тут до Авросимова снова стал доноситься шум веселья, словно слух вернулся к нему. Трещали поленья в камине, кем-то подожженные.

— Ба! А вы здесь откуда?! — услышал наш герой и, подняв голову, увидел знакомого тонкорукого кавалергарда, который с бокалом остановился над ним. Авросимов тотчас вскочил и поклонился со всей возможной учтивостью.

— Вот уж незачем церемонии,— засмеялся кавалергард.— А вы с нами? Это прелестно. Нравится?

— Нравится,— сказал Авросимов потерянно, поглядывая на прекрасную свою незнакомку, прильнувшую к другому.

— А, эта?..— засмеялся кавалергард.— Дельфиния... Да ну ее к черту...

— Дельфиния? — удивился наш герой.

— А черт знает, как ее на самом-то деле зовут,— сказал кавалергард, усаживаясь на диван.— Меж нас она — Дельфиния... В сене нашли,— и увидев, как вскинулись брови у нашего героя, сказал: — А это и хорошо, ведь верно? Вольно так... Иногда ведь это прелестно — ото всего уйти к черту. Настоишься там, насмотришься за день...— и он кивнул куда-то, но Авросимов понял, что тот имеет в виду.— Отчего ж вы не пьете? Я вот смотрю на вас там — вы там очень переживаете, это заметно. А меня зовут Бутурлин Павел... А если вы с Дельфинией пошалить хотите... Хотите?

— Да ну ее,— сказал Авросимов, глотая слюну и стараясь не видеть, как она обвивает своего офицера.

— Это ведь просто,— усмехнулся Бутурлин.— Я могу сказать...

— Да нет, сударь. Пустое все это,— ответствовал наш герой, тая надежду.

Они выпили. Авросимов снова краем глаза глянул на Дельфинию, но ее не было, и офицера не было. Вместо них на диване сидел нога на ногу черноусый гренадерский поручик и медленно раскачивался.

— Этот уже готов,— засмеялся Бутурлин, кивая на поручика.— А ведь он может пять бутылок один осушить... Да, верно, перебрал, перебрал...

Они выпили еще, и Авросимов непослушными губами прикоснулся к сыру, но есть не стал.

— А я вот вижу, что вы там переживаете,— снова заговорил Бутурлин,— страшно вам смотреть, как следствие идет?

— Страшно,— признался Авросимов, трезвея.— Первый раз цареубийцу вижу...— Я-то думал: с бородой он...

Бутурлин расхохотался очень располагающе.

— Воистину,— сказал Авросимов,— дивлюсь я, как можно долго так, да так учтиво со злодеем?

— А ведь я с Пестелем знаком,— вдруг сказал Бутурлин, наполняя вином кубки.— Он человек с головой, да. Но и с закидонами... А я не люблю крайностей...

— Хитрый он,— вставил Авросимов.— Да не перехитрил!

— А вот и нет! — захохотал Бутурлин непонятно о чем.— Вы мне нравитесь, ей-богу...

И он опрокинул кубок свой с жадностью и кинулся прочь. Авросимов попытался было бежать за ним, но не смог подняться с дивана.

А пиршество тем часом продолжалось. Поленья в камине трещали с новой силою. Лица у всех были медного блеска, отчего у нашего героя дух захватывало.

«Веселье-то какое! — думал он, смеясь просто так, с самим собой.— Ах, Дельфиния! Где ты есть?.. Откликнись!»

Он все-таки поднялся и с трудом зашагал через развалившихся на ковре молодых людей и дам, подобных Дельфинии, а они пели, кричали и хватали его за ноги, скалясь и гримасничая. Он добрался до двери и вышел в прихожую.

С блуждающей счастливой улыбкой пробирался наш герой куда-то вперед, не отдавая себе отчета, пока кто-то, взявши его за плечо, не остановил. Авросимов увидел давешнего гренадерского поручика, видимо, несколько протрезвевшего.

— Где Дельфиния, а? — спросил наш герой.

— А крови не боишься? — засмеялся поручик и стал жать Авросимова за плечи, пригибая его к земле.

— Да что вы, сударь? — возмутился Авросимов.— Сударь... Да знаете... Пустите плечо...

— Врешь,— сказал гренадер,— и не таких ломал.

И он стал жать с новой силой, но тут наш герой пришел в себя и, либо отчаяние его было велико, либо деревенская жизнь, здоровая и вольная, в нем сказалась, но он сжал руку гренадера, закрутил ее и отшвырнул обидчика прочь. Поручик вскрикнул и стал на колени.

— Стреляться! — сказал он.— Рыжий черт.

— Я вам не черт,— обиделся Авросимов.— Вы, сударь, шли бы спать...

И тут глаза у поручика потухли, тело расслабилось, он приткнулся на шубах и блаженно улыбнулся.

Авросимов кинулся подальше от этого происшест-

вия и заглянул в одну из комнат. Какой-то штатский с оттопыренными красными ушами стоял на коленях, молитвенно сложив руки, перед молодой дамой, которой Авросимов еще не видал.

Наш герой поспешил затворить дверь.

— Дельфиния,— слабо позвал он, спотыкаясь во мраке о какие-то тела и предметы,— Дельфиния... Душечка, откликнись!.. Дельфиния...

И тут словно чудо произошло. Распахнулась темная дверь, и, лениво потягиваясь, зевая и стараясь прибрать поаккуратнее свои черные волосы, прекрасная Дельфиния выплыла в прихожую под желтый свет единственной свечи.

— Ах,— лениво произнесла она, увидев Авросимова,— Ванюша, рыбонька, вы ли это?

— Дельфиния,— сказал наш герой, воспрянув,— я обыскался вас... А вы всё спите?

Они, спотыкаясь, пробирались по прихожей навстречу хохоту, визгу и треску поленьев в камине и наконец вошли в залу, где от синего трубочного дыма лица были почти не видны, и аромат вина и колбасы, и тел, почти осязаемый, витал меж ними. И сквозь эту плотную завесу наш герой, счастливый от того, что Дельфиния рядом с ним, увидел своих случайных сотоварищей, предающихся веселью, словно в мире уже ничего не было, кроме этого флигеля во дворе.

— Ах, и Милодорочка уже здесь! — воскликнула Дельфиния радостно и кивнула на молодую даму в белых чулках, которая, заливисто хохоча, брызгала вином в Бутурлина, пытавшегося чмокнуть ее в щечку.

— Какие у вас всё имена удивительные,— восхитился Авросимов, готовый восхищаться всем.

— Чего ж удивительного,— сказала Дельфиния.— Как у нимфов настоящих... Вы бы мне, Ванечка,— ка-

валер мой алмазный, вина бы принесли,— и плюхнулась на ковер.

Авросимов стремительно кинулся выполнять ее желание, чувствуя, как снова нарастает в нем возбуждение, как руки дрожат, словно в лихорадке. Он схватил целую бутыль и бокалы, и потащил к Дельфинии, и уселся рядом.

— Ах, неучтиво-то как,— засмеялась она.— Кавалер-то стоя должен даме наливать...

Авросимов выпил свой бокал лихо, по-гусарски, отшвырнул его и наклонился — поцеловать ручку Дельфинии. Она уже протягивала ее, белую, с короткими пальцами, с синей жилкой, похожей на крестик, мягкую, пахнущую негой...

— Вы прямо как влюблены в меня,— засмеялась Дельфиния.

В голове у Авросимова был сумбур от хмеля, любви и полумрака.

— Целую вас в ваши рыжие кудри! — снова засмеялась шалунья и поцеловала, от чего он совсем возгорелся и обхватил ее поудобнее, словно намеревался остаться так навеки.

— Я люблю вас,— прошептал он, сжимая ее все крепче,— едемте ко мне в деревню... к матушке... венчаться... У меня — двести душ!..

И тут она стала вырываться и, несмотря на немалую силу и невменяемость нашего героя, это ей удалось, хотя, оттолкнув его, она являла собой зрелище жалкое в помятом платье и с растрепанными волосами и, оставив его на ковре, пошла прочь к дивану, где сидела Милодора с бокалом в руке.

— Дель...фи...ния...— позвал он едва слышно, но напрасно.

Милодора хохотала, слушая рассказ подруги.

— Что это с вами? — сказал Бутурлин, подойдя к Авросимову.— Разве это в правилах? Она на вас серчает за насмешку...

— Да какая же насмешка? — едва не плача, вопросил наш герой.— Я по чести... Вот крест святой...

— Да бросьте вы, ей-богу,— рассмеялся Бутурлин.— Зачем же надсмехаться? У нас это не принято... Она ведь и так пойдет... Чудак вы, право.

За карточным столом разгорался спор, даже стекло зазвенело, и черные лохматые тени заметались по стенам, и наш герой вдруг почувствовал, что сознание снова возвращается к нему. И тогда его поманило в деревенскую тишину, в покой первозданный, к печеньям, соленьям, где всё как говорится, так и пишется, и уже стремительный взлет не казался чудесным таким и не грел, а, напротив, виделся как испытание и искушение судьбы, и он сказал Бутурлину, располагавшему к откровенности:

— Ах, скорее бы уж это кончилось!.. Чего тянуть?

Бутурлин тотчас понял, что имеет в виду наш герой.

— Да вы все это к сердцу-то не кладите,— сказал он.— Я вот тоже смотрю, как они друг друга, к примеру, терзают, то есть меня воротить начинает... Но я мимо смотрю, в окно, на снег; думаю, как там вечером нынче...

И Авросимов тоже понял, что имеет в виду Бутурлин, о чем он говорит.

— Никто ничего об другом не думает,— сказал Бутурлин, усмехаясь грустно,— каждый думает об себе...

«Никто, нигде, никого, никогда...» — с ужасом вспомнил Авросимов и тайно перекрестился.

 — А государь? — шепотом спросил он.

— А что государь? — шепотом же ответствовал Бутурлин.— Каждый живет, как может... Я так, а государь — этак...

— Да как вы можете такое? — поразился Авросимов.

— Ах, какой вы...— засмеялся Бутурлин.— Вот мы эскадроном в тот день на Московский полк скакали, нестройно так... Сблизились. Я крикнул Бестужеву: «Не вели солдатам своим стрелять. Мы вас только постращаем немножко!..» Ну зачем бы я его рубить стал?

— А коли узнали бы! А коли велели бы... рубить?! — захлебнулся Авросимов.

— Ну рубил бы,— пожал плечами Бутурлин.— Сказал бы ему: «Прости, брат»,— и рубил бы. Да и он бы меня не помиловал, право... А тут обошлось. А вы по неопытности очень это всерьез принимаете...

— На государя руку подняли! — крикнул Авросимов.

— А государь-то что, бог? — захохотал Бутурлин.— Он ведь тоже о двух ногах, об одной голове... Да вы успокойтесь, мы его в обиду не дадим...— и захохотал пуще.— Прелестный у нас с вами спор вышел!

— Какие уж тут шутки, сударь,— с трудом смеясь, проговорил Авросимов.— Не пойму я вас однако.

Тут Бутурлин, желая рассеять неприятное впечатление, произведенное на нашего героя его словами, поманил Милодору, и она тотчас опустилась на ковер возле них. Авросимов глянул было: где же Дельфиния? Но ее снова не было в зале. Милодора обняла его за плечи, шепнула ему:

— Ах вы рыженький шалун, а Милодора вам уж и не люба?

— Господа,— крикнул Бутурлин.— Пьем за Милодору!

— А вот они меня любят,— шептала меж тем Милодора нашему герою, кивая на Бутурлина,— а вы так совсем нет... Нет чтобы на руки меня поднять... Можете?

— Могу,— сказал Авросимов и, обхватив ее поудобнее, поднял с пола.

— Ура! — крикнул Бутурлин, расплескивая вино.

А чудесные превращения тем не менее продолжались. Казалось, будто из табачного тумана сами по себе возникают призрачные картины, чтобы тревожить нашего героя. Не успел он опустить Милодору на ковер и смахнуть капельки пота со своего лба, не успела она, изнемогшая от визга, глотнуть прохладного кислого вина (а ведь это, заметьте, на виду у Авросимова), как тотчас все смешалось, затуманилось, а когда проявилось, то никакой Милодоры не было и в помине, Бутурлин резво вистовал в дальнем углу, словно никогда и не вставал из-за карт, а на ковре возлежала, подложив руки под голову, та самая молодая дама, которую Авросимов помогал вытягивать из сугроба. Голубое платье ее раскинулось и казалось на темном ковре лесным озерцом. Она лежала и разглядывала нашего героя неподвижными серыми глазами.

— Господи,— прошептал Авросимов,— эту-то еще как зовут?

— Мерсинда,— тотчас отозвалась дама и капризно пожаловалась: — Меня в вине утопить хотели... Нахлестали в лохань вина...

— Мерсинда,— сказал он, уже ничему не дивясь,— а где же Милодора? Кого я на руках держал?

 Но она смотрела на него неотрывно и молчала.

— Мерсинда,— продолжал наш герой,— неужто вас в вашем платье в лохань окунали?

— Вот горе мое,— засмеялась Мерсинда на эти слова,— вот горе мое... Да как же в платье, когда я голая была! — и в глазах ее вдруг промелькнул живой интерес к стоящему над нею молодому человеку, чьего имени она не знала.

Голос у нее был хрипловатый, улыбка яркая, подобная цветку. Авросимов опустился рядом с ней на ковер и услышал, как она сказала, словно и не ему, а самой себе:

— Весна придет, почки раскроются... А меня, нимфу молодую чудесную, повезут на белой колеснице по дороге столбовой... А вы грустите чего-то, да?

— Почему же это, прекрасная Мерсинда,— спросил наш герой,— ваши подружки отказывают мне в любви, когда другим все позволяют? Вот и вас другие даже в лохань окунали — и ничего...

— А потому,— ответствовала Мерсинда,— что на это комнаты имеются, где никто вас не видит... А в зале можно ручки целовать да комплименты говорить, да смеяться.

В это время в залу вошел гренадерский поручик, красивый и трезвый.

— Вот он, соблазнитель мой,— засмеялась Мерсинда с томностью.— А уж силен, силен!

— Да я его одной рукой свалил,— сказал Авросимов.

— Силен, спасу нет... Он меня на руки взял и в лохань...— она засмеялась...— Всю прямо в калачик свернул...

— Да я ж его запросто свалил,— сказал Авросимов.

— Силищи у него ужас, спаси Христос! — сказала она, вспоминая.

— А я сильнее,— сказал Авросимов.— Хотите, я вас к потолку подниму? — и он напряг мышцы, готовясь по первому ее знаку совершить геройство.

— Вот он силач мой,— засмеялась Мерсинда, не обращая внимания на нашего героя.— Ох и силен!

Авросимов почувствовал, что не может теперь отступиться, не может, что готов схватить ее в охапку и бежать с ней в компаты, ото всех подальше, но трезвое ее наставление уже руководило им, и он сказал, надеясь:

— Пойдемте со мной, прекрасная Мерсинда... Я вас в лохани топить не буду.

— Пойдемте уж,— согласилась она, словно только и ждала его предложения, и поднялась с ковра.

Теперь уже с Мерсиндой пробирался наш герой на своих дрожащих ногах по шубам, наваленным в прихожей, теперь уже Мерсинду держал он за руку, все больше поражаясь легкости, с которой она согласилась ответить на его любовь.

И они вошли в ту самую комнату, из которой еще совсем недавно возникла встрепанная Дельфиния, и Мерсинда, привычно и деловито сняв нагар со свечки, уселась на красную кушетку и с легкой усмешкой выжидательно уставилась на нашего героя, который, опустившись на стул, застыл.

Так они молчали несколько минут. Потом Мерсинда, теряя терпение, спросила:

— Ну, что же мы с вами делать будем?

Наш герой только слюну проглотил, а выговорить ничего не смог. Тогда она похлопала по кушетке.

— Хоть рядом сядьте, горе вы мое...

— Где... рядом? — выдавил Авросимов, теряясь окончательно.

— Горе мне с вами! — засмеялась она одними губами.— Идите, вина выпейте... Ступайте же!

Он встал и вышел и, уже не разбирая дороги, ринулся в залу. Дельфиния встретилась ему, но он оттолкнул ее.

— Ванюша, рыбонька, неучтивый какой! — проговорила она вслед.

Он выпил вина прямо из бутылки. Пил, пока не почувствовал, что ноги уже не держат. Бутылка выскользнула из рук. Вино пролилось. Покачиваясь, он направился обратно, не слыша, как за карточным столом снова возгорается спор.

«А я,— подумал он, торопясь к заветной кушетке,— я вас могу до потолка поднять... Гренадер-то мне не чета...»

Он вломился в комнату и, не запирая двери, кинулся к кушетке, где ждала его Мерсинда.

— Ну вот, как хорошо-то,— успела шепнуть она, прижимаясь к нему.— Ну, ну... Ну, ложитесь рядышком...

Но Авросимов, напрягшись весь, медленно поднял ее над головой, отчего она страшно взвизгнула, стала выгибаться вся, и, видимо, пальцы его ослабли, разжались, и она со всей этой немалой высоты рухнула на пол.

— Ой! — закричала она.— Убил! Убил!..

Наш герой махнул рукой и вразвалку направился прочь. «Убил!» неслось следом, но никто не бежал на помощь к Мерсинде, что, может быть, было и кстати, ибо никто не помешал Авросимову упасть на чью-то шубу и провалиться в небытие.

...Авросимов проснулся вскоре, как от толчка. Он вскочил на ноги, чувствуя глухую боль в голове и слыша, как в зале, перебивая друг друга, нехорошо так брапятся его сотоварищи.

О чем они?

Нет, милостивый государь, вы бы лучше не вопро-

шали так по-пустому, а поставили бы себя на место нашего героя, раздираемого любовью и всякой чертовщиной, которая со вчерашнего дня сушит ему голову. Когда на месте мирно веселящихся фигур вы застаете ожесточение и желание какого-то оправдания, неизвестно перед кем, каково-то вам, милостивый государь? И здесь вы встречаете суд, и здесь, изволите ли видеть, вам задают вопросы с гневом, пристрастием и насмешкой. А вы всё утверждаете себя, хоть и тщетны ваши усилия, как тот злодей — перед лицом Комитета.

Вот как вошел в залу Авросимов, глядя с недоумением на своих недавних друзей, стоящих друг перед другом с видом молодых петухов, утверждающих свои права.

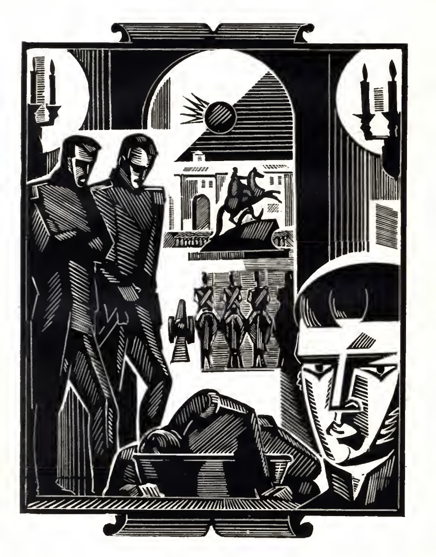
— Оставьте меня, господа,— сказал гренадерский поручик совершенно трезво.— Здесь не место и не время обсуждать мое поведение. Тем более, что и у вас рыльца в пушку...

— Потрудитесь выбирать выражения, сударь! — прикрикнул молодой человек с оттопыренными красными ушами.

— О чем они? — спросил Авросимов у Бутурлина, но кавалергард отмахнулся от него.

— Господа,— миролюбиво сказал он товарищам,— о какой смелости идет речь? Я забочусь о собственной чести. Мое — это мое. Мы же прелестно веселились. Оставьте поручика...

— Фу, позор какой! — засмеялся офицер, который миловался в начале вечера с Дельфинией, а именно — Сереженька.— Вы, Бутурлин, напрасно им все это объясняете... Они же притворяются... Я — дак палил, например, в самую гущу... А что? Или вот, когда мы князя Щепина вязали на площади, даже он меня оправдал... Он мне сказал: «Вот я бы, к примеру, тебя



вязать не стал бы... Я бы тебя — саблей... А ты великодушен, черт!» ...Сроду не забуду, как он это сказал. Ведь промеж нас — одно рыцарство должно быть, понятия чести...

— Ну, пошел выворачиваться! — засмеялся со злостью гренадерский поручик.

— Какие ж такие планы у него,— спросил Бутурлина Авросимов,— что он муки-то за них принимать должен?

Бутурлин сразу понял, кого имеет в виду наш герой, поморщился, что его отрывают от спора, потом засмеялся и сказал:

— Ах, да что там за планы? Тщеславие одно... А ради чужого тщеславия кому умирать охота? Даже государю...

— Не касайтесь государя! — крикнул молодой человек с красными ушами.

— Когда государь был великим князем,— спокойно, с легкой улыбкой на устах сказал гренадерский поручик,— мне довелось в охоте его сопровождать...

Авросимов побледнел ввиду такой новости, губы у него пересохли, ему даже показалось, что он видит перед собой государя, шагающего по высокой траве, в кожаном камзоле, высоких ботфортах, с мушкетом в руках.

— ...Подстрелив кабана,— продолжал поручик неторопливо,— и будучи в расположении, он, смеясь, заметил окружающим его, что разница между положением царя дичи и царя человеческого лишь в том, что за этим бегать надо, а тот сидит и дожидается, когда его прикончут...

— Не верю! — захохотал Сереженька.

Все зашумели. Поручик махнул рукой и выпил вина. Авросимов, ступая как по иглам, приблизился к нему и спросил тихо:

— Сударь, как это вы об государе говорите?

— А что? — скривился поручик.— Или я не волен говорить, что мне заблагорассудится? — и снова выпил.

— Да перестаньте, господа,— сказал Сереженька.

— Господа,— сказал Бутурлин,— карты ждут.

Вист продолжался. У нашего героя шумело в ушах и пальцы дрожали. Он опустился на ковер и стал пить, как вдруг гренадерский поручик, уже изрядно хмельной, неожиданно приблизился и спросил, теребя усики:

— Кто вы такой, чтоб меня судить?

— Да это не я,— сказал Авросимов.— Это они вас за то, что вы к бунтовщикам симпатии высказывали...

— Я? — скривил губы поручик.— А знаете ли вы, что я семь суток Пестеля в Петербург конвоировал, имея, представьте, указание — стрелять, коли что... Ага... Вот так сидел с ним...— и он опустился рядом с Авросимовым и прижался плечом к его плечу.— Вот так сидел...

— А он ничего?..— спросил наш герой с присущим ему любопытством.— Не намеревался чего?..

Он заглянул в стеклянные глаза поручика, и они показались ему выразительными как никогда.

— Два жандарма сидели в санях напротив,— сказал поручик.— Я — рядом, а они — напротив. Я ему сказал: «Эта картина изображает нас с вами как единомышленников». Он засмеялся. «Вас это пугает?» — спросил он. «Нисколько,— ответил я.— Даже поучительно весьма, не будучи виновным, ощутить себя в таковой роли». Он снова засмеялся, потом сказал: «Один бог знает истинную нашу вину, ибо в житейском смысле мы всегда виноваты друг перед другом...» «Однако везут в а с, а не меня»,— возразил я.

 «Один бог знает истинную вину,— задумчиво повто-

рил он.— Склонность служить общественному благу — не есть вина». «Вы-то чем служили, позвольте спросить?» — удивился я.

— Чем это он служил? — спросил Авросимов с негодованием и растерянностью.

«Чем же это вы служили?» — спросил я. Он стал кутаться в шубу, усмехнулся и ответствовал: «Мой полк был лучшим на царском смотре. Это ли не служба?» Тут я заметил, что спящие дотоле жандармы бодрствуют, и один из них косится в мою сторону.

— Непонятно, непонятно,— удивился Авросимов.

— Чего же непонятного? — рассердился вдруг поручик.— Ничего вы, любезный, не можете знать да и не должны... Кто вы такой?

— Я российский дворянин,— сказал Авросимов с вызовом неожиданным.— У меня двести душ... Я государю служу... А вы кто такой?..

— Да пейте, пейте,— пробормотал поручик, погаснув.— Пейте...

Они снова выпили, затем — еще... И наш герой вдруг почувствовал себя легко и уверенно, и как бы сквозь туман различал теперь лица, которые все были милы и доброжелательны и словно повернуты в его сторону, делясь с ним какими-то таинственными приятными сигналами.

Дышалось легко, вольно. Руки эдак плавно вздымались наподобие крыл и, задевая плотный густой воздух, повисали в нем, медленно колыхаясь.

Это наступал знакомый покой деревенского утра, лета; речной запах поднимался с поля, освежая мысли; тревоги как не было; золотистая соломинка плавала в бокале с вином, изображая юную купальщицу.

Вдруг в залу вползла, медленно перебирая руками по полу, плачущая Милодора. Из-под измятого ее платья проглядывали белые чулки. Туфелек на ногах

не было. Она тоненько подвывала, отчего можно было и напугаться, да еще, видя ее белое лицо с остановившимся взором. И тотчас в прихожей послышался крик, глухой, странный, а чей — было не понять.

Авросимов поглядел на играющих, но за столом никого не было, а все устремились прочь из залы, и даже Бутурлина не было на диване, и гренадерский поручик исчез странным образом, только он, Авросимов, да Милодора, все еще стоящая на четвереньках с диким выражением на лице, не поддались общему стремлению.

— Что же это, Милодорочка? — спросил Авросимов, но она не слышала его вопроса, ибо он уже бежал на непослушных ногах по прихожей в комнату, куда устремились гости.

Когда он, распихивая всех, пробился наконец в эту комнату, в которой еще не бывал, перед ним возникла в неясном озарении свечи спина молодого человека с красными ушами, стоящего нелепо на четвереньках перед лоханью полною вина.

Все молчали. И Авросимов вгляделся попристальнее в распахнувшуюся перед его взором картину и увидел: молодой человек стоял на карачках, неподвижно, уткнув лицо в лохань. Лоб, рот, нос, подбородок — всё было скрыто. Только красные уши, как осенние листья, лежали на поверхности винного пруда.

Стояла тишина. И в этой тишине покачивались на стенах кособокие силуэты застывших молодых людей.

Черноволосая Дельфиния склонялась откуда-то с потолка, опираясь каким-то образом на плечи Бутурлина; Мерсинда голубым пятном тонула в углу во

 мраке; Сереженька, отставив ножку, тянул лицо, ше-

велил губами, словно разговаривал с богом; гренадерский поручик сжимал собственное горло, стараясь не дать вырваться страшному крику, который распирал его грудь; остальные напоминали изваяния, разбросанные там и сям вдоль стен.

А время шло. Молодой человек над лоханью не менял позы.

— Ах,— выговорил вдруг Сереженька шепотом,— все пьет, пьет, никак не напьется...

— Господа,— сказал Бутурлин тоненьким срывающимся голоском,— может, помочь ему? Может, он дышит еще?

«Дышит, как же»,— подумал Авросимов с содроганием.

Но тут Милодора, откуда-то появившаяся, притиснулась к нашему герою, обхватила его за шею и повисла на нем, тяжело дыша ему в ухо.

— Господа,— сказал Бутурлин,— я предупреждаю, что промедление смерти подобно.

Но никто не пошевелился.

— Да ну его,— сказал наконец Сереженька бледными губами и тихонько на носках пошел прочь из комнаты.

Все потянулись за ним.

Милодора продолжала висеть на нашем герое, отрезвляя его своей тяжестью, и он с трудом волочился по прихожей в залу, когда мимо них, по направлению к зловещей комнате, пронесся, словно тень, старик в бакенбардах, в ливрее и в шлепанцах на босу ногу, а за ним — вереница заспанной челяди, все серые, как мыши.

В камине снова трещали поленья, распространяя благотворное тепло. За карточным столом шла игра, как ни в чем не бывало. Прекрасная Дельфиния, раскинувшись на диване, шалила с Бутурлиным,

подставляя ему губки, да не давая их поцеловать. Прекрасная Мерсинда восседала на ковре между Сереженькой и гренадерским поручиком...

И Авросимов медленно опустил на ковер Милодору, и сам уселся рядом.

— Непонятно, непонятно,— засмеялся он, как бы играя со своим страхом, как бы дразня его.— Вот он выберется из лохани да поглядит на себя самого — позор. А выберется ли?.. Он уж с час, как покойник!..— и он потускнел и почти крикнул в отчаянии: — Зачем же так-то помирать, господи! Уж лучше бы от злодейской пули... И то лучше...

И он погладил притихшую Милодору по волосам, словно надеясь услышать от нее ответ на свое восклицание, и она, всхлипывая, сказала:

— Я им сказывала: не пейте с лохани-то, вы же не волк какой-нибудь... А они мне: нет, волк... И так-то на карачках, на карачках... Меня с собой звали: идите, говорят, волчица... Да нешто можно с лохани? В нее ж Мерсинду окунали!..

— Как же это, Милодорочка,— спросил наш герой,— так он и пил по-волчьи-то?

— Так и пил,— сказала молодая дама.— Я заснула на кушетке, а он пил, да пил...

— И сейчас пьет? — растравляя рану, полюбопытствовал Авросимов.

— Сейчас его тело, небось, уж домой отвезли...

— А у него нешто есть дом, прекрасная Милодорочка?

— Да ну вас,— отмахнулась она.

И они снова стали пить бокал за бокалом, все больше чувствуя тепло друг от друга.

И вот, когда уже в который раз погасли поленья в камине и последние свечи оплыли окончательно,

 распространяя душный, хорошо вам знакомый аро-

мат, а в озарении одного или двух догорающих, почти тлеющих огарков игра не вязалась, а желания заново освещать залу уже не было, тогда молодые люди, вполне пришедшие в себя, встали один за другим и молча направились в прихожую, оставив в зале все как было: бутыли, куски недоеденных яств, кучки пепла от трубок по углам, и нашего героя с его дамой.

Пока они одевались в прихожей, молчаливые и строгие, как судьи, по залу засновали безликие и нагловатые тени, набежавшие из пробудившейся людской. Их было много, и они были бесшумны и деловиты, приводя в порядок помещение, придавая ему жилой и благополучный вид после долгого и отчаянного сумасбродства.

Никто и не заметил, как они, почти с такой же легкостью и грацией, как бутылки и пепел, подхватили нашего героя и, одев его в шубу, посадили в кресло в прихожей, пока один из них побежал кликнуть ваньку.

Наш герой спал, блаженно причмокивая губами, не видя и не слыша ничего, а привычная челядь тем временем с тихим смехом, подмаргиваниями и ужимками готовила ему сюрприз.

Вы бы ахнули, милостивый государь мой, когда бы смогли представить на минуту, до чего додумались эти бездельники: они вынесли из залы спящую Милодору и, вместо того, чтобы отправить ее в девичью вслед за ее подружками, накинули на нее овчинный тулуп, выволокли осторожненько из дома вместе с нашим молодым героем и, погрузив обоих в сани, шепнули кучеру, чтобы возил их по городу, покуда не прошибет морозцем, чтобы кавалер смог наконец сообщить, куда его везти.

Ванька тронулся. Дворня исчезла. Утренний

снежок занес следы. Авросимов сладко спал, прижимая к себе спящую Милодору.

Должно было минуть около часа, чтобы разыгравшийся морозец дал себя наконец почувствовать. Щеки у Авросимова запунцовели, дыхание выровнялось, и он открыл глаза.

Над собой он увидел низкое серое рассветное небо, из которого сыпался редкий снежок, и долго не мог понять, где он находится, пока не разглядел скрюченную спину кучера и проплывающие мимо них молчаливые здания.

Он стал припоминать, что с ним произошло, но хмель в нем был еще силен, и вспомнить толком он ничего не смог, даже, когда приподняв край овчинного тулупа, обнаружил под ним спящую Милодору.

Заметив, что барин проснулся, кучер полюбопытствовал, куда везти и, разобравшись в не очень твердом описании дороги, прищелкнул кнутом. Авросимов заснул снова.

Разбудил его уже Ерофеич. Молча, по своему обыкновению, он дал Авросимову придти в себя и стал помогать вылезти, ибо, как оказалось, наш герой не был еще в состоянии без посторонней помощи совершать поступки.

Но, вылезая из саней, Авросимов задел тулуп, покрывавший Милодору, и она предстала перед похолодевшим Ерофеичем во всей своей красе. Старик развел руками, а наш герой, почувствовав ответственность за судьбу молодой дамы, несколько даже отрезвел и сам вылез из саней, и тоном, не допускающим возражений, велел Ерофеичу брать Милодору за ноги, а сам ухватил под мышки, чтобы нести ее спящую в дом.

Ерофеич начал было спорить и сопротивляться, но Авросимов прикрикнул на него, и они понесли.

Все это наш герой проделал с лихим видом, как это бывает обычно у сильно выпившего человека перед лицом женщины, но, как выяснилось позже, при полном отсутствии сознания, машинально, ибо, проснувшись в полдень во всем вечернем облачении и увидав на подушке рядом с собою женское лицо, он чуть было не закричал от ужаса.

Ерофеича не было. Тогда уже трезвым взглядом Авросимов снова внимательно, напряженно, хотя и с некоторым замешательством оглядел ее.

Она была уже не первой молодости. Круглое лицо ее, обращенное к нему, носило следы неумеренности, особенно — лоснящиеся дрябловатые щеки, а горестная складка на лбу не придавала лицу значительности, а делала его жалким. Свалявшиеся волосы неопределенного цвета были особенно непривлекательны на белой подушке, а исходящий от нее запах винного перегара и пота вызывал отвращение. На измятом дешевеньком платье, сшитом с восхитительной претенциозностью, расползлось и засохло большое винное пятно...

Наш герой нашел в себе силы встать и, выйдя в прихожую, кликнуть Ерофеича. Старик тотчас же явился и принялся было пенять молодому барину, но Авросимов шепотом повелел выпроводить ужасную гостью и, пообещав впоследствии все толком разъяснить, сам спрятался в чулан, чтобы не дай бог она его не заметила и не стала бы кричать или там размахивать руками, что у подобных девиц в ходу.

Слава богу, она не голосила. Авросимов слышал из своего укрытия сопение и приглушенные голоса, затем раздались шаги в прихожей, тяжелые и расхлябанные. И дверь захлопнулась.

— Черт знает, откуда она взялась,— сказал Авросимов, вылезая из чулана и не глядя на Ерофеича.

— К вам утресь давешняя барыня приезжали,— спокойно сказал старик.

Авросимов даже вздрогнул, представив на мгновение, как не будь Ерофеича, эта прекрасная незнакомка очень просто могла войти и, ах, застать его лежащим на постели рядом с помятой девкой!

— Не наказывала ли передать чего? — спросил он, стыдясь себя самого.

— Отказались,— сообщил Ерофеич, придав этой странной истории еще больший ореол таинственности.

3

Слава богу, что в крепости нынче все начиналось ввечеру, что страшная ночь минула, и он остался цел, хотя почему-то нет спокойствия в душе, и снова — тревога и неопределенность какие-то во всем.

И вот минувшая ночь внезапно начала проявляться со всеми разговорами, передвижениями, вином... Батюшки! Человек в вине утонул! Молодой, с красными ушами... Или это приснилось? Вполне ведь он сам, Авросимов, мог так-то вот подкатиться к лохани и на виду у Милодоры... Господи, хорошо, что незнакомка в комнаты не заглянула!.. А этот, этот... Ах, страшно! И на помощь ведь не позвать: рот в вине...

Он привычно спешил к крепости, а мысли, одна путаннее другой, стрекотали в голове, подобно сверчкам, сталкиваясь, перехлестываясь, отскакивая в разные стороны.

В большой дежурной зале, расположенной как раз перед комнатой, в которой заседал Высочайше учрежденный Комитет и куда торопился наш герой, было

людно, суетливо, но не шумно. И куда их столько было — фельдъегерей, дежурных офицеров, адъютантов? Какое множество их сновало из дверей — в двери, из угла — в угол, и все ради одного, очередного, приведенного на допрос преступника, да и то укрытого ширмой от возбужденных глаз окружающих. А сколько писарей... А уж о высоких чинах и говорить нечего. И все это вертелось, кружилось, радовалось, негодовало, спрашивало... Все это хотело есть, пить, спать, веселиться и благодарить бога, что не им за ширмой сидеть в ожидании решения собственной участи. Ах, страшно вообразить себя даже на мгновение закованным в железа!

Авросимов осторожно, краем глаза глянул за ширму. Высокий с залысинами лоб Пестеля обреченно качнулся перед ним. И Пестель поднял глаза. И они посмотрели друг на друга. И Павел Иванович, вернувшись к действительности из раздумий, в которые дотоле был погружен, узнал это лицо, этот удивленный настороженный взгляд и внутренне усмехнулся.

Лицо Авросимова тут же исчезло, а Павел Иванович подумал, что все-таки что-то да есть в этом рыжем писарпшке располагающее, хотя, не дай бог, наверное, оказаться под его шомполами, ибо молодые люди с такими глазами, полными тоски непонимания, неискушенные, могут забить на смерть, коли этому их научили. И Павел Иванович зябко поежился. Уж тут хоть на колени встань... Однако что-то в нем есть, что-то в нем есть...

В зале приглушенно ворковали люди, гордые сознанием собственной праведности, особенно подчеркнутой присутствием за ширмой преступника.

— Пожалуйте, вас просят,— услышал над собой Пестель и встал.

Ему вновь предложили голубое кресло с вытертыми подлокотниками.

«Не знают, не знают! — с радостью и надеждой подумал он и торопливо, мельком глянул в дальний угол, туда, где за маленьким столом уже сидел, изготовившись над листами, розовощекий писарь с удивленными глазами. И созерцание этого человека вдруг принесло Пестелю успокоение.

Нет, он не обольщался, ибо взгляд нашего героя не выражал в ту минуту ничего, пожалуй, кроме неприязни, смешанной с недоумением, но он подумал, что все-таки лучше искренняя неприязнь неискушенного юнца, чем холодная вежливость старых циников, сидящих напротив и поступающих с неумолимостью по привычному расчету.

И словно разгадав его невеселые мысли, все, сидящие за длинным столом, тотчас надели свои маски, и следствие началось.

Авросимов надеялся, что вот сейчас-то и последует главный удар. Сколько же можно томиться?

Но ничего подобного не произошло, представьте. А просто граф Татищев буднично так и как бы нехотя, голосом утомленного жизнию человека, не подымая глаз от листа, прочел, обращаясь к Пестелю:

— Знали ли вы о намерении тайного общества покуситься на жизнь блаженной памяти государя императора и каким способом вознамеревались осуществить сие?

Из рук Авросимова выпало перо. Он метнулся за ним с ловкостью лисы, ощущая на спине осуждающий взгляд Боровкова.

Белые маски покачивались перед Павлом Ивановичем. Он не был в отчаянии, оно пришло позже, но и ничего путного что-то не мог подыскать для ответа...

— Я уже имел честь...— начал он тихо и по возможности твердо,— имел честь докладывать вам...

Но не успел он договорить, как граф Татищев, взмахнув своею белою пухлою рукой, которая словно крылом покачивала исписанным листом бумаги, поднес этот лист к глазам Пестеля с просьбой не торопиться с ответом, а ознакомиться с некоторыми, может быть, не очень приятными для него, Пестеля, откровениями небезызвестного ему господина...

И видя, как Пестель с опаской потянулся к листу, словно тот мог взорваться при прикосновении, наш герой рассмеялся в душе. Да и как было не рассмеяться, если тревога и волнение предшествующих дней, и сумбур, и негодование — всё, что скопилось и жгло, вдруг рассеялось мгновенно от одного только вида трясущихся рук злоумышленника, которые он с такой опаской тянул к листу.

И наш герой, продолжая внимательно наблюдать за поведением Пестеля, чтобы, не дай бог, не пропустить ни малейшего жеста или даже шевеления губами, чтобы видеть воочию, как добро все-таки пересиливает злонамеренность, вдруг поймал себя на том, что глядит на растерянный жалкий профиль пленного полковника с некоторым даже участием, что он бы, Авросимов, будь он на месте военного министра, не стал бы этого пленника дольше томить в зловещей тишине. Ну что его томить? Да разве что изменится — скажет он истину или скроет ее? Да просто велеть бы ему отсечь голову за злонамерения его, и тело зарыть неизвестно где. И всё тут.

А видеть, как поверженный злодей мечется, изворачивается — это даже неприятно... И даже хочется спросить у графа, смутив его: «А что, ваше сиятельство, кабы вы встретили на поле брани врага своего, смертельно раненного, истекающего кровью, глядя-

щего на вас потухающим взглядом, вы бы его, ваше сиятельство, продолжали бы шпагой колоть, чтобы доставить ему лишние мучения, и кололи бы до тех пор, пока не стал бы он бездыханным, или как?»

«Отнюдь,— мог бы ответить на это граф,— но есть упоение в бою... и есть тайная власть, которой мы противустоять не можем».

«Мне это непонятно,— сказал бы Авросимов со свойственным ему недоумением.— Вы же, ваше сиятельство, восстаете против беззакония именем государя, а государь-то — именем всевышнего, стало быть и вы как бы именем всевышнего через государя... А почему же, ваше сиятельство, я не могу в движении ваших чувств узреть бога?»

На это граф вполне резонно мог бы ответить, что всё — именем бога и государя, но, дабы не могла в сердцах неискушенных молодых невежд вспыхнуть даже малая искорка сумнений или, что еще вреднее, сочувствия к вознамерившимся на злодейство, следует, чтобы сии преступники разоблачали бы себя сами, покарав тем самым себя самое и свои планы...

«Какие планы-то? — снова удивился бы Авросимов.— Злодейство и все тут... А если вы, ваше сиятельство, и вы, господа члены, так долго и с таким тщанием изучаете их злонамерения, уж не есть ли это знак того, что дарованное богом и государем может вызвать сумнение?.. А ведь вон и государя Павла Петровича извели... И ничего...»

Тут Авросимов понял, что зашел слишком далеко в своем возбуждении и стал отмахиваться в душе от назойливых мыслей, которые мешали ему сосредоточиться на созерцании Пестеля.

Вдруг он увидел, как и без того бледные щеки
 пленного полковника стали белее мела. Голова его

качнулась вперед резко так, словно он решил клюнуть дрожащий перед ним лист.

Дежурный прапорщик из преображенцев, стоящий возле дверей на месте Бутурлина, кинулся было к нему, но Пестель выпрямился и властно отстранил прапорщика.

— Господин полковник Пестель,— медленно произнес генерал Чернышев, явно наслаждаясь замешательством пленника,— теперь, после признания вашего бывшего подчиненного, вы, надеюсь, ответите по всей чистой совести на вопросы, вам поставленные?

Что прочел на листе Пестель, для нашего героя оставалось загадкой, а в тоне военного министра и генерала Чернышева ему послышались знакомые интонации, которые можно было бы назвать даже располагающими, когда бы они не были так зловещи. Вот и судите о людях, когда они наедине с вами будто бы даже симпатию выражают, а перед множеством подобных утверждают совсем противуположное.

Опять же — желание убить царя! Это ли не злодейство! Однако все высокие чины даже не вздрогнули при упоминании об этом; и минувшей ночью молодые господа очень свободно об этом произносили, словно и не о царе, не о государе императоре, а так, о дядюшке двоюродном да смертном...

И тут Авросимов в полном расстройстве чувств и в тревоге, которая снова на него накатила, вдруг отчетливо так, словно наяву, увидел государя императора в кожаном камзоле, в охотничьих сапогах — ботфортах и в шляпе с пером. Грустно поникнув головою, царь вышел из угла и двинулся вдоль комнаты. Он был мал ростом, настолько мал, что, подойдя к столу, за которым сидели высокие чины, не обошел его, а вошел под него, даже не пригнув головы, и

пошел, пошел, обходя ноги генералов, показался с другого конца, ступил еще несколько шагов и исчез...

«Да,— подумал Авросимов с грустью и ужасом,— а что он может, маленький такой? Очень просто можно его и прихлопнуть...»

Он стал сильно трясти головой, чтобы избавиться от подобных размышлений, и тут же услышал шепот Боровкова, как бы издалека:

— Что с вами, сударь?

Тогда Авросимов ткнул перо в бумагу, чтобы оно было готово бежать по ней, живописуя для потомков страдания живой души.

Пестель откинулся в кресле, словно переводя дух, и уже по привычке слегка поворотил голову, чтобы поглядеть, а как там этот рыжий? Глаза их встретились...

«А может, я смешон в своем упорстве? — подумал Павел Иванович.— Что же угрожает мне? Покуда северяне действовали, я предавался сомнениям, да и схвачен был накануне событий, с этой точки зрения моя невиновность полная. Ну что? Отстранят от полка?... О, это было бы счастливым исходом... Но ведь могут разжаловать, канальи,— вот что будет ужасно!»

И все-таки, представьте себе, даже в минуту полного отчаяния, когда последняя маленькая надежда покидает вас, нет-нет да и обернется какая-нибудь мысль своею шутливою стороною, придав вам толику бодрости, пусть даже на единственное мгновение.

Вот так и Павел Иванович, подумав о том, что ничего доброго нельзя ожидать от сего общества, которое видит в вас своего разрушителя и ниспровергателя и, пряча страх свой под масками, должно карать ради собственного спокойствия, внутренне усмехнулся, понимая, что удайся его предприятие, он бы с друзьями непременно судил этих людей за

то, что они, верша закон якобы на пользу народа, на самом-то деле старались для себя, именуя рабство божьим определением (большего невежества нельзя себе было представить!). И тогда все поворотилось бы обратным порядком, и он с друзьями выглядел бы в глазах этих людей так, наверное, непреклонно, что они тоже теряли бы надежду...

Авросимов, весь поджавшись, нацелив перо в бумагу, ждал его первых слов, потому что вот оно и пришло то, от чего Пестель так ловко уходил. А может, это Пестелю самому казалось, что ловко. Теперь-то его приперли, злодея... Но, думая так, Авросимов не ощущал большого торжества и даже догадался, что бумага, показанная Пестелю графом, была выпиской из того, что о нем, о злодее, рассказывали его соумышленники, и посетовал на промах графа, на его медлительность, ибо возьми он сразу да вели привесть всех скопом, да заставь их повторить ранее написанное, все бы давно уж закончилось!

«Интересно,— успел подумать наш герой, глянув на Татищева,— а кабы государя и впрямь извели, их сиятельство куда бы делись?»

Павел Иванович, хотя и понимал, что бой проигран, втайне все-таки надеялся на чудо, и это подогревало его. Ах, милостивый государь, человек тем и знаменит, что он до последней минуты надеется, а когда не все до конца ясно — тем более. Вы бы сами так себя повели, коли были бы в подобном положении. Да что ж теперь гадать, когда это не к вам относится, а к человеку, сказавшему накануне ареста, что, мол, не беспокойтесь за меня, ничего не открою, хотя бы меня в клочки разорвали... И это он повторял затем в каземате, надеясь, что и они, друзья, ни слова. Но ведь знаете, как оно бывает: одно за другое, и весь ты уже как на ладони...

Военный министр глядел на Пестеля, как бы говоря: «Все уж теперь, батюшка. Я понимаю ваш пафос, но теперь это — все вздор... И вы не упорствуйте, как бывалоча в Тульчине, где все ваши были, свои. Здесь своих нет. Да и вы государевы.»

«Зачем они вообще на цареубийство решились, если уж о пользе отечества пеклись? — подумал наш герой.— Ведь получается, что никакой разницы в мыслях: им — отечество и царю — отечество... Чего убивать-то?..»

Затем все пошло быстрее. Видно, и граф начал терять терпение, придерживаясь привычных правил, и решил ускорить ход событий, да и белые маски на лицах членов Комитета как бы покривились несколько, как бы слиняли. И когда Авросимов после первого удара по Пестелю, от которого и его прошибло, опомнился, ему даже смеяться захотелось, глядя на нелепые эти маски, но он сдерживался и нацеливал свой интерес на то, как будут разворачиваться события дальше.

Павел Иванович, будучи в смятении чувств и утирая лоб несвежим платочком, вдруг почему-то вспомнил душное тульчинское лето, свой домик с белыми прохладными стенами, низкое крыльцо, ранний вечер. Пахло пылью и укропом. Подполковник Ентальцев уезжал в Каменку. Павел Иванович вышел проводить гостя. Бричка стояла на самой дороге. Ноги лошади утопали в пыли. На загорелом жестком лице Ентальцева удивительно нежными и молодыми казались голубые глаза.

— Просились бы вы в Киев,— засмеялся Ентальцев.— Здесь у вас путем и общества нет...

— Передайте письмо Волконскому тотчас же,— попросил Пестель.— Вы имеете в виду женщин?

— Я человек семейный,— снова засмеялся Ентальцев.

И бричка тронулась. Бесшумно. Словно поплыла.

Пестель понимал, что не всем дано оставаться самими собою под ударами судьбы, а лишь немногим, в ком сила духа и прочность воззрений слиты с давнего времени и как бы вошли в кровь. Но что делать? Кабы этих господ хоть в малой степени интересовали мысли о благе страны, они должны были бы перешагнуть через страх цареубийства и вслушаться в его, Пестеля, выстраданные мнения... Да разве в цареубийстве дело? Господи, да и при чем тут царь?..

...Тут жестокая судьба позволила Павлу Ивановичу снова заглянуть в не столь давнее прошлое, и он увидел прелестную картину, то есть себя самого и князя Трубецкого, в Петербурге, в комнате, окна которой выходили на Неву. Нева была весенняя, еще не вполне избавившаяся ото льда. Князь глядел настороженно, даже как будто ужас мелькал в его больших детских глазах, крупный нос грустно нависал над губой, темные кудри были взъерошены.

— Значит, от разговоров о нравственном совершенстве мы пришли к цареубийству? Вот к чему мы пришли? — спросил он шепотом у гостя.

— Почему же вы так решаете? — удивился Павел Иванович.— Вопрос стоит о коренных преобразованиях, это первое... Ну а убийство ли, высылка, изоляция или полюбовный договор,— он засмеялся.— Монархия и республика несовместимы...

— А вы уверены,— опять шепотом спросил князь,— а вы уверены, уверены вы, что возможно изменять природу власти? Вы чувствуете в себе это право?..

Павел Иванович снова рассмеялся, но тут же погас и сказал жестко:

— Князь, я вам удивляюсь. Вы хотите, чтобы мы, преисполнившись благонамерения, оставили всё как есть? Тогда для чего же все эти годы? Моральный бунт нам не помощник... Вы хотите... Вы просто боитесь?..

Тут князь густо покраснел. О каком страхе можно говорить с ним, героем Бородина?

— Я вижу ваши намерения,— сказал Трубецкой глухо и решительно.— Мы этого не приемлем. Мы, северяне, этого не приемлем. Вы это должны хорошо понять...

...Пестель скрестил привычно руки на груди, словно забыв, что он — пленник.

«А кабы он стал государем?» — подумал наш герой, исподтишка разглядывая Пестеля, и вздрогнул: Павел Иванович смотрел на него тяжелым взглядом, напомнив Бонапарта с известной литографии.

«Эва, как они переглядываются,— заметил про себя граф Татищев.— Юнец глядит на Пестеля, как кролик — на удава. Не будь меня — кинулся бы в пасть к нему, я знаю...»

Но тут Пестель перевел взгляд на графа, и военный министр отворотился с раздражением.

«Объявись я царем,— подумал Пестель,— ты бы мне присягнул. Да только тебе ведомо, что я царем не буду... Что же во мне проку-то для тебя, сударь? Нешто идеи мои?»

«Не тебя, не тебя я сужу,— живо откликнулся граф, вперив в стол по-собачьи тоскливые свои глаза,— а образ мыслей, которые ты взращиваешь. Тебя мне жаль...»

«Вознесся я, вознесся,— мелькнула в голове нашего героя нерадостная мысль.— Как бы не упасть...»

Боровков подманил Авросимова, и наш герой ринулся к начальнику получить от него новую тетрадь, затем низко поклонился и снова поспешил к своему стулу, и подумал: «Чего это я спешу?.. Со стороны, как поглядеть, смех один!..» — и глянул на Пестеля. Павел Иванович ну как нарочно рассматривал его своими раскосыми глазами, и была в них боль.

«Злодей! — воскликнул наш герой про себя.— Как смеешь ты укоры мне делать!»

— Вы бы уж не запирались, господин полковник,— вдруг сказал граф эдак расслабленно, по-домашнему.— Охота вам со смертию шутить? Его величество обо всем знает. Жалеет вас... Не упорствуйте.

— Дело ведь не во мне, ваше сиятельство,— глухо и обреченно выговорил Пестель,— а в образе мыслей, который вам не совсем ясен, а потому и представляется преступным...

— Вот именно,— обрадовался граф и провел пухлыми пальцами по щекам.

«Дурак! — забубнил про себя наш герой, вспомнив свой вчерашний диалог с военным министром.— Не верь ему — лисе! Ах, дурак ты, полковник».

Дверь со стуком распахнулась, словно шарахнулась под гневным взглядом военного министра, и дотоле неизвестный офицер, неестественно улыбаясь, в чистом мундире, словно только что от обеда, почти вбежал в следственную, кивнул Павлу Ивановичу, сверкнув черными огромными глазами.

«Теперь все равно»,— вяло подумал Пестель, даже не удивляясь не совсем привычному в этих местах виду своего вчерашнего единоверца.

— Теперь все равно,— торопливо выпалил офицер, когда ему задали тот же вопрос, касаемо цареубийства.— Все уже известно, так что все равно... И не моими стараниями известно...... Я тут пас. Вы

же, Павел Иванович, сами... Да вот полковник Пестель сам говорил мне... Вы же говорили мне, Павел Иванович, что прежде чем начать возмутительные действия, следует истребить... вы же говорили? Это относительно императорской фамилии. Еще с вами Муравьев не согласился. Вы же готовили других для свершения удара? — пальцы его тряслись вразнобой, словно он играл на флейте что-нибудь ухарское.— Я, к стыду моему, по легкомыслию подпал под обольстительный характер полковника Пестеля... Вы, Павел Иванович, увлекли меня, и в этом вы человек великий, как вы обольщать умеете... И как мы с вами на пальцах считали, уж это вы помните, чтобы счет жертвам был точный. Мы вот так по пальцам считали,— обратился он к графу, протягивая ему свою развернутую пятерню,— и всех перечисляли, начиная от государя... И вы, Павел Иванович, желая показать, что я бесчеловечен, сказали мне, мол, знаю ли я, как это все ужасно? Помните?.. Не сочтите этого,— снова обратился он к военному министру,— что я, мол, не делал, а, мол, Пестель. Нет, нет... Мы тогда вместе... Я не скрываю этого обстоятельства, ибо тогда мы вместе... теперь все равно...

Пламя свечей металось от ветра, производимого руками офицера. Члены Комитета вполголоса переговаривались, устав, очевидно, вторично выслушивать чистосердечную исповедь его. Пестель словно дремал, опустив голову, и только пальцы, вцепившиеся в край скатертного сукна, выдавали его чувства.

Нашему герою, скачущему пером по бумаге, отвратительными казались речи пестелева единоверца, и не потому, что офицер, будучи в порыве раскаяния, чистосердечным признанием намеревался облегчить участь себе и своему недавнему предводителю, а потому, что и вы, милостивый государь мой, даже вы,

при всем вашем горячем патриотизме и приверженности государю, что всем хорошо известно, даже вы возмутились бы, слушая эти речи, ибо дело тут вовсе и не в политическом их смысле, а в простой порядочности, в благородстве простом, которые даже нашему герою, не искушенному еще в вопросах морали, были свойственны.

«Ах,— думал он, негодуя со всем своим искренним пылом,— как же он мог ему доверять?! Я бы в жизни вот так не прыгал, хоть ты меня задави!..»

И тут он был по-своему прав, не вдаваясь в суть, а возмущаясь самим фактом.

— А сами вы? — вдруг спросил у офицера Левашов, и Авросимов впервые услышал его вкрадчивый бас, словно вовсе и не генералу принадлежащий.

— Что сам? — не понял офицер.

— А сами вы что утверждали?

— Сам я?.. А я разве себя чем покрываю?.. Я ведь уже все рассказал по чистой совести... Павел Иванович, я все рассказал... Я спервоначала упорствовал, но какой смысл? Посудите сами, ведь все известно...

— А что Бошняк? — снова спросил Левашов.

— А что Бошняк? — снова не понял офицер, но тут же заиграл на своей флейте и почти закричал, захлебываясь: — Я не предлагал господину Бошняку ничего противозаконного... Посудите сами, он для побуждения меня начать действовать сам, говорил, что все уже, мол, открыто, что единственный способ ко спасению — поднятие оружия и возмущение полков... Я ему объяснял противное, но, посудите сами, зачем я ему все это объяснял — понять не могу... Возмущение полков... Какие они полки? Где они? Зачем вымышлять на несчастного и такие нелепости!..

«Он будет кричать без конца,— зажмурился Пестель.— Что они его не остановят?»

— ...Не довольно ли я кажусь господину Бошняку,— продолжал офицер,— кажусь господину Бошняку виновным, чтобы совсем меня погубить?.. Я полковнику Пестелю об этом сказывал... Я вам, Павел Иванович, еще в Линцах летом сказывал... что, мол, Бошняк просится в общество... И Павел Иванович остановил сие вот, все сие обстоятельство...

В этот момент военный министр, подпирая щеку пухлым своим кулаком, не то чтобы улыбался, но едва заметно шевелил губами, что в некотором смысле даже могло означать и улыбку.

«Золотая шпага выглядела бы здесь игрушкой,— подумал Павел Иванович с горечью,— а юнцы счастливы...— и вспомнил себя самого, принимающего этот почетный дар.— Но ведь железка... И этот еще кричит...— и шумно вздохнул.— Однако России еще далеко до грядущих блаженств... с этим... вот с такими...— и сокрушенно: — Каковы ее дети!.. Это нервический припадок...»

— Ваше сиятельство,— сказал Пестель,— распорядитесь препроводить меня обратно в каземат. Нынче я отвечать не способен.

Злодея увели. Он шел быстро, словно торопился поскорее скрыться от позора.

Когда дверь за ним затворилась, наш герой вздохнул облегченно, с шумом, что тотчас было отмечено Боровковым с неодобрением. Но где уж тут было размышлять о добронравии, когда груз пережитого за день был так велик!

В голове Авросимова все уже перепуталось в достаточной мере, так что он, едва Комитет закончил деятельность, вылетел вон, хотя это говорится для красного словца, ибо он с почтением и подобострастием, как обычно, просеменил мимо высоких чинов, лишь изнутри раздираемый непонятной тоской.

Поздний морозец придал ему несколько бодрости, одиночество помогло собраться с мыслями и вернуло походке его твердость.

Не успел он добраться до дому, не успел перешагнуть через порог и предстать перед заспанным Ерофеичем, как последний, не говоря ни слова, подал ему вчетверо сложенный лист. Авросимов развернул его дрогнувшей рукой:

«Милостивый государь!

Не имея чести быть с Вами знакомой, но понуждаемая многими чрезвычайными обстоятельствами, осмеливаюсь покорнейше просить Вашего участия в деле, о коем сообщу изустно при встрече. Письмо сие сожгите по прочтении неукоснительно.

Искать меня надлежит по Загородному проспекту, в доме господина Тычинкина, в любое время дня или ночи. В воротах встретит Вас мой человек.

Уповая на Ваше великодушие и благородство, с нетерпением жду встречи...»

— Она? — спросил наш герой шепотом, снова возбуждаясь.

— Приезжали-с,— также шепотом откликнулся Ерофеич.

— Здесь писала? — выдохнул Авросимов, замечая в письме многочисленные помарки и прочерки.

Ерофеич кивнул.

4

Что было делать? Часы показывали полночь. Сомнения были свойственны нашему герою, как всякому на этом свете, но возраст его был таков, а возбуждение и интерес были накалены до такой степени, что раздумья и прочие предосторожности не могли его смутить.

Это мы с вами, сударь вы мой, всего хлебнув и изведав, и не раз ожегшись, склонны к сомнениям, покуда и надобность-то в нашем вмешательстве не отпадет. Даже провинциальная робость в нашем герое оказалась в такую минуту слабым подспорьем в благоразумии.

Он тут же выскочил вон. Ерофеич едва успел крикнуть вслед слабым голосом, что, мол, опомнитесь, батюшка, да лишь руками развел, куда там! Старик только успел услышать несколько отчаянных ударов каблуками о ступени, и все стихло.

Если бы наш герой знал наперед, что ждет его в неведомом ему доме, он, может быть, и остановился; если бы знал, как обернется его жизнь в дальнейшем, может быть, не торопился по заснеженным улицам в поисках ваньки; а когда нашел наконец какого-то заспанного и ввалился на сиденье, может быть, не кричал бы истошно: «Гони! Гони!..»

Но все происходило именно так: и сани летели, повизгивая полозьями, и лохматая их тень вспыхивала на стенах домов, когда какой-нибудь редкий фонарь помаргивал желтым языком.

Авросимов, откинувшись на сиденье, испытывал нетерпение и страх, почему-то лицо кавалергарда Бутурлина возникало перед ним, искаженное усмешечкой.

Как доехали до нужного места, Авросимов не заметил. Расплатившись с ванькой и отпустив его, он нарочито медленно обогнул приземистую церквушку и, обжигаемый морозом, направился к темному двухэтажному дому, где окна первого этажа напоминали своими малыми размерами бойницы в монастырских башнях, а окна второго, напротив, поражали величиной и великолепием и венецианским своим видом.

У ворот его действительно ждали. Он словно в глубоком сне шагал за приземистым человеком в овчинном полушубке и малахае, надвинутом на самые глаза. Затем скрипнула дверь. В лицо ударило теплом, ароматом имбиря, сладкого теста и сушеной вишни. Закружилась перед глазами винтовая лестница с полированными временем перилами, и вдруг распахнулась широкая прихожая, ярко освещенная, с потолком, уходящим куда-то к небесам.

Как он скинул свою шубу, этого Авросимов тоже не заметил. Очнулся он уже в просторной гостиной, в мягком кресле и, очнувшись, подумал, что вот и добрался наконец до заветного места и что сейчас и произойдет что-то такое, отчего все изменится в его судьбе. И уже все полетело прочь: и военный министр, и память о флигеле и Милодоре, и даже лицо Пестеля потускнело и виделось как сквозь дымку. Он попытался вспомнить лицо прекрасной незнакомки, но не смог, как вдруг открылась дверь и вошла она, именно она, об этом нельзя было не догадаться.

Она была в черном глухом платье, словно только что схоронила близкого человека, но печать грусти и озабоченности, рассеянная во всем ее облике, еще более красила ее в глазах нашего героя. Тогда, при первой встрече, она показалась ему значительно более высокой, а тут Авросимов понял, что он со своими ручищами и ростом под потолок, как раз и создан, чтобы утешать ее в печали и возвышать, и отводить от нее всякие житейские невзгоды.

И тут словно что-то новое, дотоле неведомое открылось в нем. Он встал со своего кресла, спокойно и с достоинством поклонился и спросил не прежним голосом рыжеволосого юнца, но голосом мужа:

— Сударыня, в толк не могу взять, что вынудило вас с такой настойчивостью искать меня и желать

увидеть. Но, поскольку я перед вами, отваживаюсь заметить, что вы, по всей вероятности, ошиблись, приняв меня за лицо высокопоставленное, хотя я — дворянин, владелец двухсот душ...

Она уселась в кресло напротив, жестом предложив ему сделать то же самое, и засмеялась, хотя глаза ее сохраняли при этом прежнее печальное выражение, что усугублялось синевой страдания, обрамляющей эти удивительные, как ему казалось, глаза.

Вам, наверное, не так уж трудно вообразить себе эту сцену, ибо в вашей жизни, я уверен, бывало подобное, когда вы тоже торопились к предмету вашего благоговения и, наконец, встречались с ним, и дух у вас захватывало. Ну тут — фраза за фразой, часто многозначительные, но по сути всякие пустяки, и, конечно, вы были скованы робостью и чувствовали себя неловко, покуда присматривались, приговаривались друг к другу, еще больше восхищаясь и сдерживая безумство.

Но что касается нашего героя, вы, наверно, заметили, как он сказал свою первую фразу в манере нам непривычной, и это следовало бы отметить, оценить в нем и не считать бестактностью или, пуще того, наглостью.

Он смотрел на нее открыто, не дерзко, со счастливой грустью взрослого человека, капитана, открывшего к концу жизни свой остров в безмерном океане.

Не знаю, что обуревало ее в этот момент, но она сказала просто и не чинясь, как старшая сестра:

— Я вижу, что вы достойный человек. Мы с вами не дети. Давайте отбросим светские условности. Будем говорить прямодушно, как давние добрые друзья.

Он слегка наклонил голову в знак согласия, и она продолжала:

— Поверьте, что желание видеть вас — не каприз плохо воспитанной дамы. О, нет, нет!.. Мне стоило большого труда пренебречь положением, предрассудками моих родных и знакомых, преследуя вас (она засмеялась), ставя и вас, быть может, в неловкое положение (она помолчала, словно давала ему возможность опровергнуть ее), интригуя вас и вашего слугу своими молчаливыми визитами... Пусть навсегда останется тайной причина, побудившая меня домогаться встречи именно с вами... (брови у Авросимова взлетели). Почему я выбрала вас... (он вздрогнул) ах, не все ли равно. Я хочу знать только одно: расположены вы меня выслушать со вниманием, готовы ли быть мне другом...

Тут она замолчала, вглядываясь в лицо нашего героя, искаженное муками. Звуки ее речи, первоначально показавшиеся ему пленительнейшей музыкой, постепенно привели его в состояние крайней возбужденности, так что он даже и половины смысла уже не мог уловить, а весь напрягся, как перед прыжком через пропасть.

Навряд ли были тому виной некоторые высокопарность и неопределенность, с которыми она к нему обращалась: он этого и не замечал вовсе. Но, подобравшись весь, жаждал, как воздуха, продолжения ее речи, о чем бы она ни говорила.

— Мне показалось, что вы чем-то взволнованы,— сказала она,— неужели слова мои привели вас в такое состояние? Уж лучше бы я говорила с вами о чем-нибудь другом...

— Да нет же,— выдохнул он с усилием,— вы говорите, приказывайте... Я на все готов.

— Зачем же приказывать,— засмеялась она.— Я просить вас должна, то есть я просить могу, и не

больше... Но прежде чем просить, я хочу спросить вас... Не жалеете ли, что посетили меня?

Он посмотрел на нее с восторгом и тут впервые увидел родинку на ее щеке, и к тому же весьма приметную. «Ангел! Ангел!» — вздумалось крикнуть ему, но сдержался.

Она снова засмеялась, удивленная его пылом. Встала. Срезала нагар со свечи. Накинула на плечи платок.

Авросимов следил за каждым ее движением неотступно.

— Чем же вы там у себя занимаетесь? — неожиданно спросила она.

— Пишу-с и только,— с охотой доложил он.

— И не трудно?

— Да отчего же? Вот только успевай...

— Это же заставляет страдать,— сказала она.— Все эти разговоры несчастных людей...

Ее сочувствие к злодеям не возмутило его.

— Натурально, человека жалеешь...

— А безвинные-то как же? — спросила она.— Разве вид их не вызывает сострадания еще большего?

— А безвинных нет,— вздохнул он.— Все виновные. То есть они стараются представить себя безвинными, но разве это возможно, когда все на ладони и все доказательства к тому...

— И они рассказывают что да как? — спросила она со страхом.— Где бывали, что делали, с кем встречались?..

Ему стало жалко ее.

— Кто как,— пояснил он.— Одни рассказывают, другие молчат... Да ведь разве утаишь?

— Молчат? — удивилась она.— И такие есть?.. Кто же? Кто?

— Да вот полковник Пестель, например,— сказал Авросимов хмуро, но прежнего ожесточения не ощутил.

— Пестель! — вскрикнула она и всплеснула руками, но тут же спохватилась, засмеялась вкрадчиво.— Интересно, ну и как же он? Молчит?.. И ничего?

— Да стоит ли об этом? — начал было наш герой, видя, как она переживает при упоминании всех этих несчастных, всей этой истории...

— А вы в деньгах не нуждаетесь? — вдруг спросила она.

Он не знал, что и отвечать на подобный вопрос. Он посмотрел на нее: она покраснела и старалась ладонями прикрыть щеки. Затем снова потянулась к свече, хотя и нагара-то никакого не было.

Авросимов находился в прежнем напряжении. Нелегкое это занятие в молодые годы — восторгаться дамой, сидящей напротив. Особенно, когда родинка, как живая, при каждом слове вздрагивает у нее на щеке и от этого мельтешит перед глазами, а время идет, но ты никак не можешь вникнуть в суть разговора и все робеешь и думаешь, какие у тебя рыжие невпопад космы и пунцовые юные щеки, и как это все не совпадает с твоей душой, переполненной восторгом, благоговением и тревогой.

«Не могу я сидеть безмятежно,— подумал наш герой.— Хоть в ноги бросься».

— Как мы всегда, люди, не умеем быть благодарны природе,— вдруг услышал он.— Почему нам всегда всего мало? Я вижу и на вашем лице борьбу страстей. Вы тоже себя вопросами мучаете... А насколько я смогла уловить, вы ведь откуда-то издалека?.. Так у вас ведь там об этом и не рассуждают. Ведь так?

— О чем? — спросил он хрипло.

— Ну обо всем, об этом, о чем мы с вами пытаемся разговаривать: как устроен мир, и почему так, а не эдак... И сами себя все казним, раним...

— Поверьте, сударыня,— ничего не понимая, но встав во весь рост, торжественно сказал наш герой,— я готов сделать, что вы прикажете, лишь бы вам не казниться...

Она тихо засмеялась и продолжала, словно его и не было:

— А спустя время, глядишь — и нет уж нас прежних, с благородством былым, с фантазиями чудными... Ведь так?

— Так точно,— по-военному вдруг произнес он.

— Представьте себе, друг мой, прекрасного молодого человека, ну вот хоть себя самого. Совершается это ужасное дело, и вашего брата изобличают, как злоумышленника, и над вами повисает проклятие. А вы, конечно, никогда не подозревали, что это несчастье могло случиться, и с братом почти и не встречались, занятые собственной службой, семьей... И его опасные порывы были вам чужды, и вы их не разделяли, но так уж случилось. И вот вам, друг мой, в самую такую минуту, когда перед вами забрезжил наконец свет вашего счастья и свершения ваших надежд, вдруг в самую такую минуту перед вами ставят выбор: брат или государь...

И тут наш герой подумал вдруг о том, что если бы она могла согласиться, то есть даже просто подать едва заметный сигнал, он, ни минуты не колеблясь, увез бы ее в свое имение на радость себе и матушке, ибо все молодые соседки, что были в уезде наперечет, не шли ни в какое сравнение с этой дамой. И они бы поселились в старом флигеле, чтобы не докучать матушке своим образом жизни, и не было бы там ни-

кого, кроме их самих; не было бы там ничего, что ныне угнетает, хоть кричи, хоть головой бейся об стену.

— Теперь я буду рассказывать вам, как бы вы сами поступили,— продолжала она, прерывая его мечтания,— а вы только отвечайте права я или нет... Вы любите своего несчастного брата и желаете ему добра, но выбор пал, и уже трубы зазвучали седлать коней и браться за оружие...

— Чем же государь ему не угодил? — полюбопытствовал наш герой.

Но она замахала руками.

— Вы слушайте, слушайте... Сможете вы брату своему помочь в такую минуту? Ну что вы сможете, когда многие даже генералы не смогли ничего. И вот вы садитесь на коня и с полком своим служите государю. Ведь так?

— Так,— сказал наш герой, думая о матушке, как бы пришлось ему делить себя меж государем и ею, хотя это, может быть, и смешно вообразить себе на трезвую голову.

— Ну вот видите,— сказала она,— вы, конечно, на подозрении, на вас пятно, ваш брат злоумышленник... Можно ведь подозревать вас? Да?

— Да,— подтвердил Авросимов.

— Значит, следует вам держать противную брату сторону, чтобы очиститься, чтобы никто пальцем в вас не тыкал... И это все ведь жалея брата, несчастного человека, благородного... Ведь он ничего о других не рассказывает? Ведь так?

— Так,— сказал Авросимов и подумал, что надо самому предложить ей уехать в деревню: там — воздух чист, покой... Зачем это ей казнь такая? За что?

— У меня матушка в деревне,— проговорил он,— дом с флигелем... Там можно и успокоиться и о воз- 97

вышенном подумать... Вам бы матушка моя понравилась...

— Да вы слушайте,— почти закричала она,— слушайте меня, сударь... И вот вы служите государю во всем этом несчастье, но сердце у вас за брата обливается кровью... И вы себя даже виноватым считаете, хотя на вас вины нет! — крикнула она.— Ведь так?.. И вы вспоминаете, как, бывало, раньше по молодости вы какие-то там идеи с братом своим несчастным обсуждали и даже не возражали ему... Ну, а как это раскроется? Значит, все прахом? Но тут вы понимаете, что ваш брат, полный прежнего благородства, и не думает об вас вспоминать... Вам ведь это в а ж н о знать? Ведь так?

— Так,— подтвердил наш герой без энтузиазма и представил себе Павла Ивановича в сыром каземате, с завязанными глазами перед тем, как идти в следственную. И ему захотелось снова покоя и тишины для себя и для нее; а уж злодею страдать в каземате: он-то знал, куда шел, знал, чего хотел, тем более что помочь ему невозможно. Он бы, Авросимов, злодейства себе не выбирал, а Пестель коли выбрал, значит — бог ему судья. Ну, а она-то, она-то как?

— Нет, вы не подумайте,— продолжала она,— что я благородства Павла Ивановича не вижу... Мы его всегда любили и плачем об нем. Но почему же другим-то страдать за его порывы? Ведь так? Ведь вы не можете не согласиться?

— Не могу,— признался Авросимов.— Мне больно глядеть, как вы мучаетесь, как он, злодей, вас мучает! Он сам себе наказание придумал, а вы-то причем? Это я могу вот так ночей не спать, метаться. Я здоровый, а вам-то за что?

 Пламя свечи вздрогнуло, пошло плясать.

В доме не было слышно ни звука, словно они разговаривали высоко в небесах.

— Вот так и брат Павла Ивановича,— сказала она издалека, глухо,— полный страдания за Павла Ивановича и отчаяния за собственную судьбу, не умея себя поддержать, а только проклиная жалкий свой жребий, злой рок, вынудивший его взяться за оружие и палить по друзьям Павла Ивановича, и теперь он гаснет в сомнениях и угрызениях...

— Не понимаю,— хрипло выкрикнул наш герой,— он мучается, что против мятежников вышел или что с ними не пошел?

— Какой вы, право,— засмеялась она и платочком провела по щекам,— как у вас все просто: за мятежников, против мятежников...

Вдруг в окно постучали. Она обернулась. Кто мог стучать в окно второго этажа? И все-таки стук был. А может, это снегирь в дом просился или веточку ветром оторвало и понесло...

— Утомила я вас,— сказала она, размышляя о каких-то своих заботах, кутаясь в платок. Сердце у Авросимова дрогнуло.

— Я рад буду угодить вам,— тихо сказал он.— Вы приказывайте.

— Да я не смею приказывать,— едва слышно и рассеянно отозвалась она.— Я только просить вас могу... Просить, да и только... Униженно просить.

— Нет, вы приказывайте,— потребовал наш герой, ощущая слабость и головокружение...— Зачем же просить?

Она поднялась с кресла.

— Вы же и так все поняли, сударь... Уж коли Павел Иванович не намерен ни об ком ничего рассказывать, нам с вами будто и не к лицу старые тряпки ворошить...

Теперь она казалась нашему герою очень высокой и еще более недоступной, чем мгновенье назад. Он тоже встал, но продолжал смотреть на нее как бы снизу. В комнате царило молчание. Платочек в ее руках застыл, выставив белое крылышко.

Прощание было коротким, почти холодным.

— Сударыня,— сказал Авросимов мужественно и с грустью,— хотя мне и не к лицу печься о семейных делах государственного преступника, да и противу долга это, но жалость к вам может меня подвигнуть на это, особливо, что брат Пестеля и ваш супруг — одно лицо, а вы можете не сомневаться в моем благородстве.

Да, да, именно так все это и происходило на самом деле, и вам не следует по этому поводу сокрушаться, потому что суть всех этих кажущихся нелепостей слишком проста и очевидна.

Это ведь мы с вами, всего в жизни хлебнув, обо всем имея твердое мнение, можем, когда это нужно, и в сторону отойти, и от лишнего отказаться, и ведь знаем, что — лишнее! Когда чаша наших душ бывает не переполнена, но полна, мы ведь ее от струи тотчас и отстраняем: хватит. Вот так живем, и это нас поддерживает и сохраняет и придает мудрости и остроты зрения на дальнейшее. И снова падает в чашу эту капля за каплей, все, что нам определено, но как до краев докатило — да пропади оно все пропадом! — и мы чашу сию — в сторону. Вы скажете: мудрость? Не знаю. Может быть.

Хотя, с другой стороны, вы возьмите, к примеру, землю. Идет, представьте себе, дождь на нее, а она его впитывает, впитывает, и уже она влажная, и все равно — земля. Но вот потоп начался, и ей впитывать воду некуда уже, и становится она уже не земля, а, скажем, болото или даже океан.

Вот и герой наш. Тут есть чему дивиться. Как это он за каких-то два дня умудрился такое перенести, получить, вобрать, и уж тут не то что полна — переполнена чаша, расплескивается, дальше некуда, а он все не отставит ее, не догадается, даже больше того — будто он нарочно всякие превратности выискивает, назло кому-то, будто не может без них.

Вы посмотрите только, как он все это несет на себе, как только спина его не переломится под грузом разных событий, приключений, мук и неожиданностей, сомнений и тоски! И кто знает, уж если судьбой его так определено, то не в назидание ли нам? Не для острастки ли?

Вполне возможно и такое объяснение, потому что как еще объяснишь? Разве мы с вами умеем с чужой колокольни-то смотреть? Так что давайте уж со своей.

И в ту минуту, когда, обуреваемый бедой, беспомощностью, наш герой вывалился на улицу, в ночь, он тотчас заметил возле подъезда экипаж, и незнакомый офицер, путаясь в замерзших ногах, кинулся к нему.

— Их сиятельство велели вам быть у них незамедлительно! Пожалуйте в сани...

— Да зачем же ночью-то ехать? — попробовал сопротивляться Авросимов, но офицер втолкнул его в экипаж.

— Мы вас по всему Петербургу обыскались,— сообщил он, когда кони понесли.— Там нет, тут нет...— и добавил как бы про себя: — Граф не в расположении.

Еще вечером наш герой от этих слов мог прийти в ужас, но тут, то ли усталость его сломила, то ли что-то в нем надорвалось, но он махнул рукой и подумал: «Да теперь мне хоть как».

И он спокойно совсем вошел в графский дом и, сопровождаемый суетливым офицером, прошел по веренице комнат, коридоров и очутился в небольшой зале, в полумраке, и увидел сразу же перед собой в глубоком кресле графа, закутавшегося в шубу. Граф сидел перед камином, в котором пылали дрова. Лицо его было красным и лоснилось от пота, но он продолжал зябко кутаться. На маленьком столике перед ним возвышался графин с водкой. В нем было уже меньше половины.

— Ну что? — спросил военный министр, глядя мимо Авросимова.

— Ничего,— ответил наш герой вполне нагло.— Явился, как вы велели.

— Жив-здоров? — спросил граф, видимо, не узнавая Авросимова.— Ну, ступай с богом...— и опрокинул рюмку.

Как Авросимов добрался до дома, невозможно было понять. Но у парадной двери навстречу ему кинулся уже новый офицер.

— Их сиятельство велели вам незамедлительно к ним явиться...— выдавил он замерзшими губами.— Я уже четыре часа вас здесь ожидаю. Извольте.

И тут Авросимов увидел во мраке карету, его дожидавшуюся.

— Извольте, сударь,— сказал офицер.

— Да я же только что от их сиятельства! — взбунтовался наш герой.

— Ничего не знаю,— сказал офицер.— Велено доставить,— и открыл дверцу.

— Мы вас совсем обыскались,— проговорил он, отогревая руки дыханием.— Там нет, тут нет...

В доме военного министра стояла тишина. Их сиятельство, как оказалось, крепко спали. Недоразуме-

ние быстро выяснилось, и Авросимову позволили удалиться. Но лошадей ему не дали: не хотели или забыли.

— Матушка,— проговорил он горячо и вполголоса, добравшись наконец до дому,— зачем мне все это?.. Господи, снизойди ко мне, не достойному твоих милостей...

Но сон оборвал его молитву.

5

Утро вечера мудреней. Даже отчаявшемуся приносит оно некоторое успокоение и проблеск надежды.

Вот и в это утро по январскому морозцу в мутноватой дымке спешили люди, отбросив вечерние страхи и сомнения; и другие, покачиваясь в санях, настраивали себя на новый утренний лад; и третьи, находясь в заточении, утренним взором заново оглядывали стены своих темниц и убеждались со вздохом облегчения, что это все же — просто стены, а не что-то мистическое, роковое и даже одушевленное, как казалось вечером при свече.

Утром все вставало на свои места, успокаивалось. И наш герой, приподняв над подушкой голову, почувствовал облегчение и, наскоро собравшись, заторопился нанести визит дядюшке своему и благодетелю Артамону Михайловичу, отставному штабс-капитану.

Так благотворно разливало свой свет утро. И только Амалия Петровна, жена Владимира Ивановича Пестеля, после ночного визита Авросимова так и не смогла заснуть, и утро застало ее стоя-

щей у окна, и прекрасное лицо ее выглядело изможденным.

Должен вам заметить, милостивый государь, что судьба Владимира Ивановича была абсолютно вне опасности, ибо решительные его действия во время мятежа на стороне государевой были соответственно отмечены и поощрены, а брат за брата, как говорится, не ответчик, хотя брат все-таки есть брат, и тут в силу вступают некоторые иные законы — законы нравственные, законы крови, если вам угодно. И хотя сам Владимир Иванович, преуспевая на кавалергардском поприще и целиком отдавая себя исправной службе, этих законов не ощущал, зато Амалия Петровна вся как бы горела, будучи и проницательней и чувствительней супруга.

Однако оставим ее пока наедине со своими муками, у окна, а сами устремимся за нашим героем, который в этот момент как раз и появился в прихожей у Артамона Михайловича.

Бравый старик, словно помолодевший после событий на Сенатской площади, встретил племянника с распростертыми объятиями и тотчас повлек его в гостиную, успев шепнуть:

— А у меня герой в гостях. Чудо, как хорош!

Когда они вошли, навстречу им поднялся армейский капитан, молодой, подтянутый, смуглолицый, с черными, на запорожский лад свисающими усами и с цыганским блеском в больших слегка раскосых глазах.

— А вот, Аркадий Иванович-батюшка, племянник мой Ваня,— сказал старик, подталкивая нашего героя.— Ваня, это Аркадий Иванович.

Тут Артамон Михайлович захлопал в ладоши, закричал распоряжения. И тотчас забегали, засуетились мальчики, и не успели наш герой и Аркадий

Иванович, усевшись, обменяться несколькими фразами, как уже на столе поблескивал графин с рюмочками и пестрела различная снедь.

— Чудо, как хороша! — воскликнул Артамон Михайлович, отхлебнув из рюмочки и похрустев капустой.

Авросимов чокнулся с Аркадием Ивановичем и уловил на себе его быстрый и открытый взгляд.

— Это смородинная? — сказал капитан.— А у нас все больше пьют чистую, житную.

Он говорил в едва заметной малороссийской манере, что придавало его речи мягкость и даже вкрадчивость. Это понравилось нашему герою, да и весь облик Аркадия Ивановича вызывал симпатию, а чем — сразу и не скажешь: то ли цыганскими глазами, то ли улыбкой, внезапной, ослепительной, но какой-то несколько детской, то ли еще чем-то.

Пилось легко, радостно. Закусывалось и того приятнее: капустой, гусиным паштетом, аккуратными пирожками, теплыми и мягкими, совсем живыми.

За окном показалось зимнее солнце. Снег заискрился, засверкал. Чудилось: вот-вот грянет музыка.

— Чудо, как хорошо! — сказал Артамон Михайлович.— Это, Аркадий Иванович, в вашу честь красота.

— А в чем же героизм ваш? — почтительно спросил Авросимов.— Вот дядюшка говорит, а я и не знаю.

Аркадий Иванович стрельнул взглядом, улыбнулся, но промолчал.

Зато Артамон Михайлович не удержался.

— Видишь ли, Ваня,— сказал он, обнимая капитана за плечи,— Аркадий Иванович пережил большие бури житейские. Много перемучился, перестра-

дал. Однако, Ваня, как мы служим долгу, так и он нам платит...

Авросимов слушал с любопытством, а Аркадий Иванович улыбался мягко и смущенно, и на смуглых щеках его проступал едва заметный румянец.

— ...Были в древние времена полководцы,— продолжал Артамон Михайлович,— имена которых мы чтим за их подвиги. Вот и Аркадий Иваныч будет за свой подвиг потомками почитаться. И давайте за ваше здоровье... Спаси вас Христос, Аркадий Иваныч.

Капитан опрокинул рюмку и зажмурился, и долго не раскрывал глаз, словно наслаждался, смакуя настойку, однако Авросимов заметил, как в позе капитана проглянуло что-то расслабленное.

— В чем же подвиг? — спросил Авросимов, все более и более разогреваемый любопытством.

— А вот в том,— сказал Артамон Михайлович.— Верно ведь, Аркадий Иваныч?

— А отчего ж нет? — ответил капитан, заглядывая в окно.— Уж вы бы, Артамон Михайлыч, не возносили мою персону.

— Вот, Ваня, как оно,— сказал дядюшка.— Мне Аркадий Иваныч кое-чего порассказал.— И вдруг засуетился: — Ай не по нраву вам, капитан, российская снедь? Вот пирожки, вот грибки-рыжики... А скоро и уху подавать велю...

После третьей рюмки в душе нашего героя случилось замешательство. С одной стороны, упрямое любопытство разбирало и мучало его: какая тайна кроется в словах капитана? С другой стороны, нежная шейка Амалии Петровны закачалась перед ним, и почти юное ее лицо померещилось, на котором горели вовсе и не юные глаза, полные отчаяния и тревоги...

 И тут, казалось бы, вовсе и ни к чему он подумал о

Милодоре и стал даже жалеть, что выпроводил ее так бессовестно: Ерофеича постеснялся.

— Вижу, приятные мысли у вас,— вдруг сказал Аркадий Иванович.

Наш герой смутился несколько и, видно, по этой причине подмигнул капитану.

— Чудо, как хороши! — воскликнул Артамон Михайлович, отправляя в рот последний рыжик...

— А что может быть приятного в наших мыслях? — сказал капитан, подмигнув в ответ.— Воспоминания о предмете нежном, да?

Авросимов покраснел.

— Аркадий Иваныч всегда мой гость,— сказал Артамон Михайлович.— Как приезжает в Петербург — так мой гость... В начале осени приезжал. Помните, как вы, Аркадий Иваныч, в это вот кресло упали? И представляешь, Ваня, я его тормошу, а он молчит. Помните? То-то... Кто же вас от тоски да от страха спас тогда? А? Кто вам руку протянул? Кто в душу вам заглянул?..

И тут наш герой заметил, что капитан зажмурился.

— Ну не буду, не буду,— засмеялся дядюшка и хлопнул в ладоши.

Испуганные мальчики в засаленных ярких поддевках подали уху.

— А ведь наш Ваня тоже не лыком шит,— сказал дядюшка капитану, поглядывая на нашего героя с любовью.— Он ведь теперь знаете где?

— Знаю, знаю,— со свойственной ему мягкостью проговорил капитан.— Знаю.

— Он теперь наше дело продолжает,— сказал Артамон Михайлович, разливая по рюмкам.— Мы начали, Аркадий Иваныч, а он продолжает... Все мы одно дело делаем ради нашего государя.

— Вот и чудесно,— улыбнулся капитан.

И тут Авросимов не выдержал и снова спросил:

— А в чем же все-таки ваш героизм, господин капитан?

Но капитан сидел зажмурившись, откинув голову.

— Да в чем же? — чуть было не вскричал Авросимов.

— Дядюшка ваш слишком добр ко мне,— улыбнулся капитан, не поднимая от смущения своих цыганских глаз.— Какие там действия, помилуйте? Я это себе все иначе мыслю... Хотя понимаю, какую историю они в виду имеют. Да я ее и объяснить-то не умею, ей-богу. Это, видите ли, господин Ваня, такая история, что даже и невозможно знать, откуда ее начало, если и решиться рассказывать... Тут, видите ли, все очень запутано... А как вам, господин Ваня, кажется мой бывший полковой командир?

— Я его не знаю,— сказал наш герой.

— Вот как? — не поверил капитан.

— Да откуда же я его знать могу?

Теперь капитан сидел в кресле прямо, и его благородное лицо было обращено к нашему герою, и все оно, такое открытое, ждало ответа. Симпатия к этому человеку росла в Авросимове, и чем больше было недосказанного, тем она становилась глубже, серьезнее. Вот он — истинный человек, появившийся в этом гранитном мире, приехавший откуда-то издалека, из степи, со своей детской улыбкой, простодушной и мужественной. Как нам иногда нужно время, чтобы загореться к человеку симпатией, а при отсутствии времени мы, бывает, и мимо проскакиваем, а зря. Ведь это же богатство души, когда возгорается новая симпатия. Конечно, очень может быть, что и ошибается человеческий глаз, сердце... Но давайте же рисковать в наших с вами поисках и открытиях.

— Господин Ваня,— сказал капитан мягко и с некоторым даже укором,— не трэба так торопиться с выводами. Это вы в Петербурге пожили, а Петербург суетлив...— он опять улыбнулся с полной откровенностью и расположением к Авросимову, так что нашему герою даже неловко стало, но как он ни напрягался, не мог все-таки понять, о ком идет речь.

Артамон Михайлович глубоко вздохнул, похоже даже всхлипнул и выпил одну за другой пару рюмочек, отчего нос его сразу налился, стал сизым и потным, а в глазах загулял сквознячок.

— И что же вы такого совершили? — спросил Авросимов, желая получше открыть для себя капитана.

— Да что ж вам сказать,— ответил Аркадий Иванович,— ежели вы моего бывшего полковника не вспомните. Уж коли вы его не знаете, так чего мне огород-то городить, а коли знаете, да не вспомните, то уж тем паче — незачем, а может быть, вы нарочно это?.. Ну чтобы, скажем, подразнить меня?.. Да я в это не верю,— и он засмеялся ласково.— Всю жизнь мечтал быть широкоплечим, как вы вот, да не дал господь.

В комнате было тихо. Добрый старик спал, откинувшись в своем кресле. Аркадий Иванович поднялся и поманил за собой Авросимова. Он шел легко, прямо, лишь слегка взмахивал рукой, словно поддерживал равновесие.

Они прошли в комнату, предназначенную, очевидно, капитану, потому что на красной тахте валялась шинель, а на полу — сабля, и небольшой сундук стоял прямо посередине, и из него, словно разварившаяся каша из котла, лезла военная амуниция. В углу, в небольшом ящике, повизгивали и суетились борзые сосунки, и Аркадий Иванович, указав на них, произнес с видимым удовольствием:

— Мои. Еле довез... А вот этого лохмача я Артамону Михалычу в презент... Какой псина будет — цены нет! Сука. Можно даже Дианой назвать... Не опозорит. Хорош?

— Хорош,— подтвердил наш герой, испытывая теплое чувство к капитану.

— Хотите, и вам подарю?

— Да мне не за что,— смутился наш герой.— Я в этом не понимаю ничего.

Капитан позвал тихо, и в комнате появился молодой солдат и, произведя руками немыслимый кульбит (словно одновременно и честь отдавал, и по шерсти гладил, и на скрипке играл), застыл, уставившись на капитана.

Аркадий Иванович рассмеялся по-своему.

— Боишься меня, Павлычко?

— А то як же,— сказал Павлычко.

— А не выдашь? — спросил капитан.

— Ни,— хрипло выдавил солдат.

— Не выдаст он меня,— удовлетворенно сказал капитан.— Ну, Павлычко, що мы господину Ване презентуем?

Павлычко задумался на минуту, кинулся к сундучку, вытащил длинный кривой нож в чехле из козьей шкуры.

Аркадий Иванович взмахнул рукой, лезвие сверкнуло, бледный зайчик метнулся по вишневым обоям.

— Да что вы,— сказал Авросимов, млея перед такой красотой,— зачем он мне? Мне и девать его некуда.

— Возьмите, возьмите,— потребовал капитан.— В жизни всякое бывает. Пригодится.

— Нет, нет,— сказал наш герой.— Покорно благодарю.

 — Павлычко,— тихо приказал капитан.

Солдат тотчас нырнул в сундучок, извлек старинную курительную трубку, почерневшую от табака, жара и времени.

— Да я не курю,— сказал наш герой решительно, и в сознании его возникла вдруг большая полутемная зала в том самом флигеле, и сизый табачный дым из множества трубок, и потухающий огонь в камине, и из полумрака — улыбка Милодоры, смех Мерсинды, задыхающийся шепот Дельфинии. «Ах, какая ночка была прелестная! — подумал он.— И зачем это я тогда Милодорочку так грубо выставил?»

— Возьмите,— сказал Аркадий Иванович.— Я с ума сойду, ежели угодить вам не смогу. Возьмите. Вы очень мне симпатичны,— глаза его были полны просьбой. В ящике повизгивали щенки.— Вы не можете покинуть меня, не взяв подарка. Так не бывает. Возьмите...

— Ну ладно,— сказал наш герой,— покорно благодарю,— и потянулся было к трубке, но Аркадий Иванович мягко отвел его руку.

— Нет,— сказал он, вглядываясь в глаза Авросимова,— вы без охоты берете, без сердца... Це не дило... Вам этот презент не по душе... Павлычко!

Солдат, молча наблюдавший всю эту сцену, стремительно кинулся к подоконнику и подал нашему герою небольшой пистолет.

— Покорно благодарю,— сказал Авросимов.

— Английский. Самая совершенная модель,— радостно сообщил капитан.

— Покорно благодарю.

— Заряжен.

— Покорно благодарю.

— Полсотни шагов для него — не расстояние,— сказал Аркадий Иванович.— Целиться умеете?.. Це гарно. Павлычко, горилки!

Солдат подал им по рюмке. Они стоя выпили.

— А он вас впрямь боится? — спросил Авросимов.

— А як же,— удивился капитан.— Зато, что́ я ни скажи... А ведь если он бояться не будет, господин Ваня, что же выйдет? Он так и дурному влиянию поддастся... Это уже не солдат будет, а злодей... Верно ведь? В каждом из нас сидит злодей, господин Ваня, но мы должны его изгонять, воли ему не давать,— и засмеялся.

Наш герой подумал, что это так и есть, хотя, может, сильно сказано, но есть, и у солдата — не боязнь, не страх какой-нибудь, а почитание, тем более если слышать, как капитан смеется, играя своими глазищами.

— А вы не хотите меня отблагодарить? — вдруг в упор спросил капитан так, что наш герой даже растерялся. А Аркадий Иванович продолжал глядеть на него неотрывно, с улыбкой.

— Нет ли у вас на примете нежного предмета? — спросил капитан.— И с ямочками на щеках? Ежели есть, то ведите меня. Или я не достоин, вы считаете?

— Отчего же,— сказал Авросимов, размышляя над внезапной просьбой.

— Так ведите меня, ведите, ну...— шутливо потребовал Аркадий Иванович.

Наш герой сунул пистолет за пазуху, накинул шубу. Павлычки уже не было. Дядюшка, верно, спал. Аркадий Иванович оделся тоже, и они вышли.

— Ну, куда же вы меня поведете? — спросил капитан.— Где ваш нежный предмет пребывать изволит?

6

Они медленно двигались по пустой мостовой, обходя синие сугробы, и наш герой мучительно раздумывал над сложившимися обстоятельствами.

Действительно, посудите сами, как было ему не мучиться, когда он и сам-то в Петербурге — без году неделя, да и не таков, чтобы сразу суметь угодить симпатичному, но настойчивому капитану в его щекотливом предприятии, да и, кроме того, само знакомство с Аркадием Ивановичем было несколько стремительно, и после всяких высокопарных и таинственных намеков на какие-то его заслуги, в чем Авросимов и разобраться-то толком не успел, вот вам, пожалуйста, подайте ему нежный предмет, то есть просто капитану желательно женское общество, а где оно?

Пистолет подрагивал на широкой груди Авросимова и холодил ее. День перевалил на вторую свою половину, и потянуло туманом и синевой. Красное зимнее солнышко потонуло в Неве, где-то за Адмиралтейством. Едва сумерки надвинутся, можно будет в знакомый флигель постучать...

Хмель постепенно проходил, и на душе у нашего героя снова становилось гадко. Казалось, что из-за поворота вот-вот вывернутся сани его сиятельства военного министра, и снова придется вести унылый разговор неизвестно о̀ чем.

— В Петербурге у меня есть знакомая,— сказал Аркадий Иванович,— Амалия Петровна Пестель. Дама молодая и прелестная. Как она супруга своего любит! Вы бы только поглядели, господин Ваня. Когда я смотрю на них, мне за себя больно становится. Почему я один на белом свете? Вот не дал

господь. А я вам должен признаться, что женщину считаю в нашей жизни главным, и это не в том смысле, в каком я вас только что попросил, а в самом высшем, в философском... Я и у нас в полку бывало рассказывал свои убеждения, но некоторые,— сказал он с грустью,— некоторые молодые офицеры, как это говорится, из хороших фамилий, меня на смех пытались поднимать...— он покрутил головой,— да разве можно на них за то серчать? Они по воспитанию такие, я ведь понимаю. Я для них — кто? Провинциал, скука...

— Да, да,— подтвердил Авросимов.

— Но они это не по злобе, не по природе, господин Ваня, а когда тебя узнают, так и вовсе проникаются симпатией... Верно, верно... Уж я знаю. Поэтому и серчать на них за то нельзя. Да, предмет нежный... Это, так сказать, в житейском смысле. Но поверите ли, я, господин Ваня, ради этого самого могу даже преступление совершить или, скажем,— подвиг. А вы куда же меня ведете?

— Есть один дом, сударь,— сказал Авросимов,— в котором тепло и приятно. Уж вы жалеть не будете.

— Дай-то бог,— засмеялся капитан.

Аркадий Иванович умолк, и наш герой, воспользовавшись паузой, погрузился в мечты о предполагаемом визите во флигель. Что мог встретить он там? Опять эти крики веселья и шепот любви, и полную непринужденность, когда тело, словно разделено на части, и каждая часть живет своей особой жизнью. Полное забвение, и никаких следственных и никаких военных министров, и только горячее дыхание Милодорочки или Дельфинии, и бесшумная челядь, которая все что-то несет, несет, уносит... и, наконец, добрый и прекрасный Бутурлин, который успокоить

может, который так легко тонкой рукой поведет, и тотчас все вокруг станет бренным, расплывчатым... О чем сожалеть?

— В жизни я всегда отличался большим любопытством,— вдруг сказал Аркадий Иванович.

— А что же вы все никак о своем геройстве мне не скажете? — напомнил ему Авросимов.

— А далеко ли нам идти, господин Ваня? — спросил в свою очередь капитан.— Я очень вам верю, что вы меня приведете к земле обетованной... Только вы меня в общество все же не ведите. А знаете, у меня в Линцах была одна Анюта, господин Ваня. Вдова исправника... Вот истинный ангел, господин Ваня. Да вы и сами понимать должны...

— Я в этом не очень,— признался наш герой.

Капитан нежно взял его за локоть.

— Что ж так?

— Я молод еще, сударь...

— С вашими-то плечищами,— сказал капитан с улыбкой,— можно любую даму с ума свесть... А к чему я вам про любопытство свое начал?.. Ага... Знаете, господин Ваня, мой полковник был человек незаурядный, вот я о чем...— и вздохнул.— Скажу вам, не хвастаясь, я в особенных людях толк знаю, я их тотчас же на глаз беру, хотя я ведь тоже по-своему хорош, как я умею с людьми быть утончен и покладист. Я, бывало, выйду в Линцах перед строем, и пока там унтера суетятся, эдак вот рукой только качну, и строй тотчас — ровная линия, а иначе я вас, сукины дети!.. Вы не подумайте, господин Ваня, что это от страха. Нет, нет, от глубокой симпатии... Так вот, но в полковнике моем эта тонкость все-таки меня поразила. Ну что там? Ну, я вам скажу, рост. Это главное. И не то, чтобы малый рост привлек внимание к нему, а знакомый облик... Эге, говорю я себе, где

это мы встречались? И вдруг я понимаю: это же Бонапарт стоит передо мною! Он самый, господин Ваня! Рост... Но кроме того — лицо, осанка, взгляд... Волосы! Все, все... Потом уж я понял, что и духа полное соответствие. А я, господин Ваня, сам — кремень. Кремень, значит, на кремень. Это вы поняли? Тут вы следите, как самая ниточка завязывается, как она начало берет, следите, это очень занятно. Так вот, он указывает мне на марширующую роту и говорит:

— Как вам нравится, господин капитан, эта толпа лентяев и оборванцев?

Я, признаться, господин Ваня, оторопел.

— Чем же они лентяи, господин полковник? Они строя не знают, но на то мы и призваны их учить, господин полковник. Авось выучим, лицом в грязь не ударим... Постараемся...

Он искривился весь, словно от смеха, но смолчал. Однако голубые его глаза глядят зорко, с пристрелочкой, и весь вид его располагает. Я, признаться, у него — новый офицер, еще не знаю что да как.

— В других полках, господин полковник, и того хуже...

— Другие полки, господин капитан, не образец для нас,— сказал он холодно.— Я просил вашего назначения сюда, зная о вашем высоком мастерстве в строевой науке...

Ну, как он меня холодом облил! Как мне было поступить, господин Ваня? Однако я смотрю на него с любопытством. Ладно, сударь, извольте...

Так рассуждал Аркадий Иванович, словно бы и ни о чем, а между тем наш герой, преисполненный необъяснимой тревоги, вышагивал рядом, видя перед собой Павла Ивановича с завязанными глазами и не умея представить себе его же, стоящим на ветру перед марширующей ротой. Да как это он там стоял?

Видел ли он свое скорое будущее? И, замахиваясь на самого государя, предвидел ли молнии и гром?

— Э, кабы можно было предвидеть хоть сотую долю того, что потом стало,— вздохнул Аркадий Иванович.— А вот, господин Ваня, посудите сами, мое положение: он стоит передо мной, как Бонапарт, и я ничего сказать не смею. Каково? А ведь все мы — люди. Ну, скажем, водку он пьет? В карты... прекрасный пол... Ну как все... Но он меня подавляет своими глазами, господи ты боже мой! Это неспроста, думаю я, это личность... Это не просто аристократ, баловень, пренебрегатель... Ну хоть бы он меня понял, кивнул бы, пригласил бы к себе; мол, новый офицер, как дела и прочее... Нет, господин Ваня, одни лишь глаза в упор. Я терпелив. Я жду. Я в кампаниях против французского узурпатора не участвовал, а он — да. Преклоняюсь перед героями, даже завидую... А вам разве не хотелось бы ради отечества? Не хотелось бы? Ведь хочется, а? Ну знаю, это же не просто слово... А вы вникайте, вникайте, тут-то самое и начинается.

— Мне поторопились передать, господин капитан, всякие слухи относительно вашего прошлого.

— Позвольте, господин полковник, что вы имеете в виду? Я поклонник правил, но честь свою в обиду...

— Ну, например, история в Московском полку, когда вы...

— Виноват, господин полковник, но это навет...

— Нет, нет, я не придаю этому значения. Вы первоклассный строевик, а мне вот как нужны такие офицеры... Остальное — вздор.

— Это самая крайняя мера завистников, господин полковник...

— Пустое. Я не считаюсь. Для меня какой вы есть...

— Для меня отечество прежде всего. Его польза...

— Отечество? А что, господин капитан, известно вам об этом предмете?

— Я бы сказал, господин полковник, да мысль, что и до вас дошли грязные обо мне слухи, ужасна...

— Давайте договоримся, господин капитан, раз и навсегда. Я вас ценю за фрунт. Остальное — не мое дело.

Вы поняли, господин Ваня, какая тут тонкость?

Наш герой живо представил себе этот диалог, отчего волнение его даже усугубилось, ибо, зная уже отчетливо внешние черты злодея полковника, он ощутил его холодность и словно увидел пронзительные его глаза. Но чего-то все-таки Аркадий Иванович, видимо, не договаривал, и призрак висел в пустом воздухе, как карась на крючке, вне своей родной водной стихии.

Уж ежели рассуждать с пристрастием: и дался же ему этот Павел Иванович, возомнивший о себе, великий нравственный прелюбодей! Что в нем, казалось бы? Да, видно, такова природа молодости и неусталой, непотревоженной души, что все хочется знать наверняка, до конца, а иначе такие мучения подступают, такая тайна мерещится, что и не приведи господь.

Авросимов и переживал это все, шагая рядом с героем, да так переживал, что и Амалия Петровна выскочила из мыслей, и военный министр не представлялся, и прохожих, словно и не было вокруг, и позабылся флигель вожделенный...

Как вдруг Аркадий Иванович подступил с вопросом:

— А что, господин Ваня, близко ли нам идти? Не видать ли уж огонька обетованной земли?

— Я вас приведу, приведу,— сказал наш герой в нетерпении, ощущая, как шевелится на груди холодный пистолет.— Вы рассказывайте.

Аркадий Иванович на это вздохнул, засмеялся:

— Интересует вас это?.. А может, я вру вам все? Вот такой болтун несусветный вам попался, а вы и верите, а?

Тут наш герой заметил, что вечер опустился. Идти до флигеля было еще порядочно, и можно было послушать рассказчика вволю.

— И зачем я вам все это рассказываю? — проговорил Аркадий Иванович.— Теперь полковник мой схвачен, роковая опасность миновала. Другие, стало быть, спохватились... Государь — новый, молодой... Эх, господин Ваня, вздор это все.

— Нет, не вздор,— вдруг несколько даже наставительно сказал Авросимов.— Отчего же вздор, когда — истина? Зачем вам врать? Я же вижу, как вы с волнением рассказываете...

— Ну ладно,— сказал капитан миролюбиво,— только уж вы следите, не пропускайте ничего, хотя я не знаю, зачем я вам все это рассказываю... А может, так прогуляемся, помолчим? Не утомил ли я вас? — но так как Авросимов ничего на это не ответил, а лицо его выражало нетерпение со всей свойственной его возрасту непосредственностью и открытостью, Аркадий Иванович продолжил свой рассказ.— Представьте себе, господин Ваня, каково человеку, который цену себе знает, которому пальца в рот не клади, а тут холодные глаза, в голосе — железо, и противу вас — стена? Ну что вы будете делать? Решение мое смириться было горьким. Я человек гордый. И вот однажды летом, мы тогда всем полком лагерь держали, пошел я к моему полковнику поздним вечером, в неурочное время, дабы испро-

сить у него разрешения отправить в гошпиталь унтера моего, внезапно занемогшего. А надо вам знать, господин Ваня, хотя к полковнику была от полка симпатия, дистанция меж им и нами, офицерами, держалась непреложно. Куда там! И не вздумайте в неурочное время беспокоить. Беда. А я иду. В окне — свет. На шторках тени. Песен не поют, не слышно, но, думаю, веселье идет тихим чередом... В нашей жизни лагерной без этого разве можно? И не бражничанье меня насторожило впоследствии, нет... Впрочем, это вы сами поймете... И тут, господин Ваня, с темного крыльца скатывается прямо на меня белая фигура и словно привидение, как кикимора лесная, раскачивается передо мной и спрашивает:

— Как прикажете доложить?

А это, значит, лопоухий пес Савенко, денщик моего полковника, скотина, мордастый такой и наглый.

— Пошел вон!

Будто он меня не знает! И ведь если бы я, скажем, был князь или генерал, он бы в ногах моих валялся, а мне, значит, теперь надо и через это перешагнуть? И это проглотить? Я не намерен...

Речь Аркадия Ивановича постепенно приобретала плавность, словно он уже который раз повторяет свою историю, тем самым вырабатывая манеру повествования в духе известного господина Бестужева-Марлинского, тоже, кстати, замешанного в бунте, но пока не успевшего потерять для читающей публики своего обаяния.

— Но не успел я всего этого для себя осознать,— продолжал капитан,— как сам полковник появился на крыльце. Белая рубаха его с широким воротником была видна хорошо. За шторкой чья-то кучерявая голова застыла неподвижно. Что-то здесь неладное

происходит, подумал я, какая-то во всем этом тайна... Тут я шагнул ему навстречу.

— А, это вы,— сказал полковник, но с крыльца не сошел.

— Господин полковник, дело чрезвычайной важности побудило меня беспокоить вас в неурочное время...

— Господин капитан,— сказал он сухо,— я уже имел честь предупреждать, что по вечерам...

— Господин полковник, унтер Дергач тяжело занемог и криком своим переполошил лагерь...

— Я не люблю дважды говорить об одном и том же, господин капитан.

— Если он к утру кончится...

— Господин капитан, не принуждайте меня к крайним мерам.

И тут его белая рубаха качнулась и растаяла в дверях. Кучерявая голова на шторках зашевелилась снова, а из хаты появился лопоухий Савенко и сел на ступеньку.

Что было делать? Я повернулся и, подавляя в себе гнев, отправился восвояси, но стоило мне сделать несколько шагов, как я услыхал за спиною скрип и, оглянувшись, увидал, что Савенко, крадучись, сошел со ступенек.

Была ночь, господин Ваня. Луна стояла неполная. Кузнечики кричали. И я шагал мрачно по сырой траве, мимо спящих хат. И в душе моей творилось черт знает что... Вы следите, следите за каждой мелочью, не упускайте... «Что же это происходит? —думал я.— За что же это я так наказан в то время, как кто-то с полковником моим бражничает!»... Вы понимаете, какое дело? А унтер — бедняга, на которого махнули рукой? Оскорбление, мне нанесенное? И ведь все это от человека не простого, не подлого,

насколько я успел разузнать... Бражничают... И тут страшная догадка посетила меня. А если они не бражничают?! А если я столкнулся лицом к лицу с искрой дьявольского предприятия, слухи о котором носились в армейском воздухе уже давно?.. Бражничают? А с чего же этот пес лопоухий караулит у крыльца? Любопытство мое, подогретое оскорблением, разгорелось пуще. Я проделал уже полпути к лагерю, как вдруг вспомнил о денщике, ринувшемся за мной, и оглянулся стремительно. Серая фигура Савенки кинулась в тень забора. Я не из робкого десятка, господин Ваня, но сердце мое дрогнуло. Однако я справился с первым смущением и продолжал свой путь, положив про себя проучить дерзкого холопа. Пройдя еще порядочное расстояние и, чувствуя, что лопоухий продолжает следовать за мной, я воспользовался резким поворотом тропы, обнаружил пролом в заборе и, юркнув туда, затаился в густой листве. Я был совершенно скрыт от проходящих, но сам видел дорогу отлично. И вот, господин Ваня, едва отдрожали последние листочки на кустах, потревоженных мною, как долговязая фигура проклятого пса вынырнула из-за поворота и остановилась в недоумении. Он меня потерял!.. «Ищи! Ищи!» — хотелось крикнуть мне, но я молчал и с жаром ждал продолжения истории, надеясь, что пес кинется за мной в кусты, и уж тут я смогу наконец заплатить ему сполна за унижение... Савенко нелепо топтался на месте, пробегал вперед по тропе, возвращался, и мне даже почудилось, что он принюхивается. Истинный пес, прости господи! Так минут пять, а может, и более того топтался он в близости от меня, пока наконец не понял бесплодности своего предприятия и не отправился обратно, чему я даже обра-

довался, так как ноги мои затекли, а в нос набилась пыльца от цветов и душила меня.

Прошло время, господин Ваня. Дальше — больше. Каково мне было все это понимать?

— Да, да,— пробормотал наш герой, позабыв совершенно о цели своего путешествия, чувствуя, как дух у него захватывает, словно провалился в глубокую и густую тайну.

— В последующие дни,— сказал Аркадий Иванович,— Савенко, встречаясь со мной, делал вид, что ничего не произошло, да и я не поминал ему ни о чем, чувствуя душой какую-то тайну, которую от меня скрывали. И тут, господин Ваня, то ли душа моя такова, то ли это была воля самого господа нашего, но я уже не мог вести прежний образ жизни, а что-то во мне клокотало и понуждало действовать. Скажу вам, не хвастаясь, что природная сметливость помогла мне в этом. Я решил скрывать свои истинные чувства до поры до времени, справедливо считая, что это поможет мне раскрыть тайну, ежели она есть. И я не ошибся... Спустя неделю счастливый случай свел нас с полковником снова. На сей раз он был в расположении и даже несколько раз его жесткое лицо украсила мимолетная улыбка... Я не напоминал о недавнем происшествии, он словно и не помнил. Шел обычный деловой разговор о полковых заботах. Вдруг он спросил:

— Как думаете, господин капитан, любят ли вас в роте?

Я задумался и не знал сразу, что ответить. Это ему, видимо, пришлось по душе.

— Природная скромность не всегда у офицеров в чести, но вы ею не пренебрегайте,— сказал он, незло усмехаясь.— Кстати об офицерах. Успели ли вы приобресть себе друзей по симпатии?

— Я, господин полковник, так много занят строем, что и не думал об этом, ибо стараюсь о блеске вверенной мне роты...

Разговор как разговор, и все-таки что-то меня насторожило, ведь та полночь и лопоухий Савенко, крадущийся за мной, не выходили из моей головы. Господи, подумал я, помоги мне!

— Стараетесь о блеске? — задумчиво переспросил он.— А ведь от воли государя зависят счастье и блеск всей армии,— и добавил тихо,— хотя эта воля в последние годы проявляет себя противоборствующей здравому смыслу...

Я вздрогнул. Сердце мое затрепетало. Он глядел в меня пристально, насквозь. Я кивнул ему согласно. Эти преступные мысли не были для меня новостью, мне многое подобное приходилось слышать из разных уст за последнее время. Спокойно, сказал я самому себе, не спугни глухаря, дай ему потоковать...

— Как же он вам вдруг доверился?! — прохрипел наш герой с отчаянием и тоской.— А вы-то что?..

— Я испугался, господин Ваня,— сказал капитан шепотом.— А вы бы разве не испугались? Я понял, что это все неспроста, его слова, что мне дóлжно их слушать и соглашаться, чтобы он легко говорил, не стесняясь. Я вообще, господин Ваня, манеру взял с людьми не спорить. Зачем? У каждого своя голова, свои привязанности. Но, заметьте, стоит человеку поддакнуть, представиться ему единомышленником, как он тотчас словно освобождается весь, и легко ему с вами и просто... И вот тогда вы будто окунулись в его образ мыслей... А эти спорщики всякие, петушки эти, они не по мне, господин Ваня. Так вот, значит, он произнес свою ужасную фразу, от которой сердце у меня похолодело...

— Это справедливо,— сказал я в ответ.— Я сам думал об этом. Но наша власть мала, и нам остается надеяться на божье провиденье.

— Да,— сказал он,— вы правы. Все оно так и было бы, когда б не особый случай.

— Какой же, господин полковник?

Он долго молчал, внимательно разглядывая меня, словно я не человек, не офицер, а так — предмет неодушевленный, и это мне было, поверьте, крайне оскорбительно, и рука, как говорится, искала рукояти, но я крепился, ибо разворачивалось внезапно такое, во имя чего стоило гордыней пренебречь. Моя счастливая звезда сияла мне ослепительно.

— Я совершаю преступление перед совестью и кругом своих друзей, исповедуясь перед вами откровенно,— сказал он, окончательно прожигая меня взглядом,— но что-то подсказывает мне, что на вас можно положиться.

— Господин полковник! — воскликнул я, стараясь окончательно расположить его.— Нет, нет, вы не ошиблись. Слово дворянина!

Глаза его вдруг сверкнули.

— Я верю вам,— сказал он шепотом.— Здесь не место для откровенности... Вечером у меня, если вам будет угодно...

И он пошел, невысокий и коренастый.

Волнению моему не было предела, и хотя тайна оставалась по-прежнему за завесой, но я верил, что край этой завесы я приподыму, и очень скоро.

Человек не бедный и знатный, мой полковник жил скромно, по-походному. Я очень удивился, господин Ваня, когда, оказавшись в его комнатке, увидел деревянный топчан, покрытый серым солдатским одеялом. Правда, множество книг да исписанных листов бумаги покрывали единственный в комнате стол.

Разговор сначала не завязывался, потому что он ко мне присматривался, а я был в волнении, предвкушая раскрытие тайны. Но постепенно тема нашлась, а именно — минувшая война. Нет, вы не думайте, господин Ваня, что так вот сразу он весь и раскрылся, все свои чудовищные планы и прочее... Разговор у нас был обычный, и я бы так и остался в недоумении, как вдруг он сказал, не помню уже продолжая какую мысль:

— Всякое единоличное правление приводит к деспотии, а это значит, что в собственных глазах деспот всегда прав и непогрешим, а так как даже деспот смертен, а смертные не могут быть абсолютно непогрешимы, следовательно, за некоторые грехи его расплачивается народ, государство, мы...

— Надо ему подсказать об этом,— сказал я с робостью.

Он засмеялся.

— Такое в истории бывало, но заканчивалось плачевно...

— Теперь, слава богу, пора деспотов миновала,— сказал я со страхом, понимая, куда он гнет,— государи и правители теперь просвещенные...

Он засмеялся снова.

— Знаете ли вы математику, господин капитан?

— Нет,— сказал я.

— Если бы вы знали ее,— продолжал он,— я бы доказал вам все мгновенно.

— Я молчал, не в силах побороть волнение, а он продолжал: — Возьмите Древний Рим. Покуда там было республиканское правление — он процветал, стоило утвердиться монархии — возникла деспотия, и процветание страны и народа кончилось... Это математически непреложно...

 О чем мы говорили далее, я уже плохо помню, но

и этих двух фраз было предостаточно, господин Ваня, чтобы понять, как это все неспроста... Скажу вам не хвастаясь, я с детства был воспитан в правилах чести и любви к государю. И вдруг услыхать такое! Каково же было мне по веревочке ходить и не упасть? Да видите ли в чем суть: все друзья у полковника по другим частям находились, а в своем полку был он одинок. Я так это понимаю. Впрочем, может, что и другое...

Между тем встречи наши учащались. Беседы становились откровеннее раз от разу. Я был настороже и в то же время продолжал любоваться моим полковником! Вот ведь как бывает... Все в нем мне нравилось: и походка его, как он ходил уверенно и твердо, и вместе с тем легко, даже с грацией какой-то; и твердость духа, и выдержка, и в то же время — что-то мягкое и обаятельное в лице, несмотря на внешнюю суровость; и даже запах ароматного мыла, исходивший от него постоянно, странного мыла, пахнущего больше свежей весной, нежели всяким искусственным снадобьем, доставлял мне истинное наслаждение. Однако, думал я, не следует обольщаться, надо быть готовым ко всему, ибо первые шаги уже доказали мне близость страшной пучины, таящейся где-то неподалеку. Что же делать? Как предотвратить несчастье, которое грозит нам всем и нашему отечеству?..

Еще в детстве положил я себе за правило не опережать событий, чтобы не допустить ненароком ошибки. Главное, думал я, сохранять свою верность государю и быть чистым в душе, а уж все это и время помогут мне вскрыть нарыв и избавить невинных людей от заблуждений.

Однажды, господин Ваня, мой полковник призвал меня к себе. Сам он сидел за столом, а мне указал на

табурет. В доме было тихо. Савенко за занавеской не шевелился — то ли спал, то ли подслушивал.

Вдруг полковник сказал:

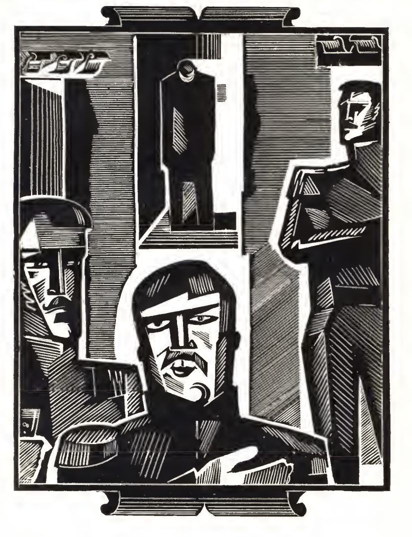
— А вы очень хороши в роте, вы мне нравитесь... Думается, что на смотре солдаты ваши проявят себя отменно.

Мне было приятно слышать похвалу из уст этого сурового человека и, ах, кабы не смятение в моей душе, посеянное им! Я даже растерялся и не знал, что отвечать, как услышал его тихий смех.

— Я смеюсь оттого,— сказал он, видя мое недоумение,— что очень отчетливо представляю себе эту будущую радужную картину: вы вышагиваете с вашей ротой и удостаиваетесь высшей похвалы (да, с той самой ротой, которой предстоит в недалеком будущем участвовать в предприятии...) — он заметил мое смятение, которое я безуспешно пытался скрыть.— Ничего, ничего,— продолжал он,— мне ведь тоже когда-то казалось это сверхъестественным, однако трезвые наблюдения позволили мне убедиться в крайней пользе этого акта, даже в необходимости его, даже в неизбежности... В общем, мы с вами — пылинки в игре природы... Представьте себе, когда мы устраним монархию и все связанные с нею учреждения,— сказал он так просто, словно приглашал меня на прогулку,— когда освободим народ, тогда это предприятие с высоты уже достигнутого не будет казаться нам противоестественным... Надо только отрешиться от мысли, что самодержавие — единственная форма правления...

— Позвольте,— сказал я,— как мыслите вы устранить монархию? Значит ли это, что вы собираетесь лишить царя престола, вынудить его отречься?

 — Нет, мы убьем его,— сказал он просто.— Это



вызвано необходимостью... Мы убьем его. Вся царская фамилия должна быть устранена...

Верите ли, я чуть было не упал при этих словах, но опять сдержался. Нельзя было вызвать ни малейшего подозрения с его стороны. Мой полковник меж тем продолжал:

— Мы предадим суду сенаторов...

— Вы очень откровенны,— сказал я, едва скрывая ужас.— А не может ли кто-нибудь... Не боитесь ли вы, что кто-нибудь... Вдруг какой-нибудь мнимый ваш единомышленник...

Он долго и внимательно меня разглядывал. Я выдержал его взгляд. Он сказал тихо:

— Теперь уже поздно. Теперь это вряд ли может иметь значение. Наши идеи охватили почти всю армию. Она сработает быстрее, чем канцелярская машина...

— Да,— сказал я на это,— вы хорошо все продумали...— а тем временем ужас мой все усиливался и усиливался и достиг предела; я вдруг понял, что мой полковник слеп, что он движется на ощупь.— Господин полковник,— сказал я,— а ну как просчет в ваших планах?

— Вы боитесь? — усмехнулся он, но лицо его было бледно.

— Я не боюсь,— сказал я,— но поспешность никогда не была людям добрым помощником.

Он поднялся из-за стола:

— Соберите между прочим своих унтеров, главных целей раскрывать не нужно, но приуготовляйте их постепенно к мысли о необходимости перемен. Вас что-нибудь останавливает?..

— Никак нет,— ответил я,— постараемся,— и направился к дверям, едва переставляя деревянные ноги.

— Нет, я не дам тебе погибнуть! — восклицал я, направляясь к своему дому.

Целую неделю, или больше, меня, господин Ваня, лихорадило. Я метался, словно загнанный зверь, и не находил выхода. Обстановка тем временем накалялась. Верите ли, уже я знал, что многие полки, в большом числе раскиданные по Малороссии, заражены той же страшной болезнью. Не буду перечислять всех офицеров, причастных к сему, ибо вам это все равно что пустой звук, но они приезжали, господин Ваня, все такие богатые, умные, надменные аристократы, прости их господи, вы, наверное, и не видали таких-то в вашей глуши... Как быть? Как быть, я вас спрашиваю? На меня обрушилось несчастье! Они все, обезумевшие от своих замыслов, подогреваемые друг другом, уже не могли опомниться, остановиться... «Нет, я не дам вам погибнуть,— твердил я непрестанно.— Не дам вам в ослеплении вашем погубить отечество!» Тем не менее я решил не действовать, прежде чем не выясню всех обстоятельств, прежде чем не распутаю этого страшного клубка. Рука моя, верите ли, беспрестанно тянулась к бумаге, а разум противился. Она тянулась, а он противился...

В этот момент Авросимов явственно увидел перед собою Павла Ивановича. Полковник держал перед глазами лист, и руки его вздрагивали.

— А кто знает, чья вина, а чья правда? — вымолвил Авросимов слабым шепотом.

Но Аркадий Иванович услыхал даже этот шепот.

— А бог-то на что? — сказал он и засмеялся.— Да вы-то уж будьте покойны. Вы уж лучше слушайте, слушайте... А вот когда все услышите, тогда вы и сами все решите. Розумиете? Так вот, а тут случай вышел, маленькое происшествие, ну пустяк один.

Пребывал я как-то поздним вечером в доме своем. Денщик мой, вы его уже видели, спал в сенях. Свеча моя подходила к концу, но у меня не было сил крикнуть, велеть заменить. Ах, подумал я, пусть она сгорит. А было мне, господин Ваня, худо непонятно от чего. Руки мои, словно плети, лежали на коленях... Наверно, страдания мои тому виною, думал я. Вы только представьте себе, что я должен был выносить все эти дни, месяцы, сознавая, что в моих руках — судьба государства и государя, вот в этих самых руках, что беспомощно лежат на моих коленях. Под влиянием всего пережитого охватила меня неясная тоска, и легкий летний ветерок, влетавший в распахнутое окно, не успокаивал, а, напротив, усиливал тревогу, доносил какие-то смутные звуки, то вдруг видел я явственно большого петуха, как он поводит своей головкой, уставя в меня маленькие красные глазки с вопросом, то рог коровий покачнется и исчезнет, то звезды вдруг все враз погаснут... В общем, господин Ваня, да что вам об том рассказывать? И тут я почувствовал, как бы вам это получше объяснить, томление какое-то. И я поднял голову. В дверях, на самом пороге, стоял проклятый пес Савенко!

С минуту мы молча глядели друг на друга. Озноб сотрясал меня.

— Тебе чего? — спросил я, и голос мой, словно в бочке пустой прогудел.

— Окно у вас раскрыто,— усмехнулся он,— со двора видать все...

— Уноси ноги! — приказал я и попытался подняться, чтобы вздуть его.

— Так точно,— сказал он, не двигаясь с места, а голова его, как петушиная, вертелась на шее, а глаза зыркали по сторонам, верите ли?

— Сгинь! — крикнул я, но вместо крика шипение

какое-то, прости господи, вырвалось из души моей, да и тело словно приросло к стулу. Но стоило мне снова поднять глаза, как я не увидел в комнате никого. Бред, подумалось мне, но под окном зашуршала трава. Из последних сил рванулся я со стула и грудью рухнул на подоконник. Круглая морда Савенки, словно блин отлетела прочь.

— Ваше благородие,— сказал он из кустов,— господин полковник за вами прислали. К себе кличут.

Трава зашуршала, и все стихло. Я захлопнул окно. Руки мои тряслись. Накинул мундир и вышел. Ночная прохлада несколько меня поуспокоила. Стояла полночная девственная тишина. Вдруг я услышал за собою шаги. Я резко обернулся: белый расплывчатый силуэт Савенки покачивался на тропе. Неужели полковник велел ему следить за мной?!

— Савенко,— сказал я,— берегись, Савенко, я шуток не люблю.

Но он не отозвался, и силуэт его растворился во тьме.

Полковник встретил меня на пороге и провел в дом. В комнате сидели офицеры. Каждый из них был мне уже знаком, хотя и отдаленно. Это был, судя по всему, самый кулак ужасного заговора. Все молча глядели на меня. Я поклонился.

Надо было вам видеть, господин Ваня, их лица, как они на меня глядели. Чужой я им был, господин Ваня, черная косточка. Но тогда уже стал я все понимать отлично: затянуть меня в предприятие свое, а уж после и руки не подавать. «Какой я вам товарищ? — подумал я с грустью, хотя вид при этом сохранял самый достойный,— вам лишь цели своей добиться, а там вы и узнавать перестанете». Верите ли, так я об этом горько думал, что даже лихорадка моя угасать стала, потому что трезвость размышления

всегда способствует успокоению. И только видел я одно, какая выпала мне в жизни тягостная и высокая честь, и уже видел я глаза государя, с благодарностью и гордостью взирающие на меня, а ведь государь наш, господин Ваня, он ведь истинный отец наш, да?.. Тут после легкого любопытства и проявления всякого ко мне недружелюбия они все отворотились, словно чтобы не мешать нам с моим полковником заниматься всякими полковыми делами, для которых я, кстати, и был зван. А должен вам заметить, что находился там среди прочих и мой батальонный командир господин Лорер, майор, который, появившись в полку нашем, принялся распространять всякие ужасные сведения обо мне, будто я, служа еще в Петербурге, допускал всякие там денежные злоупотребления, чего за мной, верите ли, и не водилось сроду... И вы, небось, слыхали?

— Ни об чем таком не знаю,— сказал наш герой.

— Вот уж, право, чушь одна, верите ли? Чужой я для них был, господин Ваня, и поэтому... Ну вот, сесть мне не предложили, как равному. Я и это стерпел. Я всякие слабости умею прощать. Люди ведь в том не виноваты. Ах, не буду посвящать вас в подробности. Короче говоря, получил я приказ следовать в Москву по полковым делам и положил в карман солидную пачку казенных ассигнаций. Вместе с ассигнациями вручил мне полковник письмо одному лицу, в котором заключена, как он выразился, наша общая судьба. А должен вам сказать, что я, хоть и бедный человек, но очень честный, и не стоило бы об том говорить, когда б не вышла тут история, изменившая многое.

Вышел я от полковника, как побитый. Обида терзала меня. Но бог меня надоумил что ли, не смог я сразу идти к себе, а ноги подвели меня к распах-

нутому окну, из которого доносился приглушенный разговор... Верите ли, сердце мое чуть не остановилось, когда я услыхал, как всякая обидная напраслина потекла из уст собравшихся. Они все, все наперебой меня чернили, называя ненадежным, снова поминая историю петербургскую, так что я готов был вбежать к ним и со всем пылом молодости требовать удовлетворения, но я снова заставил себя сдержаться и только подумал скорбно: «Бог вас простит...»

И тут, господин Ваня, услыхал я голос моего полковника, дотоле молчавшего, который один в этом скопище хулителей защищал меня и доверял мне, так что я разрыдался как ребенок, прямо там, под окном. Да, подумал я, вот истинный человек, вот человек достойный, несмотря на все свои страшные заблуждения. И я порешил, отправляясь в дальнюю дорогу, перед отъездом, на заре, подарить ему старинный украинский наш чубук. Подавляя в себе всякие обидные чувства, вызванные услышанным разговором, отправился я к себе домой. За спиной слышались шаги, но я не обернулся.

Не буду описывать вам своих мытарств московских, как я там хлопотал по полковому делу, как вынимали из меня деньги канцелярские писаки, это ведь у нас заведено такое, господин Ваня, как воротился назад, не буду вам этим докучать. Но то, что я застал, воротившись, окончательно выбило меня из седла. Полковник мой, бог ему судья, видимо, поддавшись наговорам, глядел на меня недобро. Недостача в деньгах, да пустячная, черт ее подери, в другое время и мараться бы из-за нее не стоило, вызвала целую бурю. Замаячил суд передо мной. Не удостоившись наград за свою безупречную службу, предстать в молодые годы перед судом! Но я и это снес, господин Ваня...

Наш герой, шагая рядом с чудесным капитаном, ступал осторожно, затаив дыхание, словно крался за дичью. И вдруг какие-то все незнакомые места возникли перед ним, словно и не Петербург это вовсе. Какие-то унылые заборы тянулись один за другим, и лес чернел или роща, и фонарей не было в помине, и тишина стояла... «Что такое? — подумал он с содроганием душевным,— куда мы забрели?» А место действительно было глухое, пустынное, редкие дома стояли с заколоченными окнами, так что ни одного огонька кругом. Лишь луна выныривала иногда из облачных лохмотьев и бросала слабый свой и недолгий свет на замершую картину, но свет этот не вселял бодрости, а, напротив, был так уныл, что хотелось с головой зарыться в сугроб.

Видимо, недоумение и дрожь нашего героя передались и славному Аркадию Ивановичу, а может, он сам себя растравил, предаваясь воспоминаниям, во всяком случае, шаги его замедлились, и он остановился. Стал и Авросимов.

— Куда это вы меня завели, господин Ваня? — спросил капитан шепотом.— Вы меня, должно, убить хотите? — и засмеялся.

— Помилуйте, Аркадий Иванович,— ответил Авросимов, переходя на шепот,— ума не приложу...

— И узнать не у кого,— прошелестел капитан, всматриваясь в пустынные места.

Снег вспыхивал под нечастой луной, но тут же погасал.

— А не поворотить ли нам обратно, господин Ваня? Эдак мы и в лес прямехонько забредем...

И тут, внезапен и зловещ, чей-то раскатистый свист потряс безмолвие.

— Бежим! — прошипел капитан и опрометью кинулся по своему же следу. Наш герой торопился за

ним, проклиная теплую шубу. Луна как на зло не появлялась. Когда они обогнули первое двухэтажное здание с заколоченными окнами, из-за угла ударил стремительный ветер. Сколько времени они бежали, подсчитать было невозможно, наконец где-то впереди мелькнул огонек, за ним — другой, послышался скрип полозьев. Аркадий Иванович, бежавший все время чуть впереди, замедлил движение.

— Стойте,— взмолился наш герой, с трудом переводя дух.

Они остановились у первого освещенного окна. Капитан расхохотался.

— Никогда так не трусил,— проговорил он,— просто даже сердце свело от страха. Вот напасть! Ну идемте же... Может, мы и не в Петербурге вовсе, а?

— Не знаю,— сказал Авросимов мрачно.— Теперь бы извозчика... Я уморился.

— Эх, господин Ваня,— снова засмеялся капитан,— ну я, ну не очень чтобы могучий, да? Но вы-то! Вон вы какой медведь! Вы-то что же, а?

— Кому гибнуть охота? — признался Авросимов, не испытывая стыда.

Они двинулись дальше. Шли молча. Говорить уже не хотелось. Мысли о возможной погибели не давали покоя. И тут наш герой, размышляя об этом, подумал вдруг о государе, которого, оказывается, на каждом шагу подкарауливает насильственная смерть. И не от разбойников, не от волчьих зубов, а от своих же, живущих рядом соплеменников, которым, может быть, руки пожимал, благодеяния оказывал, ордена на шею вешал! И ведь могут: и как Людовика с почетом на плаху, и как свинье — просто нож из-за угла в спину, прости господи... Отчего же он своих погубителей должен в крепости содержать по всем

законам, а не бить их собственноручно одного за другим своим мечом или кинжалом в самое сердце? От кого же такая несправедливость?

— Теперь куда? —спросил дотоле молчавший капитан.

Они стояли у Строгановского дома. За углом бежал Невский.

— Теперь уже совсем рядом! — обрадовался наш герой и повел за собой капитана.

...Так за что же тогда все, как сговорившись, бегают взапуски за государем своим, охотятся на него, подкарауливают, отчего он, вобрав голову в плечи, изогнувшись весь, должен жить в страхе?

Но Аркадий Иванович, словно подслушав мысли Авросимова, не стал рассуждать об этом, а лишь засмеялся и сказал бодро:

— А мы-то с вами на что?

«Мы с вами» — это, конечно, да. Но ведь как оно бывает, когда ты, вознамерившись подвиг совершить, стоишь перед тьмой, а тут свист раздается? И ты бежишь сломя голову! «Мы с вами...» И «мы» и «вы», не разбирая дороги, лишь бы жизнь свою спасти, скорее к свету, к свету, к малым огонькам.

— Вот вы, например, господин Ваня... На вас, например, государь и держится. А как же...

Но не успел наш герой что-либо ответить, как знакомые веселые ворота, похожие на глотку загулявшего ямщика, выросли перед ними.

— Вот они! — воскликнул Авросимов радостно и пошел под темными сводами.

— Ну, господин Ваня,— засмеялся Аркадий Иванович,— бог очень соблюдает наш интерес,— и потер руки.

7

Они вошли в тот самый двор и повернули к флигелю. Однако флигеля не было. Вместо него в глубине двора громоздился небольшой каретный сарай с сорванной дверью.

Не буду утруждать вас подробным рассказом о том, как два наших молодых человека, поняв наконец, что произошла ошибка, кинулись в соседний двор, затем — в следующий, и везде их ждало разочарование. Словно тени метались они от ворот к воротам, вдоль набережной, странно взмахивая руками, скользя и увязая в сугробах, молча, с раскрасневшимися лицами, так что даже одинокий будочник, загоревшийся любопытством, а может быть, просто хмельной, пытался следовать за ними, но куда там!

Вы, наверное, успели заметить, что весь день носил на себе признаки необычайные, и только наши герои не понимали этого, так как были увлечены воспоминаниями и взаимной симпатией.

Наконец они остановились, тяжело дыша.

— Может, по тому ряду попробовать? — предложил Авросимов, указывая на противоположный берег Мойки.— Хотя, помнится — здесь был флигель проклятый...

— Плюньте, господин Ваня, — грустно сказал капитан,— может, завтра нам с вами повезет, или еще когда. Не будем унывать...

И тут вдруг наш герой точно прозрел, воспоминания о первом посещении прекрасного флигеля вспыхнули в нем с новой силой, и он, крикнув нечто невразумительное, повлек за собой загрустившего было капитана в соседние ворота, возле которых они и топтались, намереваясь отказаться от поисков.

Здесь! Здесь, здесь, в этом вот сугробе топили Мерсиндочку, хохоча и предвкушая счастливую ночь, и отсюда, из этого вот сугроба, тянул он, Авросимов, ее, касаясь губами горячей шейки и задыхаясь от мягкого женского дурмана. Торопитесь, Аркадий Иванович, друг бесценный, торопитесь!

Вот и ворота те самые, которые еще совсем недавно вздрагивали от хохота и громких удалых голосов, они... Вот и двор, вот и флигель заветный с темными окнами, завешенными изнутри тяжелыми малиновыми шторами...

Они летели к флигелю, обгоняя друг друга, спотыкаясь о сугробы, скользя по льду, подавая друг другу руки и хохоча, хотя и приглушенно, в меховые воротники, словно стараясь не растерять тепло радостного возбуждения.

Тяжелая дверь поддалась, распахнулась, старые петли взвизгнули.

В прихожей, все той же, горела толстая оплывшая свеча, и была пустота, и стояло молчание пещеры, но полет молодых людей был так стремителен, что они и не могли заметить того, пока не скинули шубы прямо на пол, ибо принять их было некому, пока не вбежали в залу, где в камине трещали поленья, и от молодого пламени распространялся колеблющийся свет.

Наконец они огляделись.

Это была та самая зала, где недавно кипела жизнь и бушевали страсти, и наш герой никак не мог приспособиться к ее новому качеству, к ее пустынности, и ходил возбужденно по ковру из конца в конец, от карточного стола к тахте, от камина к распахнутой двери, бросив капитана на произвол судьбы.

Вдруг в раскрытых дверях возникла и застыла

фигура краснобородого мужика с поблескивающими глазами, так что Авросимов даже вздрогнул, пока не догадался, что на мужике — отсвет каминного огня.

Мужик глядел на молодых людей с дерзким удивлением.

— Никого нет-с, — сказал он тихо, продолжая оставаться неподвижным.

— Что сказывали? — спросил Авросимов.

— Сказывали, мол, будут-с.

— Эззэ, — протянул капитан, — мне это не нравится...

— А Милодорочка где? — спросил наш герой.

И тут мужик сделал шаг назад и исчез.

Капитан потер руки. Он заслуженно предвкушал.

Наш герой, забыв ужасный рассказ своего нового друга и растворяясь в неге, источаемой камином и всей обстановкой знакомой залы, почувствовал себя свободно и легко, и упал на тахту, раскинув руки, словно — в траву, и всхлипывал от счастья и урчал, как молодой медведь.

— Вот здесь Милодорочка... а вот здесь Дельфиния... а там уж Мерсиндочка! Все перевилось: руки, ноги... ух, ух, ангел мой драгоценный!..

— Ах, ах, потише, господин Ваня, — захохотал капитан, — а то испугаются, не придут, ха-ха... Куда же мы тогда? Куда же мы, бедненькие?! Опять в лес?!. Ножки, ножки! Ух!.. Вы мне умастили, господин Ваня! Этого я вам не забуду!..

Авросимов плавно так перекатывался на тахте с боку на бок, словно погружался в теплую медленную реку, и лениво шевелил рукой, отпихивая водоросли, потом выбирался на бережок, на солнышко...

— А Милодорочка... губки у нее мягкие, теплые...

— Ух, ух, господин Ваня, не травите вы меня!

— Не оторвешься от губок-то...

— Шуры-муры, канашечка!

— Или на руки ее взял: на левой руке — спинка, а на правой — что?! А?..

Мужик давешний появился в дверях, постоял, снова с дерзким удивлением оглядел разошедшихся незнакомцев и исчез.

— Однако долго нас морочат, — сказал Аркадий Иванович. — Что за дом такой? Хотя бы шампанского подали... Уж эти мне аристократы столичные!

— Нет, нет, вы послушайте, — захлебнулся наш герой в бурном потоке, — вы послушайте, как она ножкой делает, вот так...

— Господин Ваня, вы меня уморите, я уже чертей вижу. Да где же дамы, черт!

— ...Как она вас за шейку пухлой ручкой... А мы-то с вами ищем, ищем, а он — вот он, флигелек разлюбезный... А еще у Дельфинии плечики вот так опущены, небрежно так, я видел через дверь, как ее по спинке гладили...

— Ой-ой! — хохотал капитан, весь извиваясь, утирая цыганские свои глаза.— Мягкая спинка? Мягкая?.. Шуры-муры!

Мужик заново просунул бороду в дверь. Борода шевелилась, как под ветром.

— Да где же дама? — крикнул капитан.

И вновь мужик исчез.

— Вы не расстраивайтесь, — сказал Авросимов,— не надо...

Лицо у Аркадия Ивановича было грустное, словно он только что и не смеялся. И наш герой почувствовал, что что-то не так на душе, как-то отвратительно, и нет этого сладкого предвкушения любовных утех, и свет огня в камине печален.

— А сознайтесь, господин Ваня, — вдруг с ожесточением проговорил Аркадий Иванович, — исто-

рия моя вас сбила с толку, вы даже симпатию к полковнику Пестелю почувствовали... Ах, уж я вижу...

— Да что вы, — сказал наш герой. — С чего это вы? Вот уж нет...

— Вы меня не укоряйте, господин Ваня, — продолжал капитан, — я бы мог моего полковника грязью полить. Тем более, он — государственный преступник. Но я страшусь проявить пристрастие, вот что. Кто мне тогда верить будет? Кто? Да и как за прошлое его теперь казнить? — и посмотрел на Авросимова. — Разве он не волен был относиться к людям по душевному влечению? — и снова внимательно посмотрел. — Вот у меня к вам симпатия, господин Ваня, а ежели бы — наоборот? Разве меня за то корить следовало бы? Я, господин Ваня, очень эту науку понимаю, поверьте...

— А героизм-то ваш в чем? — выдавил наш герой со страстью, изобличающей в нем уже не прежнего юношу. — Во мне симпатии к злодею нету, нету! Но вы никак мне не раскроетесь. Я терпение потерял. Я вашего полковника вот как перед собою вижу. Я его не жалею, а хочу ваше участие в том понять...

— Господин полковник Пестель не может не вызывать симпатии, — уныло сказал капитан. — Люди сильные своей страстью, даже губительной, всех нас весьма беспокоют и притягивают. И вы этого не стыдитесь, господин Ваня. Да вам бы не этим себя мучать, а найти себе предмет по душе и с ним в обнимочку — к матушке вашей, в деревню...

Словно в чудесной сказке, источаемой жалостливыми цыганскими глазами капитана, белые руки Милодоры обвились вкруг шеи нашего героя, вызвав в нем бурю всяческих горячих чувств. «Матушка, — крикнул он в душе своей, — благословите! Освободи-

те вы меня от муки... С нею, с нею одной, с Милодорочкой милой, хочу в любви коротать свой век. А господин полковник пусть получает по заслугам, что посеял, как он того добивался... А мне-то что?..» Так он призывал, переполненный любовью и отчаянием, ибо в его мощном теле, как видно, таилась душа ранимая и еще не успевшая возмужать.

Вдруг он почувствовал некоторую перемену в обстановке, и ему даже показалось, что в зале появились люди, тихие, как тени, и, погружаясь в медленный поток, он слышал далекий и знакомый голос Аркадия Ивановича: «...серая фигура Савенки кинулась в тень забора. Я не из робкого десятка, господа, но сердце мое дрогнуло, однако я справился с первым смущением и продолжал свой путь, положив про себя проучить дерзкого холопа...» Тут раздался тихий смех и кто-то будто бы произнес: «Вы говорите, словно читаете...» И снова голос Аркадия Ивановича: «...и вот, едва отдрожали последние листочки на кустах, потревоженных мною, как долговязая фигура проклятого пса вынырнула из-за поворота...» Медленный ленивый поток накрыл нашего героя с головой, и знакомый голос перестал звучать...

Все, что мной говорено, вовсе не означает, что я, преисполнившись сожалений к нашему герою, готов спасти его из цепких рук жизни или, как еще говорят, фортуны. Нет, нет, уж пусть он получает свое, ибо всякое преднамеренное, искусственное смягчение жизненных обстоятельств делает человека искусственным по отношению к окружающему. Так мы, часто сами того не замечая, проповедуем всякие там спасительные рецепты, а спустя некоторое время начинаем трубить отбой, ан поздно.

Но наш герой, слава богу, был пока еще человеком натуральным, и деревенская закваска позволяла

ему пока что уберегаться от городского мира, полного искусственной прелести и придуманного очарования. И весь он, набитый как свежий холщовый мешок не ассигнациями, а золотыми, был чист и звонок, и здоров духом. И кошмары (а ведь кошмарами ему представлялись обычные картины, которые мы встречаем ежедневно и к которым у нас в душах выработалось завидное спокойствие) не мешали ему хоть внешне-то сохранять свой прежний облик, и щеки его были по-прежнему пунцовы.

И вот он, наконец, словно очнулся и с удивлением обнаружил, что лежит, раскинувшись, на тахте, лицом в ковер, пистолет врезался в бок и причинял боль. Видимо, он все-таки спал, потому что, приоткрыв глаза, застал следующую картину:

В креслах у камина, устроившись поуютнее, с лицами, обращенными к Аркадию Ивановичу, сидели неподвижно давешние знакомые Авросимова: Павел Бутурлин, тонкорукий и насмешливый; Сереженька; гренадерский поручик с черными усами; неизвестный толстяк, одетый в халат, из-под которого выглядывал офицерский мундир. Сидели еще какие-то люди, но они были скрыты тенью, были неподвижны и казались призраками.

Несмотря на каминное пламя, лица у всех были серы, словно сидящие разом надели на себя скорбные маски. На столике перед ними стояли бутылки и бокалы. Женщин не было.

— Господа,— тихо произнес капитан, видимо, продолжая свое повествование,— удивлению моему не было предела, когда я вдруг понял, что не ошибался, предполагая самое ужасное. Это был заговор, господа, адское предприятие, все нити которого сходились сюда, к моему полковнику. В первую минуту я

 было решил разубедить его, отговорить, уберечь от

несчастья, но жалкие мои аргументы и слабые растерянные попытки только лишь озлобили его. Идеи, которые он проповедовал, так сильно охватили его, болезнь так поразила всю его душу и так стремительно распространялась на окружающих, что можно было ждать только катастрофы...

Тут Сереженька засмеялся, сохраняя неподвижное выражение лица. Все разом оглянулись.

— Как вы ловко рассказываете,— сказал Сереженька,— как будто читаете.

Но лица вновь поворотились к Аркадию Ивановичу, и он продолжал, полуприкрыв глаза:

— Что было делать мне? Вы знаете, господа, я еще в детстве...

— Нет уж, вы не перескакивайте,— потребовал Бутурлин.

— Хорошо,— улыбаясь на его нетерпение, согласился Аркадий Иванович и отпил из бокала.

Все тотчас отпили следом. Бокалы глухо стукнули о стол. Воцарилось молчание на мгновенье. Затем капитан продолжал:

— Мой полковник, господа, нравился мне все больше и больше. И я часами ломал себе голову, пытаясь отыскать средство, чтобы отвратить от него беду. Мне нравилось в нем все: походка, как он ходил, уверенно и твердо, и вместе с тем легко, с грацией даже какой-то, нравилось, как говорил, не отворачивая лица от вас, медленно и чеканно, словно гвозди вбивал, нравилось, как спокоен был и слову хозяин, даже запах, исходящий от его тела, свежий, здоровый, словно он не расставался с ароматными мылами, нравился мне... И вот представьте себе весь мой ужас по поводу разверзшейся перед этим человеком пропасти, в которую он сам стремится и пытается увлечь за собой других... Нет, вы не можете себе этого пред-

ставить... Сердце мое обливалось кровью, когда я думал, что грозит нам всем, если позволить полковнику развивать и дальше свои планы, и прежде всего — ему самому. Нет, нет, вы слушайте, слушайте. Тут-то самое главное и начинается. Я все это так понимаю, господа: видя полную безнаказанность своих планов и предприятий, он уже не мог остановиться, словно кораблик, подгоняемый ветром, бежал он вперед навстречу собственной гибели. Посетовав сначала на бедственное положение народа, пришел он к мысли страшной — о необходимости уничтожения царской фамилии...

В этот момент наш герой, переполненный событиями дня, не успевший еще освободиться от сонного дурмана, в который погрузился он так внезапно, помолодому, едва не закричал. Только глухой стон вырвался из его души, но покрываемый звоном бокалов, треском поленьев в камине, ровным, несколько возбужденным голосом Аркадия Ивановича, этот стон тотчас же и угас, едва народившись, так что никто и не заметил.

Что же это такое? При упоминании о возможной насильственной смерти государя ни один из них, из присутствующих здесь, не вскрикнул, не ужаснулся, даже легкая дрожь не поколебала их серых насупленных лиц. А Сереженька, тот уж и вовсе отхлебывал вино мелкими глотками, словно Аркадий Иванович сообщал не страшные сведения, а так, рассказывал утомительную историю своей жизни. Что же это такое? Уж не притворяются ли они? А ведь нельзя, наверное, не переживать и оставаться безучастным, когда Аркадий Иванович такое испытал ради своего отечества... Хотя, впрочем, Пестель ведь тоже ради того же самого беспокойство имел... Что же они не сошлись? Да и государь ради всех старается... Пе-

стель вон ради всех заговор устроил. Эти тоже вот сидят с серыми лицами. Может, тоже заговор? Неужели, кабы я царем был, меня бы тоже ус-тра-нять? А вот поручик гренадерский выпил бы и ус-тра-нил, непременно.

Наш герой почувствовал, что лицо его покрылось потом, и глянул на поручика. Тот сидел, расстегнув мундир, откинувшись, и помахивал головой, видимо уже крепко был во хмелю.

— Что же он в ней такое проповедовал? — спросил толстяк.— В своей конституции?

— Мне даже говорить об этом страшно,— сказал Аркадий Иванович и одним махом опрокинул бокал.— Посудите сами, как мне об этом говорить, когда я противник...

— Говорите же, черт возьми,— потребовал Бутурлин.— Вот он, например, утверждает, что ничего такого и не было. Это он вчера на допросе утверждал. Что, мол, не было никаких документов, никаких конституций...

— Так ведь я сам видал,— мягко перебил его Аркадий Иванович с доброй своей цыганской улыбкой.— Он мне ее сам листал, читал. Я даже зеленый портфель помню, где она хранилась, а как же... Своими собственными глазами...

— Да что вы заладили все одно: глазами, глазами,— рассердился гренадерский поручик.

Впрочем, те, что находились в полутени, незнакомые нашему герою господа, продолжали сохранять неподвижность и спокойствие, и только неполные бокалы, приподнятые над столом, едва покачивались в их руках.

— Да,— торопливо сказал Бутурлин,— странно получается: он одно говорит, а вы — другое. Почему же у меня к в а м вера должна быть?

— Господа,— сказал Сереженька,— дайте же Аркадию Ивановичу рассказать. Он так рассказывает, словно роман читает... Ну не все ли вам равно?

Тут Аркадий Иванович засмеялся, польщенный словами Сереженьки.

— Я, господа, готов вам рассказывать. Мне даже от этого легче, что я среди своих нахожусь, которым выпало, как и мне, совершать справедливость... Мы уж постараемся.

— А что же он в ней такое проповедовал? — снова спросил толстяк.

— Извольте, господа, — согласно кивнул наш добрейший капитан. — Еще до того, как вышла вся эта история с казенными суммами, от которой я лет на пять постарел, полковник мой в доме своем, ведя разговор о разных политических своих прожектах, извлек из шкафа этот зеленый портфель и вытащил пачку листов, аккуратно исписанных.

— Вот здесь, господин Майборода,— сказал он,— таится сгусток многолетних раздумий... О, это не должно попадать к н и м в руки! Когда Россия сможет воспринять это к действию, благоденствию ее не будет конца,— и он горько усмехнулся,— хотя в последнее время моя реформаторская деятельность перестала мне казаться столь прельстительной, как в начале,— и он бегло перелистал рукопись,— есть люди, которых слово «республика» приводит в ужас...

Скажу вам по совести, господа, что доверие полковника было мне лестно, но одновременно причиняло боль...

— Каков! — громко сказал толстяк.

— Что? — не понял Аркадий Иванович.

— Да вы пейте, пейте,— налил ему Бутурлин.

— Вы удивительная личность,— промолвил Сереженька с отчаянием.— Вы мне нравитесь, сударь,— и обнял его за шею, и стал чуть не душить, отчего Аркадий Иванович весь побагровел и, продолжая дружелюбно улыбаться, все-таки старался освободиться от любвеобильного молодого человека. Наконец это ему удалось, а может, Сереженька сам ослабил объятия; он отвалился от капитана и сказал: — После наших утомительных занятий хорошо слушать ваши истории...

Бутурлин засмеялся. Аркадий Иванович, оправив мундир, выпил свое вино.

— Как же это вы будто бы полны любви к своему полковнику,— заметил гренадерский поручик,— когда сами же утверждаете, что он холоден, суров и просто маленький Бонапарт?

— Это не я утверждаю,— сказал Аркадий Иванович, быстро и послушно поворотившись к поручику,— это его же друзья утверждали, что у него душа железная. Они о его душе часто толковали.

— А что же он все-таки проповедовал в своей конституции? — спросил толстяк.

— Да не сбивайте вы его вопросами! — потребовал Сереженька.— Интересно ведь как. Ну а дальше-то что? Дальше-то...

— А дальше? — медленно произнес капитан.— Что же дальше? Дальше, верите ли, навис надо мною суд. И понял я, что пощады от моего полковника мне не ждать...

— А может, он, ваш полковник, догадался о ваших намерениях? — спросил Бутурлин.

— Да не перебивайте же! — взмолился Сереженька.

— Нет,— грустно ответил капитан,— догадаться он никак не мог. Он меня ценил, я ведь чертовски

податлив был, ему ведь лестно было слышать мое одобрение. Людям это страсть как нравится, уж я знаю...

— Каков герой! — воскликнул толстяк.— А вы? — обернулся он к остальным.— Вам бы лишь баклуши бить!

— Нет уж,— сказал гренадерский поручик.— Я господина Пестеля до самого Петербурга конвоировал... Нет уж, увольте-с... Я свой долг выполнил. Этого забыть невозможно, как это все было. Да я уж имел честь рассказывать... Уж вы меня увольте...

— А я, а я? — закричал Сереженька.— Как я Щепина на площади вязал!.. Как в атаку ходил!.. Я по-оомню!

Аркадий Иванович с изумлением поворачивал голову то к одному, то к другому, с жадностью внимая их откровениям.

— А мне и посейчас приходится за стулом военного министра топтаться и видеть все,— сказал Бутурлин.— Все через мои глаза проходит и уши, и на сердце падает, и там лежит... Когда бы я в полку служил, ты бы мог так говорить с укором, а я во всем этом просто варюсь, варюсь и всё...

— Все молодцы, все! — засмеялся толстяк.— Один я бражник, черт!

— Вот видите, господа,— сказал Аркадий Иванович,— как жизнь всех нас связала, а мы-то и не ведали того... Вот видите? Как мы с вами одинаково ринулись разом для спасения отечества, как грудь свою подставили...

В этот момент нашему герою показалось, что Аркадий Иванович значительно отодвинулся и рассказывает откуда-то издалека, так что и голоса его не

 слышно, а только видно, как разводит руками и сту-

чит себе в грудь кулаком. Потом он и кулака уже не видел, так все это отодвинулось.

Когда он вновь проснулся, картина перед ним была все та же, все так же сидели вокруг Аркадия Ивановича, но уже мундиры были расстегнуты у всех, да и словно теснее стал кружок, а может, это выпитое клонило их в одну сторону, поближе к капитану.

— Я знаю, как с Трубецким получилось,— сказал толстяк,— князь был в доме батюшки, comme l'enfant de la maison[1]. Он и сам, бедняжка, не опомнился, когда его нашли у тещи его, графини Лаваль, и объявили ему, что он выбран в диктаторы...

— Да я же говорю,— сказал гренадерский поручик,— что это неосмотрительность ихняя, спешка... Я это осуждаю... Не связывались бы они с Трубецким, было бы больше толку...

— А графиня Лаваль, рассказывают,— засмеялся толстяк,— в это время сидела у себя и дошивала знамя свободы... Каково?

— Господа, не надо об этом! — взмолился Сереженька.— Вы пейте себе... Забывайте все... Я не люблю о неприятном... Не надо!

— Ах ты моя дунюшка! — захохотал Бутурлин.

— Нееет,— сказал Аркадий Иванович,— мой полковник — это вам не Трубецкой. Он бы сам себя диктатором нарек, случись что...

— Говорят,— продолжал толстяк, еще за год до этой несчастной вспышки, он часто говаривал: «Maman, donnez moi de la foi. J'ai besoin de foi»[2]. Не было ее у него что ли?

— Матери раньше дóлжно было бы этим занять-

[1] как член семьи (фр.).
[2] Матушка, дайте мне веру. Мне необходима вера (фр.).

ся,— сказал Аркадий Иванович.— Вот вам и вера. Ах, но я любил полковника моего, да и сейчас люблю, верите ли... Вот крест святой. Ну все ему прощаю...

— Вы ангел,— засмеялся Бутурлин.— Неужто все?

— Все,— сказал капитан.

— А то, что он вас третировал и его друзья? А замыслы его?..

— Все, все...

— Каков! — сказал толстяк с восхищением.

Они все так наперебой восхищались Аркадием Ивановичем, что нашему герою стало даже совестно, словно это *ему* курили фимиам, *его* на руках носили. Да, да. И каждый норовил чем-то выделиться из общего-то хора, какую-нибудь уж такую славу ему загнуть, чтобы все остальное померкло.

— Нет, вы только поглядите,— воскликнул Сереженька,— мы здесь считаем себя виновниками благоденствия, спасителями, а мы, черт возьми, ничтожества рядом с вами, господин Майборода! Вы нам всем нос утерли, утерли!

— Каков гусь! — сказал толстяк, хлопая Аркадия Ивановича по плечу.— Ты мне нравишься, Майборода... Дозволь, я тебя поцелую... Вот так...

— Нет, нет! — закричал Сереженька.— Это я его поцелую! — И он снова обхватил нашего капитана за шею, так что капитан побагровел.

— Я бы на его месте так не сообразил,— сказал Бутурлин,— как он, ловкач, умно действовал, как тонко, бестия!.. Вы пейте, пейте, капитан, чего чиниться?

— Я не чинюсь! — хохотал Аркадий Иванович,— я пью, господа. Мне с вами тепло... Ах, были бы мы в Линцах, верите ли, я велел бы в музыку ударить.

Пока там, у стола, продолжалось общее ликование и форменный грохот стоял вокруг, и звон, и свист, Сереженька подбежал, качаясь, к Авросимову и подсел к нему на тахту.

— Свет наш Ванюша, радость наша, а он и не спит, подслушивает...

Тут и Бутурлин подскочил, вцепился тонкими холеными руками Авросимову в бок, стал щекотать его, приговаривая:

— А он не спит, не спит, штрафного ему, Ванюше, штрафного!

Принесли большой бокал с шампанским. Авросимов выпил его в два счета и готов был закричать от радости встречи, которая так трудно ему давалась нынче, да все ж-таки ее не упустил...

— Откуда вы этого капитана раздобыли? — спросил его Бутурлин шепотом.

— Случай свел,— также шепотом отозвался наш герой, удивляясь серому цвету лица кавалергарда.

Тут ему снова поднесли, и он еще выпил. Теперь и в нем кровь заиграла, потолок улетел неведомо куда, стены распались, ударил ветер весь синий от трубочного дыма, рыжая голова Авросимова, озаренная каминным пламенем, мельтешила по этому пространству, словно большая головня выскочила из камина и пошла гулять по свету. Толстяк, задирая полы халата, отплясывал что-то, гренадерский поручик раскачивался у окна, как заводной, Сереженька снова душил в своих объятиях Аркадия Ивановича... Все кружилось и исчезало в тумане, и возникало снова. И только остальные господа, что были незнакомы нашему герою, по-прежнему сидели неподвижно, вполоборота к пламени, с недопитыми бокалами в руках.

Тут Сереженька протянул нашему капитану полный бокал.

— Вы меня очень обяжете, коли весь его, до дна...

Аркадий Иванович вяло так посопротивлялся, но выпил и спросил:

— А где же нежный предмет? Мне господин Ваня обещал...

— Бабы что ли? — сказал Сереженька.

— Хай будэ так.

— Милодорочка?

— Да хоть кто...

Толстяк подплясал к ним.

— А что ты с нею будешь делать, Майборода?

— Канашечки,— сказал капитан.— Под левой рукой — спинка, а под правой — что?.. Постараемся!

— Ах, шалун!

— Эй! — крикнул гренадерский поручик от окна.— Полночь миновала!

Самое удивительное заключалось в том, что в общем этом буйстве и безумстве страстей и чувств, в этой, можно сказать, вакханалии, к которой вы, наверно, успели попривыкнуть уже, ибо я вас пичкаю всем этим отменно, в этом хмелю, к которому они все тянулись, как к освобождению от тягот дня и мрачных раздумий, наш герой ощущал себя бодрым, со свежей головою, словно и не пил, хотя, поддавшись общему разгулу, бил подушкой о тахту и выкрикивал всякие несусветности, напоминая молоденького бычка, сломавшего наконец тесный свой загончик и скачущего от всего сердца по свежей траве да по кузнечикам.

Вдруг совершенно внезапно буйство стихло. Наступила тишина, лишь поленья потрескивали безучастно.

Посреди залы стоял Аркадий Иванович, прикрывая щеку ладонью.

— За что? — спросил он тихо и кротко.

— Милостивый государь,— сказал Бутурлин, опуская свою тонкую руку,— вы только что нанесли мне оскорбление, непристойно отозвавшись о моей даме...

— Да при чем тут дама?! — изумился Сереженька.— Бутурлин, бог с тобой!

— Уймись,— сказал толстяк,— ты ничего не понял,— и отстранил Сереженьку.

— Нет уж,— сказал Сереженька,— ты, Бутурлин, не смеешь эдак... Ты уж, будь добр, все скажи, как есть... Зачем же темнить?

— Ты ничего не понял,— сказал Бутурлин спокойно.

— Ты ничего не понял,— повторил за ним толстяк.— Уймись. Все правильно.

— Ааа, ну да,— спохватился молодой человек.— Как же это можно — даму оскорблять при нас...

Бутурлин сделал шаг к капитану. Наш герой бросился было разнимать их, но остановился. Что-то мешало ему стронуться с места, а что — понять в этом сумбуре было невозможно.

— Ну что же вы! — вдруг крикнул Майбороде Сереженька.— Что же вы так стоите?!

Но милейший Аркадий Иванович, обескураженный немыслимым оборотом дела, продолжал стоять, не помышляя о действии, и даже улыбался жалко.

— Нет, ты должен проучить его, Бутурлин,— потребовал толстяк.— В моем доме! Это неслыханно, чтобы в моем доме... о Милодоре... и вообще о нимфах...

— Да ведь я ее не знаю, господа,— сказал Арка-

дий Иванович, не выпуская руки Бутурлина из виду.— Я ведь предполагал...

— А черт! — сказал гренадерский поручик.— Он предполагал... Это вам не Линцы ваши чертовы!

— Да при чем тут Линцы? — изумился Бутурлин.— О дамах речь, о *дамах*! Он даму оскорбил, и все тут...

— Он мне отвратителен! — закричал Сереженька.— Он за себя постоять не может!.. Да вы хоть обидьтесь, обидьтесь... Он же оскорбил вас! Он ведь вам по щеке залепил!..

— Господа,— еще тише и еще покорнее ответствовал Майборода.— Я никого не хотел... То есть я никогда... Верите ли, я готов извиниться...

— Да тебе бы лучше просто оставить нас,— сказал толстяк.— Уйти отсюда... из моего дома. Боюсь, что наш друг вмажет тебе еще раз.

Наш герой увидел, как изящный кавалергард заносит руку, как медленно, не сводя с него глаз, отстраняется беспомощный капитан, но опять не ощутил в себе желания броситься к ним, заступиться за капитана.

И тут кавалергард ударил вновь. Аркадий Иванович охнул и отшатнулся.

— Тут что-то не так! — крикнул он в отчаянии.— Не так!..

— Так, так,— сказал гренадерский поручик.

Майборода медленно пятился к дверям. Остальные на него надвигались. Те, незнакомые офицеры, продолжали сидеть неподвижно, с бокалами в руках.

— Вы не смеете меня бить,— выдохнул Аркадий Иванович.— Это бесчестно...

— Ах, он о чести понимает! — крикнул Сереженька.— Вы бы лучше о чести там понимали, тогда... а не тут...

— Где? — спросил капитан Майборода.— Где?

Но третья пощечина помешала ему. Он круто повернулся и выбежал вон из залы.

— Трус! — вслед ему крикнул Сереженька.

Было слышно, как хлопнула дверь и как в ночной тишине проскрипели шаги под окнами.

В молчании все расселись снова у камина. Незнакомые офицеры исчезли. То ли они удалились вслед за капитаном, то ли их не было вовсе.

Когда наш герой покинул наконец этот гостеприимный кров, так и не проронив ни слова, он в первую минуту никак не мог определить, куда ему направляться. То ему казалось, что он в Линцах, что он — полковник, и его мучают подозрения относительно капитана, то он видел себя тем самым капитаном, торопящимся к своему дому, и тогда он начинал бежать по пустынной мостовой, так что даже будочники удивлялись вслед. Вы, милостивый государь, читаете все это, уютно устроившись в теплой своей комнате, слыша гудение самовара из столовой, вдыхая ароматный запах сдобных плюшек, приготовленных для вас к ужину, вы читаете все это, как счастливый человек, избавленный от страстей того времени, чуждый всяким возмутительным порывам, удивленно вскидывая брови при слове донос, казнь и тому подобное, и вам, наверное, представляется все это даже выдумкой моей, фантазией... Нет, нет, все было именно так, хотя я при всем своем желании, не берусь да и не смог бы охватить всего, а потому выхватил из этого всего несколько случайных жизней, а уж вы сами там домысливайте остальное, ежели не боитесь, что чай простынет.

8

Утром следующего дня голова у нашего героя не болела, как этого можно было бы ожидать, и никаких тягостных воспоминаний, как молодцы-офицеры били по щекам доброго капитана, не сохранилось. Все словно так и должно было случиться, и это не разум говорил, а, видимо, сердце.

Единственное, уж ежели говорить начистоту, что преследовало нашего героя утром следующего дня, так это мысль о прелестных нимфах, которых он так и не увидел, и об Амалии Петровне с ее многозначительной родинкой, о той самой Амалии Петровне, которая и надежд никаких не подала, и разговор вела престранный и даже, может быть, предосудительный, но маячила перед глазами, не уходила.

Конечно, мы-то с вами отлично понимаем, что не просто и не только вожделение правит юношескими сердцами, что есть еще некая тайная материя, которой и названия не подыщешь и которая все и творит в нас и преобразует, хотя многие склонны с этим не соглашаться: мол, все проще, и люди, мол, проще, поглядите на человека попристальнее: что есть в нем сложного, так это всего лишь одежда, а вообще-то — никакой сложности и тому подобное. Но как же не сложен человек, когда он мечется и путается в своих поступках, одно и то же любит и опровергает одновременно, весь как бы оброс мучительными вопросами, а что касаемо до вожделения, так ведь это временно, это природа, и не нам с нею спорить. И вы не верьте, не верьте, будто все просто, и мне не верьте, что наш герой, все начисто отринув, видел перед собой лишь очаровательную и таинственную родинку Амалии

 Петровны, ибо где-то там, внутри, куда нам с вами

проникнуть невозможно, все увиденное ложится и легло уже кирпичик к кирпичику, ровнехонько так, и до самой смерти, до последнего часа будет лежать, и никуда от этого не уйдешь, не избавишься.

Это душа наша имеет способ защищаться от истинных тягот и страданий и временами приглушает их, чтобы нам не обезуметь, а оставляет страдания легкие, мнимые даже, страдания любви, которые натуры слабые принимают иногда за страдания истинные.

Я не буду утруждать вас подробностями относительно того, как наш герой проводил свой день, а начну прямо с вечернего заседания в известном вам Комитете, где Авросимов, уже освоившись, готовился строчить свои протоколы.

Бесшумно, как всегда, гуськом, словно и незнакомы друг с другом, потянулись в залу члены Комитета и заняли свои места.

Бутурлин вырос за креслом Татищева, ожидая распоряжений, изящный и свежий, словно это и не он вчера безумствовал во флигеле напропалую. При виде Авросимова он едва улыбнулся ему уголками губ и кивнул тоже незаметно.

Солнце уже давно зашло, и январские сумерки охватили комендантский дом, крепость, Санкт-Петербург и весь мир.

По белому изразцу печки-голландки ползала синяя муха.

Белые толстые свечи медленно оплывали, и от их неровного пламени рождались неровные ускользающие тени.

Авросимова тянуло ко сну, а работа только начиналась. А что же дальше-то будет, господи!

Занятый этими невеселыми размышлениями, он и не заметил, как распахнулась дверь, произошло лег-

кое движение, суета, а когда поднял голову, полковник Пестель уже сидел в своем кресле и глядел на пламя свечи. Лицо его поразило нашего героя. Осунувшееся и землистое, оно вызывало чувство тоски и страха, да и взгляд был болезнен и скользящ. И этот скользящий взгляд, рассеянно и привычно охватив раскинувшуюся перед ним панораму окон, кресел, стен и лиц, остановился на лице нашего героя и замер.

Павлу Ивановичу стало уютнее при виде Авросимова, а почему, он и объяснить бы не смог. Нет, не ждал Павел Иванович от него спасения, и в могущество бедного служителя верить не мог. Нет, нет, но, может быть, во мраке, постигшем полковника, голова Авросимова горела как огонек, и в глазах шевелилось готовое проснуться участье? Ах, становился сентиментальным полковник... Холодный и трезвый, намучившийся во тьме, сырости и безвестности, он стал ценить то, чем раньше пренебрегал... Не потому ли всякий раз, входя в Комитет, взор свой обращал на угол, где томился наш герой? Ибо перспектива, раскрывающаяся перед ним, удручала его все больше и больше, и из сырости каземата, из мучительных бурь, сотрясающих его душу и тело, все более явственно проступал исход, а именно — позорная солдатчина, которой теперь уже не миновать, и сколько она будет продолжаться — год, два, десять, вечно,— никому неизвестно, а может быть, и в самом деле — вечно.

Нет, не солдатская лямка пугала Павла Ивановича и не позор пленника, а вечность! Та самая вечность искупления греха, в которую толкают его все, все, от курьера до военного министра, от тюремщика до царя... Все вот эти, сидящие и стоящие перед ним.



И наш герой, отворотившись от полковника, тоже подумал, что вот все, все, и он в их числе, навалились на скрученного злодея, а чего ж на него наваливаться, когда он и так готов: вон руки дрожат и взгляд блуждает.

Отворотившись от полковника, он снова увидел всех. Теперь снова все они были представлены вместе, но что-то такое в этой вечерней зале было ново, как-то они все выглядели по-новому, как будто и не на следствии восседали, а перед званым обедом, в гостях.

Военный министр был почти весел, хотя и старался это скрыть, однако не заметить было нельзя; граф Чернышев играл своими пальцами, то разминая их, то собирая в кулак, то по бакенбардам проводил ладонью, и, казалось, вот сейчас соорудит на груди салфетку и потянется к еде; Левашов и Боровков улыбались друг другу, остальные были неподвижны, но на их лицах тоже поигрывали некие расслабленные блики от предвкушения пиршества; адъютанты, фельдъегери, курьеры мелькали как ночные птицы, проносились на носках, бесшумно, легко и таинственно.

И вообще было так тихо вокруг, так благостно, от свечей распространялось такое сияние и аромат, военный министр был так улыбчиво настроен, что, казалось, все сейчас рассмеются и встанут, с шумом отодвигая кресла, и провинившийся полковник вскинет голову, и щеки его зальет счастливый румянец. И действительно, подумал наш герой, как это возможно так долго и безысходно мучать друг друга? И это уже входит в привычку, и так будет тянуться теперь вечно, только полковник, насидевшись в сыром-то каземате, сник, и лицо его подернулось печалью. Вот уж и январь на исходе. Ах, но тем не

менее, как много их всех на одного! Как много насто на него одного! Даже он, Авросимов, строчит по бумаге, высунув кончик языка, чтобы, не дай бог, слова не пропустить, чтобы правитель всех дел Александр Дмитриевич Боровков не остался недоволен. А злодей тем временем, бледный и изможденный, не Пугачев какой-нибудь, а дворянин, полковник, любимец, здесь, в кресле!

Ну а те, которые с полковником были, которые верили ему, клятвы давали, те, которым он верил, они, что здесь вот расшипались и страх свой выплясывали, раскаивались, они-то что же? Господи ты боже мой!..

И тут с громким стуком ударилась о стол чья-то табачница, ускользнув из неловких рук, и Чернышев спросил у Павла Ивановича беззаботно и по-приятельски даже:

— Я бы вас, господин полковник, еще кой о чем спросить бы хотел, да боюсь, вы опять запираться станете.

— Спрашивайте, ваше сиятельство,— устало отозвался Пестель,— на то я и пленник, а что касаемо запирательства, так это зависит от моей причастности. Уж ежели я не причастен...

Генерал пожевал губами, поморщился.

— Ну вот, к примеру, зеленый портфель ваш, обнаруженный в доме вашем, в Линцах, оказался совсем пуст... К нему-то вы причастны?

— К портфелю? — удивился Павел Иванович.

Авросимов услыхал тихий смех. Кто смеялся — было не понять. А может, это и показалось. Военный министр производил впечатление хмельного, хотя в это и можно было верить, ежели помнить, как давеча, нет, третьего дня, он пил из графинчика наедине с самим собою.

Но Чернышев удивления полковника не заметил, а продолжал:

— А хранили вы в нем установления общества, именуемые Русской Правдой, вами лично написанные...

Полковник закрутил головой быстро-быстро, начисто отрицая сказанное, как тягчайший вымысел.

— В сентябре,— продолжал Чернышев,— выходя из Линец на маневры, кому поручали вы на хранение сей портфель, замкнутый, и для чего?..

Тут наш герой оторвался от своей тетради. Павел Иванович провел ладонью по крутому лбу. Было молчание. Члены Комитета разглядывали его как диковину. Авросимов затаился, предчувствуя недоброе, ибо понимал, что круг сужается, что только упрямство полковника-злодея оттягивает конец...

И тут полковник заговорил, и наш герой пришпорил застоявшееся перо.

«В сем портфели никада ни хранилис никакия законы общества...»

«Никогда? Ах он бес! Как же это он?» — подумал наш герой, вспомнив рассказ Аркадия Ивановича, и как толстяк во флигеле лез с вопросами: что он там проповедовал?

Генерал Чернышев протянул графу листок и усмехнулся вполне заметно. Павел Иванович усмешку заметил и тряхнул головой, словно освобождался от наваждения. И уже не ждал приглашения, а сам обреченно так протянул руку за листком, который, словно белокрылая птица, медленно облетел весь стол и опустился, затрепетав, к нему на ладонь.

«А вдруг в сем листке помилование стоит?» — подумал наш герой с надеждой, но тут же спохватился, да и граф глянул на него быстро и с подозрением,

словно запах почуял, черт! Старый черт! Провались ты, сгинь, надоел!

Павел Иванович тем временем бежал взором по бумаге; закончив чтение, с минуту посидел неподвижно, затем сказал еще более устало:

— Я мог, уходя на маневры, дать кому на сбережение этот портфель, в котором хранил драгоценные письма родителей, на случай могущего быть пожара, и считаю, что невинное обстоятельство перетолковано самым несправедливым образом...

Граф Татищев махнул пухлой рукой и нахмурился. И тотчас кинулся Бутурлин к Павлу Ивановичу и зашептал ему на ухо, и полковник пожал плечами, встал с кресла и направился в дальний угол залы, куда ему торопливо подставили другое кресло, усадив его лицом к стене и затылком к происходящему.

Затем распахнулась дверь, и Бутурлин подвел к столу Аркадия Ивановича. Наш герой старался всякими способами обратить на себя внимание капитана, теребил свой вихор, качал головой, ронял перо, но все было безуспешно. Капитан замер у стола, спиной к полковнику, и лицо его изобразило такую смертную муку, что жалость раздирала.

— Ну,— сказал граф,— ответствуйте, господин капитан, обо всем, что вам известно касательно установления, именуемого Русской Правдой...

Аркадий Иванович помолчал, ладное тело его раскачивалось из стороны в сторону, как подвешенное.

«Да неужто можно и сейчас,— подумал Авросимов,— и сейчас бить этого поверженного полковника таким способом?! Да вы покажите ему все допросы, все листки с признаниями! Да не мучайте его и себя!»

— Ну,— сказал граф в ожидании.

Аркадий Иванович увидел Авросимова, и лицо его скривилось.

— Ну,— нахмурился граф, следя за его взглядом.

Аркадий Иванович молчал.

Военный министр шепнул что-то генералу Чернышеву, а сам закрыл глаза, задремал.

— Ну,— сказал генерал Чернышев.

— Я уже имел честь докладывать неоднократно...— выдавил бравый капитан,— имел честь... неоднократно...

— Ну, ну,— подтолкнул его Чернышев.— Сдается мне, были вы решительнее...

— Ваше высокопревосходительство,— сказал Аркадий Иванович,— я постараюсь, ваше высокопревосходительство, постараемся...

— Ну,— сказал граф.

— С того времени, как полковник Пестель принял меня в злоумышленное общество, он был со мной откровенен...

«А чем вы ему, сударь, платите за откровенность?» — подумал наш герой.

— ...и неоднократно читал мне черповые законы Русская Правда...

Пестель был недвижим.

— ...и другие сочинения, рукой его писанные, поясняя словесно все то, что могло ознакомить с целью и планами злонамеренного общества...

«...с целю и плаными общества...» — писала рука нашего героя, немея от напряжения.

Так говорил капитан, все более выпрямляясь, переставая раскачиваться, словно собственные слова излечивали его от недомогания, которое минуту назад сгибало его жилистое тело, и уже загорались цыганские глаза, и уже на нашего героя глядел он не вопрошающе, а снисходительно, а может, и с любовью, трудно было понять. Он говорил все громче и громче,

и даже правая его рука сорвалась со шва и изогнулась, выдавая темперамент капитана; ах, ему уже было легко, минутный страх улетучился, сгинул, уже ничего не было слышно, только голос Аркадия Ивановича, счастливый и звонкий, словно он пел свои малороссийские песни, и две руки взлетали одна за другой, и вместе, заставляя метаться пламя свечей, отчего тени сидящих метались тоже, словно отплясывали под музыку капитана...

— ...Ежели благоугодно будет вам, господа,— пел капитан,— удостовериться в этой истине, то повелите прибыть кому-либо в сельцо Балабановку, где расквартирована вверенная мне рота, и я укажу место...

Павел Бутурлин вперил свои стальные глаза в лицо капитану, но Аркадий Иванович, встретив его взгляд, продолжал неудержимо и отчаянно, и в этом было даже что-то восхитительное, потому что редко ведь бывает возможность увидеть человека, раскрывшего свою душу, а тут, на — поди, никакой узды.

— ...Майор Лорер и денщик Савенко,— пел капитан,— по замечанию моему надо мной надсматривали!.. Майор Лорер, преданный Пестелю, много раз приходил ко мне и разными изворотами в разговорах старался узнать мысли мои об обществе... Он говорил, что в Линцах есть от правительства шпион...

Песня Аркадия Ивановича становилась все торопливее и сумбурнее, но на горячем лице было столько вдохновения, что и упрекать его за торопливость было грешно.

— ...Полковник Пестель бумаги свои спрятал в бане, а Лорер сжег сочинения Пушкина...

Это уже была не песня, нет, это была полная вакханалия, ежели вам угодно. Голос Аркадия Ивановича взлетел до предела, он звучал пронзительно,
 словно серебряная труба кричала тревогу или сбор...

Уже невозможно было уловить истинный смысл, а так, отдельные слова, вразнобой, каждое само по себе вырывались из-под мягких усов капитана и ударялись о стены. Можно было подумать, что по залу начинается ураган — так металось пламя свечей, — что сейчас рухнут стены под давлением этого голоса, жаждущего простора, которого тут не было, ибо откуда ему быть в крепости, простору, откуда? Можно было подумать, что это последний день света наступил внезапно — так дрожало все и колебалось перед взором нашего героя, который и строчил, и глядел, и мнение свое обдумывал, и ужасался, и ликовал вместе с поющим капитаном. Воистину, милостивый государь, и может быть впервые в том мрачном убежище отчаяние человеческое звенело с таким невообразимым ликованием. И казалось, что нет у капитана рук, а только — крылья, сильные и стремительные, и они несут его вместе с его ликованием по залу. Свечи горели неизвестным огнем — зеленым, красным, синим, огонь был высок, по светло-коричневым стенам раскинулись розовые фигуры, и то ли под колеблющимся пламенем, то ли сами по себе они шевелились под музыку капитана, изгибались, тянулись друг к другу...

А капитан все пел, захлебываясь от своего счастья, так что белые зубы его посверкивали и цыганские глаза вращались все скорей да скорей; ведь все вокруг были свои, и здесь можно было петь и даже надрываться, потому что ужасы прошлого схлынули, и от песни, от ее чистоты, высоты, звонкости зависело будущее...

Все были свои...

Ах, поглядели бы вы на эту картину глазами нашего героя! Как все кружилось, вертелось, взлетало, замирало и заново вспыхивало, поддавшись этой

песне, сперва медленно и враскачку, а после — стремительно понеслось все по залу, задевая столы, опрокидывая свечи! Люди плясали за спиной у неподвижного полковника, нелепо вскидывая руки, полузакрыв глаза, словно подражали розовым фигурам на коричневых стенах, и все перемешивалось: золото эполет и аксельбантов, серебро галунов и подсвечников, черные глаза и красные щеки, малиновые портьеры и белые ладони, все, все.

Вдруг неистовая песня капитана оборвалась, словно ее и не было, и все с грохотом повалились на свои места, и наш герой выпустил из потных пальцев скомканное перо, похожее на задушенного птенца.

— Я надеялся,— тихо произнес Аркадий Иванович,— что они, оставив пагубные заблуждения злодейского своего общества и возвратившись к обязанностям верных сынов отечества, конечно, не откажутся подтвердить мое показание.

В этот момент лицо капитана было опять спокойно, глаза его источали грусть.

— Стало быть, вы не могли смириться, наблюдая злодейство изо дня в день? — спросил генерал Чернышев.— Стало быть, вам, как истинному сыну отечества была забота раскрыть заговор и тем самым прервать его дальнейший злонамеренный ход?

«Дальнейший хот...» — вывел наш герой.

— Истина,— глухо подтвердил Аркадий Иванович.— Я, ваше сиятельство, еще с детства...

— А что, господин капитан,— оборвал ход его рассуждений генерал Левашов,— что вам показалось в сочинении, именуемом Русской Правдой, составленным вашим бывшим полковым командиром? Действительно ли в нем уделялось место гибели царствующего дома или речь шла только об упразднении существующего порядка вещей?

— Нет, ваше высокопревосходительство,— откликнулся капитан со свойственной ему живостью,— самое что ни на есть убийство, ваше высокопревосходительство, самое что ни на есть злодейское, что и привело меня в трепет и дало мне сил притворствовать на протяжении года, хотя я притворству обучен не был... Убийство, ваше высокопревосходительство! Стал бы я тревогу-то бить, кабы что другое?..

Бутурлин за креслом графа весь искривился мучительно, и нашему герою даже показалось, что тонкая его рука поднимается ладонью книзу... Он глянул на Авросимова.

«Ну что? — как бы вопрошали его глаза.— Каков, а? Что же теперь?»

«А что же вы деликатные какие были? — взглядом же ответил наш герой.— Разве есть теперь вам прощение?»

«Вы, надеюсь, имеете в виду полковника-злодея?» — горько усмехнулся Бутурлин.

«Эх, Бутурлин, Бутурлин,— едва не заплакал наш герой,— как нас волны-то несут! Куда?»

Покуда шел этот молчаливый, но выразительный диалог, Аркадий Иванович спокойно покинул залу, а Павел Иванович уже сидел в своем кресле у стола, опустив голову...

9

Теперь я позволю себе оставить его в печали и сомнениях, лишенного наконец своей сатанинской силы, и воротиться ненадолго к прелестной Амалии Петровне, которую мы с вами оставили у полночного окна в ее квартире почти двое суток назад. Неужели, спросите

вы, она провела у того же окна двое суток, не смея отойти от него и безуспешно борясь с бурей в своей душе? Не знаю, да это меня и не интересует. Возможно, что она и покидала свой печальный пост, предаваясь делам будничным и необходимым, а может быть, и нет. Важно, что застали мы ее на том же месте, где покинул ее наш герой после не совсем вразумительной беседы с нею. Я даже мог бы поверить в то, что она не сомкнула глаз все это время, ибо в лице ее заметно потускнели признаки очаровательной молодости и здоровья, и синие круги под глазами придавали этому лицу вид отчаяния и невыразимой муки.

Но когда бы вы могли заглянуть поглубже, не придавая значения внешнему виду, вы были бы поражены, поняв, какие тайные силы бушуют в этом хрупком и утонченном молодом существе, какие океаны разлились, затопив жалкие повседневные страсти, открыв простор страстям вечным и значительным.

Что я понимаю под этим? А вот взгляните-ка, извольте.

Не успела полночь вступить в свои права, не успел за углом (как любят выражаться в старинных сочинениях) глухо прозвенеть колокол в церкви Ивана Предтечи, как дверь в гостиную, где пребывала Амалия Петровна, тихо растворилась, и человек, лица которого вы бы не смогли рассмотреть в темноте, вошел и, поклонившись ей, остановился.

— Были? — деловито спросила она, едва поворотив к нему голову, словно знала, что он войдет.

— Был, любезная Амалия Петровна,— едва слышно ответил он.

— Ну, что он?

— Боюсь огорчить вас, но худо, любезная Амалия Петровна. У меня так вовсе отчаяние: зачем они

так его мучают? Уж сразу бы сделали, чего нужно...

— А что нужно? — холодно спросила она.

— А что им нужно?.. Они его в солдаты разжалуют, не миновать...

— Разжалуют, — печально засмеялась она. — Сдается мне, вы обольщаетесь, не вышло бы хуже...

— Что же может быть хуже, любезная Амалия Петровна?

— Ах, сударь, как вы все наивны! — воскликнула она. — Как вас ничто ничему не учит. Мне кажется, что я одна все вижу, и сердце мое сжимается от боли. С кем, с кем ни говорю, все настроены легко, праздно...

— Какая уж легкость, какая уж легкость, господи боже.

— А что, друг мой, — после продолжительного молчания проговорила она, — не лучше ли ему не запираться?.. Да вы присядьте.

— Я уж постою... Теперь и впрямь лучше бы ему не запираться, когда все раскрылось...

— Как же это раскрылось?

Он медленно опустился в кресло и застыл.

— Ну, чего же вы молчите?

— В душе у меня чего-то порвалось, как я на все насмотрелся, как он им доверял, а они его выдают...

— Кто это они? Что же они так?

— Кто по страху, кто еще по чему...

Она вдруг отошла от окна и, прошуршав платьем, остановилась возле самого его плеча, и коснулась его кончиками пальцев.

— Друг мой, я вижу, как все это причиняет вам боль, как это вас мучает, да мы с вами теперь уже не можем сетовать... Уж так. Теперь нам с вами нужно что-то предпринимать, чтобы добрые имена оградить от страданий. Я слышу, будто кто-то велит мне это.

— Вы о нем говорите? — со страхом спросил он.

Снова тянулось молчание, потом она вдруг сказала:

— Мне стоит большого труда удерживать Владимира Ивановича от безрассудств. Он ночует у себя в полку, я знаю, как он там убивается и плачет за любимого брата, как он там мечется меж братом и государем...

— Я бы рад помочь вам,— сказал он.— Да вы приказывайте.

— Все ведь от Аркадия Ивановича началось! — вдруг крикнула она.— От капитанишки этого! — и зашептала горячо: — Вот кабы умолить его покаяться, чтоб взял обратно свои слова. Ах, он жестокий человек! Я бы готова была унизиться, кабы верила, что он откажется от своих наветов... Нет, нет, он не откажется...

— Он об государе пекся, любезная Амалия Петровна.

— Дитя вы. Да у него этого понятия и в голове-то нет. Просто злодейство!.. Ну что от него ждать, от капитанишки этого?.. Вот кабы графа уломать... Вы бы его могли уломать? Нет, вы дитя...

— Я его боюсь,— признался он,— графа боюсь. Да он меня и слушать не станет.

— Ну ладно,— сказала она спокойно.— Капитанишка этот, фарисей, у дядюшки вашего остановился, да? Вот вы меня к нему и везите, друг мой, везите...

И она стремительно полетела по темной зале, с ловкостью и грацией огибая кресла и столики, а он, вскочив, кинулся за нею следом, готовый служить беспрекословно.

Сани быстро были поданы. Они уселись рядом, тесно. Кони понесли.

— Я по ночам как еду, все графа встретить боюсь,— сказал он из-под меховой полости,— каждую ночь с ним о том, о сем беседую, весь в поту... Чего ему от меня надо?

— Вы бы лучше возвращались к матушке своей в деревню, чем так переживать... Впрочем, погодите еще немного.

Кони летели во всю прыть. Черное небо неслось над ними, не отставая.

Теперь позвольте вас спросить, милостивый государь, известно ли вам, что побуждало прекрасную Амалию Петровну вот так скакать в темени по Санкт-Петербургу? Что касается меня, то я навряд ли смогу вам объяснить это, хотя вижу по вашим глазам, что любопытство ваше поумерилось, ибо все разговоры да разговоры, а где, мол, история сама, где ее развитие? Вы, конечно, надеялись, что уж ежели я даму упомянул, а молодой человек мучается по ней тайной страстью, то пора бы, кажется, и прояснить их отношения, ан нет, ничего такого не происходит, и кони мчат по ночным улицам, пофыркивая, и все. А мне, скажу вам не таясь, прискорбно это знать, что вы поустали. Я был об вас лучшего мнения. Но ничего не поделаешь, и чтобы слушателя не потерять, пусть даже такого, как вы, я вам подпущу приключение, чтобы огонь в ваших глазах вспыхнул снова. Ах, не думал я, что и вы из тех людей, которые любят, чтобы поскорее свадьба или там гибель чья-нибудь, а уж затем можно и следующую историю. Мне бы, конечно, прервать мой рассказ (да будьте вы неладны), но я, воспитанный в долготерпеньи, перебарываю в себе эти слабости и буду рассказывать все как было, только маленькую уловочку себе позволю, хотя знаю, что потом буду раскаиваться.

Так они летели сквозь ночь, она полная нетерпения, готовая к поединку, вся пылающая от предвкушения борьбы, и он, слабеющий от ужаса перед лицом событий, в которых даже мы с вами, искушенные люди, могли бы запутаться, а о юнце что и говорить.

— Кабы вы согласились поехать в деревню ко мне,— вдруг сказал он,— вы бы там все позабыли, там такая красота и тишина.

— Вы дитя совершенное,— сказала она.— Совсем дитя...

— Сегодня мне Павла Ивановича жаль стало, как они все на него навалились. Потому что я благородства не увидел в том...

— Ах, зачем он всем жизнь испортил! — воскликнула она.— Но я его люблю, оттого и страдаю. Я бы его сама наказала, кабы моя воля, за эгоизм его, что он всех так подвел. Да я ж его люблю, и Владимир Иванович его любит. Владимир Иванович даже говорит, что, мол, зачем ему награды всякие за участие в деле против мятежников, когда брат его любимый в крепости томится!..

— А когда бы Павел Иванович тоже в Петербурге участвовал да на площадь вышел, Владимир бы Иванович тоже против него скакал бы? — спросил он.

— Вы ужасы какие-то рассказываете,— возмутилась она,— не смейте так, не смейте!

В голосе ее послышались слезы, и это больно в нем отозвалось. Вот плачет она. Касается его плеча и плачет, словно его и нет рядом. То есть, они так сидят в тесных санях, что сделай он одно движение, и она тотчас окажется в его объятиях, покуда там призрачный ее супруг дежурит день и ночь в казармах и о брате своем мучается.

— Я бы вам в деревне страдать не давал, любезная Амалия Петровна,— проговорил он вполголоса и

слегка отклонился от нее. Но она качнулась в его сторону, и снова они сидели тесно. Сердце его оборвалось. А ведь тесно так, что и не уследишь за ее лицом, прикрытым мехом. Он сделал вид, что устраивается поудобнее, и снова отклонился, но она опять к нему припала тяжелее прежнего.

«Радóсть моя несравненная! — подумал он.— Как будто ты моя навеки, и всегда была...»

И он выпростал вдруг из-под полости руку и потянулся к ее щеке, полный благоговения, и прикоснулся. Кони несли. Щека ее показалась ему пылающей. Он провел по ней ладонью. Амалия Петровна засмеялась печально или заплакала — было не понять.

— Уедемте отсюда! — с горячностью зашептал он.— Уж как вам будет хорошо! Там — травка шелковая, солнышко...

— В январе травка? — удивилась она.

— Да что там в январе... Какой там январь!.. Я бы все для вас делал, чтобы вам не страдать... Мы бы с вами кофий пили на веранде. Ромашки бы собирали. Смеялись бы вволю...

— Какой он однако, Павел Иванович,— проговорила она с грустью.— Как он все перепутал. Сидите смирно, друг мой. Я все об этом думаю, а что вы говорите — не слышу,— и качнула головой, отстраняясь от его ладони, затем продолжала: — Несколько лет назад они оба посещали мой дом, оба брата, и оба мне внимание свое выказывали. Скажу вам откровенно — Павел Иванович восхищал меня более, чем брат его... Ума он выдающегося и благородных принципов, и что-то в нем было такое, что судьба моя вот уж должна была решиться, однако я Владимира Ивановича предпочла, ибо семья, друг мой, это — не заговор. Видите, как я не ошиблась? — и вдруг спросила: — А что Аркадий Иванович? Он что, так и

говорил, рассказывал все? Прямо на глазах у Павла Ивановича?

— Так все и рассказывал.

— Ну и что он, плакал при этом? С болью он это все?

— Нет, любезная Амалия Петровна, какие уж тут слезы. Мне прямо крикнуть хотелось, что, мол, как это вы так! Ведь вы же его любили!..

— Ах, если б я могла с бедным моим братом в его каземате сыром повидаться! А вдруг капитанишки дома нет? Поскорее бы!

Плечи ее затряслись, послышались всхлипывания. «Это невыносимо! — подумал он.— Убьет она себя так-то...» И он рванулся к ней снова, чтобы увидеть ее лицо, потянулся губами, чтобы осушить ее слезы, и оттуда, из-под медвежьего меха, из-под полости пахнуло на него теплом, жаром, ароматом любви, расслабленностью женской, безумием.

— Опомнитесь! — вдруг сказала она голосом Милодоры.— Вы же мне чепец порвали! Что это с вами?

— Я люблю вас,— задыхаясь выговорил он.

Она резко к нему повернулась.

— Вы совершенное дитя, потому я вас прощаю.

Вы, милостивый государь, очевидно, уже догадались, что описываемый молодой вздыхатель был не кто иной, как наш герой, который, смею вас уверить, не то чтобы ощущал себя в привычных условиях, оставшись наедине с дамой своего сердца, если судить по его поведению, а, напротив, действовал вовсе не по разуму, и голова его не ведала, что творят руки и что вытворяют уста, произнося бредовые свои речи.

Павел Иванович, бывший предметом их огорчительной беседы, когда бы только мог наблюдать эту сценку, наверное, усмехнулся бы, видя, как наш ге-

рой, едва по нем не плача, пытается обхватить свою спутницу, прижаться к ней пожарче, ибо сам Павел Иванович, будучи человеком другого склада и постарше, скорбя о чем-то, не стал бы в тот же момент размениваться на сласти.

— Так мы никогда не доедем! — возмутилась она.— Да вы что же, распорядиться не можете?

— Живо! — крикнул он и ткнул кучера в спину.— А ну давай!.. Сейчас, сейчас, любезная Амалия Петровна, душенька, мигом!.. А ну живей!

Сани остановились у дома Артамона Михайловича, заспанная челядь отпрянула, пропуская ворвавшегося Авросимова и таращa глаза на надменную молодую даму, следующую за ним. Он оставил ее в сенях, а сам кинулся вверх по лестнице.

В коридоре, возле комнаты Аркадия Ивановича встретился нашему герою Павлычко, бледный и трясущийся. Путая русские и малороссийские выражения, он поведал Авросимову, как барин его, воротившись поздно и будучи не в себе, выпил основательно горилки с перцем, взял пистолет, расплакался вдруг и, крепко обняв испуганного денщика, отправился из дому прочь, куда — неизвестно. Авросимов тормошил плачущего Павлычку, умоляя его вспомнить, что говорил барин перед уходом, но все его усилия и мольбы были напрасны.

Однако, когда наш герой, не боясь потревожить дядюшку своего, загрохотал вниз по лестницам, торопясь к своей даме, Павлычко побежал за ним, крича, что он вспомнил, вспомнил ужасный намек, брошенный его барином на прощанье, что, мол, жизнь ему опостылела, что он должен ее прервать, и он это сделает теперь же на народе.

— Как это на народе? — ужаснулся Авросимов.

— На народи,— заплакал денщик.

Тут наш герой, с трудом объяснив Амалии Петровне ситуацию и вспыхнувшую в нем догадку, растолкал ахающую челядь и вывел свою даму на крыльцо. Кучеру он велел скакать во всю прыть на Мойку, имея про себя в виду злополучный флигель.

Сани неслись. Кони покрылись инеем, и пар клубился над ними, застилая Санкт-Петербург.

— Давай, давай! — вскрикивал наш герой, наклонившись вперед всем телом, как бы для облегчения бега.

— Ах этот Павел Иванович, Павел Иванович! Сколько из-за него всякого безумства!.. Да не гоните так, друг мой, мы же опрокинемся!..

— Ничего не бойтесь, любезная Амалия Петровна! Давай!..

— А капитана бог наказал! — крикнула она.

— Давай! Давай!.. Гони!

— Вы только подумайте, как его бог наказал! — и приблизила к нему горячую свою щеку.— Как он все видит!.. Теперь зачем уж гнать, зачем... Теперь только бы убедиться, что это так!.. Сам себе яму вырыл!..

И тут Авросимов явственно услышал, словно выстрел грянул неподалеку, и раздался истошный крик человека.

— Скорей! — крикнул он снова, и ошалевшие кони через какой-то миг уже остановились возле знакомых ворот.

Он помог ей выйти из саней, и они почти побежали к флигелю, возле которого творилось что-то невообразимое...

К дверям было не пробиться сквозь многочисленную толпу. Какие-то мужчины, которых во тьме и узнать-то было нельзя, прямо в мундирах и в сюртуках, несмотря на мороз, женщины какие-то с распу-

щенными волосами, челядь с жалкими свечками в руках... И все это гудело, стонало, восклицало и переливалось так, что и представить себе было невозможно.

Авросимов пытался, не выпуская руки Амалии Петровны, хоть что-нибудь разузнать о случившемся, да никто его не слушал, и как только он к кому обращался, всяк тотчас же отворачивался и принимался восклицать что-то да размахивать руками. Так бы это и продолжалось, кабы вдруг не узнал наш герой в толпе Павла Бутурлина, который громко распоряжался, указывал кому-то: что, куда, зачем...

Наш герой попытался его окликнуть, да не тут-то было, Бутурлин и не оглянулся, увлеченный распоряжениями.

Постепенно устроился порядок, все заговорили глуше, словно устали, и из дверей вынесли тело несчастного, завернутое в шинель. Откуда ни возьмись возникли сани. Тело бережно уложили. Несколько кавалеров уселись возле, и печальный экипаж отбыл. Все потянулись во флигель.

— Ванюшенька, рыбонька,— услышал он вдруг голос Милодоры,— не след стоять на холоду.

Авросимов огляделся. Амалии Петровны нигде не было. Он кинулся за ворота и увидел, как она легко поднялась в сани, как поправила меховую полость, прикрывая ноги, как махнула ему ручкой на прощанье. Он хотел было окликнуть ее, да кони рванулись, и тотчас все исчезло.

Милодора тем временем подошла к нему и, взяв за рукав его покрепче, повела к флигелю.

Приходу его никто не удивился. Все было как прежде, как вчера, как третьего дня, как всегда, наверно. И словно ничего не произошло, словно не отсюда только что выносили бездыханное тело несчаст-

ного капитана. Впрочем, кому тут было его жалеть, когда вчера по щекам ему давали вот здесь же.

Голова у нашего героя гудела. Как был в шубе, так и уселся он прямо на ковер в зале. Тут подлетела Милодора, заставила отхлебнуть из большого бокала, и через минуту Авросимову стало получше, поспокойнее, даже показалось, что он вот так с тех самых пор все и сидит здесь, никуда не выходя, хотя до самого конца уверовать в сие все-таки мешала мысль о недавнем происшествии и время от времени позванивала она, напоминала.

Капитана он не жалел. Может, и в самом деле десница божья до него дотянулась, но в запахе вина и яств, табака и людского пота, в душном и привычном запахе, укоренившемся в этой зале, вился слабый аромат порохового дыма, аромат выстрела вползал в ноздри и в душу. Как же это капитан руку вскидывал с пистолетом? Как выстрел прогрохотал? Как же никто не удержал его, не пресек? Впрочем, зачем пресекать?

Так лениво размышлял наш герой, пригубливая, пригубливая из большого бокала, опустошая его, подставляя его снова неведомо кому и снова к нему припадая. Как же это он руку-то вскидывал?..

Сначала Авросимов намеревался порасспросить ну хоть того же Бутурлина, как все это было, но лень помешала ему подняться. Да и где он, Бутурлин, тоже было не разобрать... Как же это он руку вскидывал с пистолетом? Он нехотя огляделся и увидел Милодору, она лежала рядом с ним на ковре и молча его разглядывала.

— Как же это он руку-то вскинул с пистолетом, Милодорочка? — спросил Авросимов без интереса.

— Как вскидывают? — сказала она.— Взял да вскинул. Пока тут шалили, взял да и вскинул.

— Может, его опять обижали, по щекам били?

— Как же его мертвого обидишь? По щекам били, да он не воскрес.

— Говорил он что перед тем?

— Да что вы, Ванюша, ровно дьякон бубните все? — она зевнула, и глаза ее закрылись.

Он догадался, что она спит.

«Взять бы ее да увезти,— подумалось ему.— Она горячая». Но тут он вспомнил Амалию Петровну. Обиды на нее, как вдруг она упорхнула, не было. Бог с ней. Прекрасная, как ангел, пребывала она сейчас где-то в своих недоступных небесах, а Милодорочка зато вот она, горячая и добрая, даже не укорила его, как он ее из дому из своего спровадил, даже не вспомнила. Он тронул Милодору за плечо, она тотчас открыла глаза и улыбнулась.

— Поехали, прекрасная Милодорочка, радость моя...

И вот они вышли на набережную, в обнимку, словно разлука для них была бы смерти подобна. И нашли, наконец, после всяких блужданий, ваньку замороженного, и тронулись в путь.

Время клонилось к утру. Однако Ерофеича будить не пришлось. Дверь была широко распахнута. Несколько уже поостывшая Милодора входила боком, испуганно. Ерофеич стоял у дверей комнаты с безумным лицом. Серые его бакенбарды отваливались.

Наш герой, почуяв недоброе, ринулся в комнату, позабыв в кухне прекрасную Милодору. Что же предстало перед ним?

На его кровати высокой, разметав подушки, сидел Аркадий Иванович, живой и невредимый, в одном исподнем, с бокалом в руке, из которого тонкая струйка лилась на шелковое пестрое стеганое одеяло.

— А я в а с жду, господин Ваня! — радостно крик-

нул капитан при виде нашего героя.— Я вас т а м дожидался, да они меня снова оскорблять посмели!..

— Это вы? — еле слышно спросил наш герой, хотя сомневаться уже не приходилось.

— А отчего ж не я? — засмеялся капитан, сверкая глазами.

— Там кто-то себя порешил,— сказал Авросимов.— Из дому его на шинели вынесли, да на санях увезли.

В глазах капитана загорелся страх. Бокал он отставил.

— Что это вы такое говорите? — спросил он с ужасом. И вдруг вскочил: — Господи, да неужто Сереженька? Мальчик такой, офицерик... Ага... Он все пистолет показывал, он все говорил, мол, такая штучка, а если нажать, тотчас все мучения... Господь милостивый! Как же это так, господин Ваня? Он меня все задушить хотел своими тонкими ручками, со злобой на меня смотрел... Ах, да я его прощаю! Я и им все прощаю. Я даже им всем подарочки принес, каждому — по свирельке нашей малороссийской... А они все мои подарочки разбросали, побрезговали... Да неужто Сереженька?! Господин Ваня, мне его жалко...— руки капитана тряслись, глаза блуждали, слезы текли по щекам.— Как же это можно с жизнью расстаться? Уйти, уйти, уйти, черт! Разве это не больно?!.. Бесстрашный какой, Сереженька... Поплакал, поскулил и бах-бах... Вы бы так смогли, господин Ваня? Я бы не смог. Я бы никогда не смог. Как его припекло-то, а?.. Аааааа! — вдруг закричал он, расшвыривая подушки, одеяло.— Для чего живем?! Зачем?.. Зачем?! Зачем?!..

Вдруг наш герой услыхал в кухне движение какое-то, топот ног, голоса, и мысль об оставленной Милодоре обожгла его. Он торопливо прошел в кухню.

Милодоры там не было. Ерофеич вопросительно на него поглядывал.

— А я, батюшка,— сказал старик,— памятуя о матушке вашей, велел девице этой безобразной выйти вон.

— Что это ты, дурень старый, в доме моем раскомандовался! — вдруг закричал наш герой, затопал ногами.— Кого на постель мою пустил, сатану смердящего! Что за бесстыдство тут развел! Вот я тебя!..

И погрозив старику, он бросился вон.

К счастью, Милодора не успела скрыться, и ее расплывчатый силуэт маячил поблизости. Да и ванька, слава богу, дремал рядом, так что они снова уселись в сани, снова переплелись, согревая друг друга телом и дыханием.

Утро январское разливалось по Санкт-Петербургу.

10

Так удалился наш герой с любезной его сердцу Милодорой, полный негодования к происшествиям ночи и снедаемый жаром страсти. Так молчаливый извозчик колесил по утреннему Санкт-Петербургу, покуда наш герой не сообразил вдруг ткнуть его в спину, чтобы ехать к Вознесенскому проспекту, к самому углу, где возле канала красовалась новая гостиница «Неаполь», привлекающая внимание путников велеречивым объявлением у самого входа, что, мол, гостиница имеет быть для господ, приезжающих в столицу, пристанищем и прибежищем в их странствиях, где сдаются в лучшем виде отделанные большие и малые квартиры под номерами, и где можно получать и кушанья из самых свежих припасов, равно и напитки превосходных доброт за умеренную цену.

Быстро рассчитавшись с ванькой, Авросимов ввалился в гостеприимную дверь, увлекая за собой заспанную, зацелованную и покорную Милодору, и нетерпеливо переминался и откашливался, пока не менее заспанный человек таращил глаза на молодого рыжего и неукротимого барина, приволокшего с собою сенную девку.

Однако вслух удивляться не приходилось, чтобы не быть битым, хотя гостиничный мальчишка, вертевшийся тут же под ногами, со всею непосредственностью малых своих лет хмыкал, слыша, как здоровенный барин величает сию девку своей супругою.

— Поворачивайся, любезный,— сурово сказал наш герой человеку и отпихнул мальчишку.

Наконец по скрипучей лестнице взобрались они на второй этаж, где в дальнем конце коридора находилась предназначенная для них комната.

Комната была небольшая с широкой деревянной кроватью, застланной пестрым лоскутным одеялом. За единственным окном, полузанавешенным голубой ситцевой шторой, вставала стена противоположного дома. Постель была не первой свежести, на двух плюшевых стульях лежала глубокая пыль. Однако всего этого молодые люди не замечали.

— Ступай, ступай с богом,— сказал наш герой человеку, видя, как тот топчется на месте,— да ступай же.

— Может, велите завтрак принесть, ваше сиятельство? — спросил наконец человек, разглядывая Милодору, как она тяжело уселась на стул, не снимая зипуна своего или там поддевки, или черт его знает чего.

— Ступай, тебе говорят,— надвинулся на него Авросимов, не замечая даже высокого к себе обращения.

Человек скрылся. Дверь захлопнулась. Щеколда стукнула.

— Милодорочка, ангел мой,— сказал наш герой, скидывая шубу,— вот здесь дом наш теперь. Забудем все несчастья.

Она медленно сняла зипун свой, стянула через голову измятое платье.

— Отвернитесь, бесстыдник молодой.

Он отвернулся. И тотчас в голове его, в сумбуре всяком, возник ясный план: тут им предстоит пережить день-другой, а затем бросят все, всю эту столицу с ее безумством, с Пестелем, с судьями, с капитаном чертовым, с самоубийствами всякими, бросят это все, подхватят Ерофеича и помчатся к матушке, и там, только там предадутся наконец утехам любви, радостям деревенским и тишине.

— Да поворотитесь, можно,— сказала Милодора.

...Конечно, Артамон Михайлович первый не одобрит, а может быть, и проклянет, за бесстыдство да за измену посчитав сие бегство, однако пусть он сам хлебнет хоть малость из того, что выпало мне, продолжал размышлять наш герой. Пусть он сам любезного своего капитана милует да берет от него подарочки, пусть он сам кличет его героем, пусть они тут все сами, сами пусть без него...

— Ванюша, рыбонька,— тихо позвала Милодора,— меня в сон ударило. Где же вы?

Тут он вдруг оторвался от своих мыслей и повернулся к ней. На красной подушке белело ее лицо, обрамленное русыми волосами. Под самый подбородок подступало лоскутное одеяло. Там, в пестрой его глубине, Авросимов угадал тело своей возлюбленной, жаркое, ленивое, податливое. Он с трудом удержался, чтобы не закричать.

Под запертой дверью громко, без стеснения хихикал гостиничный мальчик, и легкое облачко пыли медленно подымалось к потолку.

...Опьяненный любовью Авросимов крепко заснул. Прекрасная Милодора последовала его примеру, и в комнате, так странно ставшей им жильем, повисла тишина.

Милодора спала, и две горьких складочки, освещенные встающим утром, явственно проступали возле ее губ.

Ах, милостивый государь, она не была красива, не была! Но разве в нашей власти понять эту странность, когда не красоте мы отдаем свое сердце? С чего бы это? И целый сонм вопросов душит нас, а решать-то ведь не нам, не нам, поверьте, и уж лучше и не предаваться этим напрасным попыткам, а просто любить, обожать, благоговеть, покуда благоговеется...

Итак, Авросимов зевнул, но тут же увидал, как словно некто надвинулся на него и поманил с улыбкою. «Кто вы?» — хотел было спросить наш герой, да не смог вымолвить ни слова, а покорно шагнул за незнакомцем. Так он шел за ним, стараясь все-таки понять, кто же это, как вдруг сообразил: Пестель! На Павле Ивановиче был новехонький мундир, на груди сверкали ордена и всякие знаки. Поначалу они молча шествовали каким-то неизвестным коридором и трудно было понять, когда же закончится это путешествие. «Я же сплю,— думал наш герой,— надо проснуться, а не проснусь, так и буду за ним вышагивать...» Но стоило ему хоть на мгновение замешкаться, как Пестель тотчас оборачивался, прелестно улыбался и манил следом. Так они шли да шли. И стояла тишина, даже шагов не было слышно. И от этого страх подступал к сердцу нашего героя. Как вдруг Павел Иванович скользнул в какую-то дверь и скрыл-

ся. Авросимов попытался войти следом, да не тут-то было: дверь исчезла. Коридор продолжался и терялся где-то вдали, серый и унылый, и лишь в одном месте на гладкой его стене темнело пятно — то ли от воды, то ли от выплеснутых щей.

«Теперь отсюда я никогда не выберусь»,— подумал Авросимов, и сердце его защемило, и холодный пот проступил на лбу. Он хотел уже закричать, позвать кого-нибудь, как вдруг ощутил в правой руке пистолет. «Сейчас выстрелю,— подумал он с отчаянием.— Пусть-ка они сунутся!»

Неожиданно кто-то спросил свистящим шепотом, невидимый кто-то:

— Лежишь?

«Да разве я лежу? — удивился наш герой.— Я вовсе стою в этом неведомом коридоре».

— Давай, ступай отсюдова,— приказал голос все так же шепотом.— Не тревожь барина.

«Какой же барин может быть в этом коридоре? — подумал Авросимов, подымая дуло пистолета.— Пестель — арестант, а не барин... Вот сейчас я выстрелю...»

Но он не выстрелил, а спросил не своим, а как бы женским голосом:

— Куда ж мне идти-то, господи?

— Давай, давай, ну! — распорядился шепот.— Ишь ты...

«А где же Пестель?» — хотел спросить Авросимов, но вместо этого сказал опять женским голосом:

— Да сейчас же, господи... Дверь-то прикройте, бесстыдники какие!

Дверь хлопнула. Наш герой обрадовался, решив, что вот появится Пестель, и все наконец объяснится, но Пестеля не было, а перед ним маячила неясная голая чья-то спина. Он потер глаза — спина была жен-

ская. «Милодора!» — сообразил он. Тут он все вспомнил, и от сердца его отлегло. Ясный день заливал комнату. Милодора глядела на него равнодушно, словно и не узнавала.

— Что это ты, Милодорочка?

— Уйти велят,— равнодушно сказала она.

— Кто это велит?

— Хозяин здешний...

Нет, не была она красива, не была. Да вот поди ж ты...

— Как он посмел! — закричал Авросимов гневно.

Он протянул руку и коснулся ее тела. Спина была широкая, под правой лопаткой чернела родинка неправильной формы. Это умилило его.

— Ванюша, рыбонька,— сказала она,— вы не кричите над ухом-то. Я не виноватая.

— Да я не тебя виню! — распалялся он.— Я его виню!.. Как он смеет! Может, мы отсюда в деревню поедем...— Он стал натягивать на себя одежду.— Вот я его... Вели ему войти, пусть войдет, вот я ему!..

Прекрасная Милодора тем временем одевалась тоже, будто бы и не слыша гневных изречений нашего героя. Одевшись же, она присела на стул, сложила руки на коленях и ждала, что последует.

— А вот я его! — кричал наш герой.— Разбойник! Да как он смеет!

В это время, услыхав, очевидно, шум в комнате, давешний человек просунул в дверь голову, желая полюбопытствовать о причинах сего шума.

Вы бы очень удивились, кабы сами наблюдали эту сцену, ибо, как вам известно, не в манерах Авросимова были крик да буйство, но тут, видимо, природное здоровье изменило ему, либо он умышленно дал волю накопившимся страданиям, которые давно искали выхода себе, во всяком случае, едва голова человека за-

качалась в дверях, как что-то громадное, ревущее, загородив свет оконный, бросилось на него, и не отскочи он вовремя, лежал бы на полу в коридоре его хладный труп.

Наш герой, взъерошенный и без галстуха, вывалился в дверь и скачками помчался по коридору вдогонку за убегающим паршивцем.

Человек покатился вниз по лестнице, повизгивая на ходу от ужаса, слыша приближающийся грохот рыжего чудовища.

— Караул! — завопил он и нырнул в чулан. Тут бы ему и конец, да задвижка спасла.

Какие-то люди, оказавшиеся в сенях гостиницы, хором принялись увещевать Авросимова, не решаясь, однако, к нему приблизиться. Наступила тишина. Человек за дверью затаился. И это все подействовало на молодого человека благотворно, и он вдруг словно очнулся от кошмара и провел рукой по разгоряченному лицу, и перед ним раскрылись гостиничные сени и какие-то люди благородного вида, толпившиеся в отдалении и с опаской на него взирающие. Тут он стал осознавать, что поступок его постыден, вспомнил об оставленной Милодоре, возвел очи и застыл пораженный: по неширокой лестнице сходил в сени спокойный и трезвый знакомый гренадерский поручик.

Наш герой бросился к нему. Они встретились как старые друзья.

Должен повиниться пред вами, милостивый государь, что в спешке, которая иногда сопутствует моему повествованию, совсем упустил из виду сказать вам фамилию гренадерского поручика, с которым вас сталкивал и с которым еще предстоит встречаться, а посему лучше поздно, чем никогда, так что фамилия ему была Крупников.

Так вот встретились они как старые друзья и по-

сле соответствующих приветствий Крупников спросил нашего героя:

— Что вы тут делаете, Ваня?

На это Авросимов ответил, что появился в этом доме с целью переночевать, и что хозяин оказался человеком непорядочным, и он, Авросимов, вознамерился его проучить, хотя теперь уже поостыл.

— Да плюньте, Ваня, на это,— посоветовал Крупников.— Охота вам мараться? — и в свою очередь спросил нашего героя, что его занесло в этот дом ночевать.

— Обстоятельства,— таинственно шепнул наш герой, не желая подробностей.

Крупников засмеялся, подмигнул ему, обнял за плечи и повел к выходу, шепнув на ходу:

— Ну как Милодорочка?

Вопрос поверг нашего героя в замешательство, ибо он никак не мог предположить, что его ночное путешествие может кому-либо быть известно.

— Откуда вы об том знаете? — ахнул он.

— Знаю, сударь, знаю,— снова засмеялся Крупников.— Мы, гренадеры, все знаем. Нам нельзя не знать, сударь. Так что вы впредь сему не дивитесь...

Слова эти замешательства не рассеяли, и, видя это, Крупников спросил:

— А у вас, я вижу, любовь?.. Я вижу, вижу по вашим глазам.

— Полюбил я Милодору,— признался Авросимов, с умилением представляя, как она сидит там в комнате на стуле, руки сложив на коленях.— Я увезу ее в деревню, и все тут. Жить без нее не могу.

Крупников засмеялся снисходительно.

— Ей-богу, сударь,— сказал Авросимов.— Вы что, не верите? А я утверждаю, что это так... И матушка моя будет рада... Мне эти мучения, сударь, эти муки

городские не по плечу... Мы уедем отсюдова прочь. Мне и славы этой не нужно, когда здесь все — тайна и мрак, и драка промеж собой.

Поручик снова засмеялся, потеребил черные свои усы и сказал:

— Да вам же показалось, что вы любите. Это почью возьми и покажись. Вы дитя совсем. Да она же простая девка, да к тому же не молодая, да она старая просто... Это друг наш Браницкий, толстый такой, ты его помнишь, это он придумал для шалости, а вы возьми и поверь. Какое безумство в вас! Да вы ступайте, ступайте, в лицо ее взгляните. Я вас представлял себе дитем, но уж не таким, сударь. Вы ступайте, ступайте, полюбуйтесь на свою избранницу... Да у нее и зубов-то половины не хватает... Ступайте...

— Жалкие ничтожные люди! — воскликнул наш герой с негодованием.— Да это вы взгляните на нее, вы все, которые ее осуждаете!

Крупников в сердцах махнул рукой, но, видимо, желание помочь нашему герою все-таки взяло верх, и он, погасив обиду, сказал:

— Ваня, да что же это с вами? Вы человек благородный. Вас прекрасные партии ожидают... Вы лучше велите ей домой отправляться, а то не миновать ей конюшни... Сышите?

Люди, толпившиеся в сенях, разошлись постепенно кто куда. Испуганный человек выбрался из чулана и упрямо полез на второй этаж. Авросимов его даже не заметил.

«Какие такие партии? — подумал он.— Мне о н а нужна да и только. И конюшни я не допущу, вот крест святой... Я этого Браницкого к стеночке-то припру...»

— Вы намекаете, сударь, на то, что она не принадлежит мне? — спросил он у Крупникова.— Да что

за печаль? Я выкуплю ее. А за конюшню бог накажет.

— Ваня,— сказал поручик с сожалением, но твердо,— образумьтесь. Что это тебе приспичило? Грязная девка, чужая, дворовая. Да я раз с ней оскоромился, ей-богу, будучи невменяемым, и все они такие же... Черт вас возьми, да что это с тобой?! Ты только представь себе: у вас же ничего общего... Вы, сударь, просто безумец... Ты безумец, Ваня. Да ты к ней трезвый и не прикоснешься...

«Сейчас подымусь наверх,— подумал упрямо наш герой,— дверь затворю, ее раздену, сам разденусь, ляжем с ней и будем так весь день лежать в объятиях, ну их всех к черту...»

— Ну платок ей подарите от щедрости своей или сережки бирюзовые,— сказал Крупников издалека.— Времена нынче не те, чтобы обществу вызов делать.

Тут Авросимов очнулся от своих видений и спросил:

— А отчего, господин поручик, вам, гренадерам, надлежит, как вы изволили высказаться, обо всем знать?

— А может, я не гренадер,— засмеялся Крупников, показывая из-под черных усов большие яркие свои зубы.

— Как то есть?

— А вот и Милодорочка,— сказал Крупников.

Авросимов оглянулся. По лестнице спускалась Милодора в сопровождении того самого гостиничного человека.

В первую минуту наш герой намеревался было броситься к ней, но что-то заставило его сдержаться, затем он оглядел ее всю с ног до головы и ужаснулся своему выбору. Голова у него закружилась в отчаянии. Он перевел просительный взгляд на Крупнико-

ва, но тот смотрел в сторону, словно ничего и не происходило.

Тем временем Милодора, не замечая никого из присутствующих, вышла, и дверь за ней захлопнулась. После нескольких минут молчания поручик сказал Авросимову:

— Надеюсь, вы хоть дали ей денег на извозчика? Нехорошо ей в таком виде шествовать через город...

Слова эти больно стегнули нашего героя. Он опрометью кинулся из гостиницы, но сколько ни вглядывался в пустынный проспект, Милодоры нигде не было. Так он постоял некоторое время и, удрученный, воротился обратно, но и Крупникова не застал. Человек сказал Авросимову, что господин поручик заторопились по делам и велели извиниться перед молодым барином.

Авросимов шагнул вон, так и позабыв свой добротный столичный галстук в злополучном гостиничном номере. А был он воистину злополучен, ведь надо же было в нем возгореться и в нем же угаснуть высоким чувствам, хотя угаснуть они могли и в будущем — какие против того гарантии? Лично у меня с моим-то опытом, милостивый государь, таковых гарантий ну просто нет да и все тут, так какие-то крохи, самая ничтожная малость...

Привычно вошел наш герой в ворота крепости и направился по утоптанной дороге через двор к комендантскому дому. В те поры двор крепости представлял собой любопытнейшее зрелище, ибо вы могли наблюдать множество всякого народа, особенно женщин благородного вида, медленно прохаживающихся из конца в конец или стоящих в скорбных позах. Все они были родственниками схваченных мятежников и иногда вот так по целым дням топтались

на морозе, чтобы или челобитную изловчиться вручить какому-нибудь важному лицу, или, что было еще важнее, встретиться с самим узником — братом своим, отцом ли, супругом ли, которого проводят медленным печальным шагом под повязкою в комендантский дом на следствие, и перекинуться паройдругою слов, если конвой окажется великодушен.

Надо вам сказать, что уже изрядно дней, входя по своему делу во двор крепости, наш герой встречался с этими несчастными, и даже попривык их видеть, так что, не застань их однажды в обычных положениях, очень, наверное, удивился бы; но среди молчаливого этого сборища он давно уже успел заприметить и выделить стройную высокую молодую даму всю в черном, печальный силуэт которой всякий раз вспыхивал перед ним, стоило ему войти в ворота. Заприметил он ее не потому, что была она как-то уж там особенно сложена, хотя сложению ее многие могли бы позавидовать; и не потому, что лицо ее поражало совершенством, нет... Но стояла она всегда в одном и том же месте у самого угла соборной ограды, всегда в стороне от грустных своих соплеменниц, всегда с лицом, обращенным туда, где тянулись стены Никольской куртины, страша своими мрачными окнами, и всякий раз, стоило войти в ворота, как она оказывалась на виду,— вот что запоминалось. Она, конечно, могла бы показаться даже девочкой-подростком, кабы не туалет дамы и недетская скорбь в лице.

Наш герой, входя во двор, норовил сделать крюк, чтобы пройти от нее поближе, хотя это не всегда было возможно, так как явное приближение и бесцеремонное разглядывание легко могло сойти за наглость, к чему Авросимов приучен не был. Но когда это оказывалось возможным, он видел мельком ее лицо, полуприкрытое черной кисеею, и легкое таинственное

ожесточение возгоралось в нем и как бы вливало в него новые силы.

Прекрасно, милостивый государь, ожесточиться при виде скорби, однако так, чтобы рук при этом не опустить, а почувствовать себя человеком...

Вот и на этот раз, войдя, он тотчас же ее и узрел. Слегка прислонясь спиной к ограде, она стояла на своем месте неподвижная как изваяние. И снова он, сам того не желая, бессознательно как-то, чуть свернул со своего прямого пути, как вдруг она заволновалась, отклонилась от ограды, протянула вперед руки, и Авросимову даже почудился легкий стон, выпорхнувший из ее груди.

Он глянул вслед за ней. Через крепостной двор, мимо собора, по утоптанной многими ногами снежной тропе, медленно двигалась печальная процессия. Конвойные солдаты лениво несли ружья, уже привыкнув к своей роли, и зимнее солнце неровно играло на штыках. Высокий худой юноша шел впереди. Из-под фуражки выбивалась черная прядь, похожая на распростертое крыло раненой птицы. На сей раз, что было удивительно, платка на лице не было.

Наш герой узнал молодого человека, ибо сталкивался с ним в Комитете в начале следствия. Фамилия ему была Заикин, это помнилось весьма, ибо имелось известное противоречие между утонченными и благородными чертами офицера и его фамилией, как бы из простых. Господи, но как же он переменился с тех недавних пор! Теперь это был изможденный и даже несколько сутулый арестант, и плохо выбритое желтое его лицо с ввалившимися щеками даже отвращало, да и весь его вид, помятый и несвежий, сразу напоминал о сырости каземата, о преступлении, о казни, о том, что все перевернулось, и это не дурной сон, который можно развеять.

Еще совсем недавно при первой встрече в Комитете наш герой при виде молодого статного подпоручика с дерзкими глазами испытывал гнев, да и как было не гневаться, когда перед вами возник злодей с бледным от волнения лицом, но неукротимый в своем упрямстве? Однако теперь, словно майское облачко, рассеялся этот первоначальный гнев, потому что, сколько ж можно гневаться на прибитого и уничтоженного врага? Да и враг ли? Ах, сколько соблазнов нас подкарауливает на пути нашем! И мы только тем и отличаемся один от другого: поддались или не успели. Уж коли поддались, так те, которые еще не поддались, нас судят и здраво так об сем рассуждают, не замечая, как и к ним исподволь подступает соблазн и хватает их за сердце, и тогда уж мы камни в них мечем и улюлюкаем, и анафеме предаем. Ведь предаем? И всем, всем это грозит, всех соблазны подстерегают... А императора?.. На сей вопрос Бутурлин бы рассмеялся, хотя это печально. Печально, что все ведь это — игра, в которую от скуки играют. И все генералы играют, потому что, как только кончут играть, так тотчас же от всего их генеральства одни мундиры да эполеты останутся. И конвоиры эти играют, а иначе их запорют, если они скажут, что это все, мол, игра, а чего в нее играть, коли пахать надо. Все, все играют, кто пока от соблазна свободен, судят соблазненных, казнят их...

Эта мысль и другие ей подобные мелькнули в голове нашего героя с быстротою молнии, за тот краткий промежуток, когда пленный подпоручик Заикин не успел и трех шагов проделать.

И тут снова, словно глубокий стон вырвался из груди молодой дамы, и она пошла к нему навстречу.

Узник остановился пораженный, и подобие улыбки озарило его черты. Конвоиры смешались. Ав-

росимов, неведомо как, очутился рядом с ними в тот самый момент, когда молодой человек и дама сблизились. На груди у Авросимова под шубой шевельнулся английский пистолет. Да что пистолет? У вас бы сердце шевельнулось, когда бы вы там очутились хоть на мгновение.

Что они успели сказать друг другу и успели ли, Авросимов не заметил, но тут же один из конвойных, опамятовавшись, шагнул меж ними, и наш герой увидел ее лицо, полное тоски и отчаяния. Он было бросился к ней, чтобы проучить бедного конвоира, но было поздно. Заикина уже вели к комендантскому дому, и он только и мог, что шею выворачивал, оглядываясь на свою возлюбленную, и кивал ей, кивал... Она же снова стояла неподвижна.

— Не плачьте, сударыня,— сказал наш герой как можно ласковее.

Тут она взглянула на него своими круглыми глазами, в которых не было ни слез, ни скорби, а гордый вызов, один лишь гордый вызов.

— А вы-то кто, чтобы меня утешать? — сказала она.— С чего вы взяли, будто я плачу? — и снова стала глядеть вослед подпоручику, который уже входил в здание.

— Я помогу вам,— сказал он упрямо.

— Мой брат не нуждается в вашем участии.

— Вы прикажите только,— и он стянул шапку с головы.— Вы только прикажите... Как у меня сердце горит, чтобы помочь вам! — и рыжие его космы вспыхнули вдруг, приведя ее в некоторое изумление.

Он вдруг увидел себя в ее глазах. Он стоял в них, большой, без шапки, румяный от молодости и мороза.

Она качнула головой и пошла к воротам крепости.

— Сударыня,— тихо позвал он,— смилуйтесь, сударыня... Я не обманщик.

Она уходила. Тогда наш герой, боясь потерять ее, шагнул следом, но она, видимо, услыхала, как скрипнул снег под его ногами, и заторопилась.

Тут-то его, недоумевающего, и застал Павел Бутурлин и потащил в комендантский дом, журя за медлительность, ибо там судьба его, быть может, складывается наипрелестнейшим образом...

— Каким же это? — не понял наш герой.

— А ты иди, иди, Ванюша,— загадочно усмехнулся Бутурлин.— Лови момент, лови момент... Чем это ты угодить-то смог?

В скором времени все это выяснилось, как только ввалился наш герой в комнату, служившую временным кабинетом правителю дел господину Боровкову.

— Ну-с, вот так значит,— сказал Александр Дмитриевич,— повезут завтра подпоручика Заикина в Малороссию, дабы он указал место сокрытия одного ужасного документа...

В небольшое окно кабинета виднелся крепостной двор, ворота, в которые скрылась сестрица подпоручика, полная тайны и волшебства, хотя могло и так случиться, что она уходить раздумала и вот-вот вернется...

«Вот и опять о подпоручике речь,— подумал наш герой,— судьба мне с ним связанным быть»,— и обрадовался при этом.

— ...ужасного документа, именуемого Русскою Правдой,— продолжал меж тем Боровков и при этом странно улыбнулся одними губами.— Я хочу дать вам понять, что вы должны в сем предприятии участвовать тоже, и участвовать вы в нем должны с трезвой головой и с ясным сознанием, проникшись всей ответственностью дела.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие,— сказал
 наш герой, словно он был и не дворянин вовсе, а так

некто, и при этом он снова покосился в окно: а вдруг она появится.

«Истинно судьба,— подумал он.— Вот и мне с ним, с подпоручиком ехать, а он мне как брат».

— Я что имею в виду,— сказал Александр Дмитриевич, снова улыбаясь одними губами и пристально всматриваясь в глаза нашему герою,— вы преотлично грамотны и поможете составить опись найденного и различные донесения, кои могут понадобиться...

Во дворе постепенно темнело, и она не появлялась. Зато множество других печальных женщин передвигалось по двору в надежде на удачу.

— ...Начальником команды вашей будет ротмистр Слепцов,— сказал Боровков.— Поедете затемно, в тайне. Я что имею в виду: преступника ублажать не следует, но и не игнорируйте, ежели он почему-либо упираться станет, смягчите его, смягчите.

«Не старый еще,— подумал наш герой о Боровкове,— а в каких правах!»

— Вот как повезло тебе, Ванюша,— сказал, усмехаясь, Бутурлин, когда они вышли.— Какое тебе доверие.

Голова у Авросимова слегка кружилась, и усмешка Бутурлина пришлась ему не очень по душе. Да и времени теперь до отъезда оставалось совсем ничего. Но не успел он в своей канцелярии как следует позаниматься перепискою бумаг, как совсем завечерело, и его снова кликнули к Александру Дмитриевичу.

Боровков встретил его своей редкой ускользающей улыбкой, которая загоралась и тут же гасла, словно ее и не было, и при этом была столь слаба, что думалось: а улыбка ли это? А может, вовсе и не улыбка, а подергивание губ?

— Ну-с,— сказал Боровков,— я вот что хотел уточнить с вами, любезный,— и он улыбнулся,— что

же это вы, любезный, упустили из фразы важное слово? Гляньте-ко, гляньте-ко, было «злонамеренное тайное общество», а у вас — просто «тайное общество»? Позабыли-с?

— Виноват,— пролепетал наш герой,— и точно позабыл, виноват...

— Не винитесь, не винитесь, сударь, это я вам в острастку говорю... Не дай бог,— и он улыбнулся,— попадет сия ошибка на глаза членам Комитета!.. Хорошо еще, что одна. Не так ли, сударь?

За окном уже было темно, только несколько фонарей помаргивали, ничего вокруг не освещая.

— Верю,— сказал Александр Дмитриевич,— что это недоразумение,— и снова улыбнулся.— А я листаю ваши бумаги, листаю, глядь — пропуск. Я весь по́том, сударь, за вас покрылся. Ведь не предлог пропущен бесполезный или какое-нибудь там междометие... нет, характеристика, сударь. Представляете, что могло бы выйти?

— Представляю,— прохрипел наш герой.

— Уж тут я начал поспешно так искать, нет ли второй ошибки подобной. Ведь ежели одна, она и есть ошибка, а коли две да одинаковых? Это ведь уже система, сударь,— и он улыбнулся.— Пособничество в укрытии злого умысла...

— Одна, одна,— сказал Авросимов.

— Одна ошибочка, одна,— согласно закивал головой Боровков.— И вот я листаю, и что же вы, сударь, думаете? Вот глядите-ко, глядите-ко, где допрашиваемый свидетель капитан Майборода Аркадий Иванович определенно высказывает, что, мол, заговор, вот глядите-ко, глядите-ко, его рукою написано: «сие ужасное скопище заговорщиков», а у вас? «Заговорщики» и только. Пропало отношение, пропало...

— Дозвольте я исправлю,— сказал наш герой, холодея.

«Как же это я допустил?!» — подумал он с ужасом, протягивая руку к перу.

— Я сам исправлю,— улыбнулся Боровков и, взяв перо, понес его к листу, но не донес и отложил на прежнее место.

— Позвольте мне, милостивый государь. Черт попутал...

— А я уже исправил. Вот так хорошо будет.

— Да как же так? — удивился Авросимов.— Вы же и не вписывали ничего!

— Нет, вписал,— сказал Александр Дмитриевич и долго глядел в глаза Авросимову.— Вписал...— и улыбнулся, словно наслаждаясь страхом нашего героя.

Так они молча смотрели друг на друга. То есть Александр Дмитриевич смотрел, а Авросимов подставлял ему под взгляд то щеку, то другую, то лоб.

— Я что имел в виду,— сказал Боровков,— а может, и не нужны эти словесные украшательства? Следствие — акт серьезный, сударь.— И он улыбнулся.— Вы сие отвергли, а в этом есть резон. Вы отвергли сознательно? Сознательно. Вы не эмоциями руководствовались. А ведь эмоции нас могут закружить да не туда завесть, сбить с толку. Поняли вы меня?

— Нет,— выдохнул Авросимов.

— Да вы поняли, поняли...

— Нет, нисколечки...

— Я что имею в виду,— сказал Боровков терпеливо,— а именно вашу честь и будущность...

— Виноват,— сказал Авросимов.

— Да я не виню вас. Ежели это сознательно, то

это одно, а ежели по глупости, то совсем и другое,— и он улыбнулся.

— Не знаю,— еле слышно выдавил наш герой, моля бога, чтобы это был сон.

— Да я не виню вас,— сказал Боровков,— напротив, видя ваше замешательство, я не нахожу ответа: можно ли на вас полагаться?

«Где уж тут на меня полагаться!» — подумал Авросимов.

День был воистину ужасный. Авросимов ничего в толк не мог взять, покуда долгое сидение за бумагами не притушило волнения. Он так стал размышлять: «Почему же правитель дел не внес исправлений? Значит, наказать меня хочет. Членам Комитета показать бумаги: вот, мол! А зачем же он мне поездку доверяет, составление важных документов? Значит, ценит? А чего же он тогда...»

Это истязание продолжалось бы долго, и, может быть, согнуло бы нашего героя, как вдруг вручили ему новые опросные листы, что Комитет заготовлял для преступников, и приказали нести их к Пестелю в каземат и там, не вступая со злодеем в откровенные разговоры, забрать у него уже ранее им составленные ответы на прежние вопросы, доставить их в следственную, а ежели что в новых вопросах будет ему неясно, разъяснить и только.

«Чертов полковник! — подумал наш герой, забирая листы и шагая по коридору к лестнице.— Из-за него все, из-за него! Не зря они все его корят, все его бывшие дружки!.. И подпоручик бедняга из-за него в каземате сидит, и сестрица его, ангел, из-за него по двору мечется, и мне муки... чертов полковник!»

Разгоряченный этими чувствами, он так и выбежал во двор на мороз без шубы, в одном сюртучке, с черной папкой под мышкой, в которой новые опрос-

ные листы таили свои каверзы. Быстро перебежал двор, обогнул соборную ограду и помчался к страшному месту, обвеваемый морозным вечерним ветром.

«Не зря тебя судят, злодей, и казнят! — думал он на ходу.— Как ты всем жизни перепутал, враг!»

Для него, молодого да раннего, это было и не удивительно — так с ожесточением воспринимать все, что было вокруг, словно все это получалось по причине пестелева злодейства, ибо тут и взрослый сильный человек мог пошатнуться во мнении — не то что юнец.

Вы только поглядите, милостивый государь, каково-то ему было из всего выпутываться, что на него навалилось: с одной стороны, стало быть, сердечное кипение, всякие планы, эдакий взлет душевный, а с другой — страдания, зависимость и страхи.

И чем больше вырисовывался перед ним мрачный силуэт крепостной стены, тем сильнее охватывали его ожесточение и гнев, и так вот, сопя и бормоча проклятия, заиндевевший весь, сопровождаемый морозными клубами, словно духами ада, размахивая черною папкой над рыжею головой, ввалился наш герой в караульное помещение, временно оборудованное в одном из казематов куртины, где большой фонарь, свисая с потолка, странно освещал покрытые зеленой плесенью своды. Дежурный офицер развел руками, ибо по позднему времени уже не имел ключей, а находились они по недавно установленному порядку у плац-майора Подушкина, некоронованного короля сих казематов, имя которого, и без того знатное, утвердилось окончательно, благодаря возмущению, происшедшему в недавнем декабре.

Дежурный офицер поманил за собой Авросимова, и они направились к плац-майору.

Несмотря на поздний час, плац-майор бодрство-

вал. Сильный запах водки исходил от него. Человек он был большой и грузный, и неопрятный, но это нашего героя не смущало, ибо детей с ним крестить он не собирался.

— Теперь мне, сударь, ни сна, ни покоя,— рассказывал плац-майор, копошась в связке ключей и приспосабливая ее, чтобы удобнее нести.— Никто теперь без меня никуда-с. Государственные преступники — это, конечно, само собой, так ведь их много, сударь, много! Да все не в себе, с капризами...

Теперь уже втроем они шли по направлению к первой стене. Снег поскрипывал под ногами.

— ...Прежде всего ублажи,— говорил плац-майор, медленно и с одышкой вышагивая,— подай, возьми, накорми... А знаете, сударь, каково аристократа-то ублажить? Черного хлеба, к примеру, он не ест... Не спешите, сударь... Да я его уговорить должен... Или вот запри, отопри... На каждого ведь особое предписание: содержать, к примеру, хорошо. Что сие значит? Давать чай, как ни попросит, бумагу, белый хлеб-с, солдата в лавочку гонять, а коли денег у арестанта нет — свои выкладывай, вот как-с... Или, к примеру, содержать строго... Не споткнитесь, сударь, тут приступочек... Чаю не давать, бумаги не давать, масло в лампе вышло — не давать, шуметь не давать... Или, к примеру, содержать строго, но бумагу, буде понадобится, и перо давать... А ведь это, сударь, все на мне. Сначала, сударь, бывает трудно, покаюсь. Они все разные. После же, по прошествии времени... Теперь сюда пожалуйте-с, вот так... а по прошествии времени приспосабливаются, и уж мне полегче тогда, полегче... В общем, не заскучаешь, сударь.

Они прошли ворота и остановились перед нешироким деревянным мостком, освещенным двумя фонарями. Здесь Авросимов еще не бывал. За мостком на

островке виднелось мрачное одноэтажное здание Алексеевского равелина, за темными окнами которого, казалось, не было жизни.

— Слуууушай! — крикнул дежурный офицер. Спустя некоторое время что-то щелкнуло, что-то прогремело, прозвенело, и перед ними появился унтер-офицер в сопровождении инвалидного солдата. Они перешли мосток, разглядели плац-майора и молча повели его и Авросимова за собой к равелину, оставив на этой стороне дежурного офицера.

Сердце у нашего героя билось учащенно. Подошвы трудно отставали от примятого, утоптанного снега. Хотелось бежать отсюда куда глаза глядят.

Наконец звякнул болт, распахнулась калитка, и они все так же молча вошли в окованные двери. Перед нашим героем возникло сводчатое помещение. Множество фонарей почти не освещало его. Дальше была дверь. За дверью — коридор, под углом уходящий куда-то. Было слышно, как где-то звонко и скучно ударяется капля о камень. Пахло почему-то березовым веником да водкой от плац-майора.

— Вот вы обратите внимание, сударь,— сказал Подушкин хриплым шепотом,— обратите внимание, сколько их... Весь этот коридор, да там еще, за тою вон дверью, а за тою — опять, да с двух сторон, и все ведь комнатки, комнатки, нумера-с, сударь... Раньше на все про все — два, три несчастных, а тут навезли без счета, и все ведь, сударь, я, все мое...

И в самом деле, потянулись двери камер, и солдаты, обутые в валяные сапоги, и фонари с оплывшими свечами, и снова — запах березовых веников, гнили, прогорклого масла, водки...

И вдруг Авросимов даже замедлил шаги, так знаком показался ему коридор. Будто он тут и взаправду бывал уже, среди этих серых однообразных стен, в

этом длинном коридоре, полном вздохов и шорохов, не имеющем, казалось, конца. Ах, да он же вспомнил! Вспомнил недавние свои сновидения, когда возник перед ним длинный серый коридор, где еще пятно расползлось по стене то ли от воды, то ли от выплеснутых щей... И тут в самом деле он вдруг узрел то самое пятно, точно такое же, как во сне, и именно от щей, ибо засохшие капустные остатки, налипшие на стену, теперь хорошо были видны. И пока плац-майор Подушкин, заметив недоумение нашего героя, желтым пальцем соскребывал со стены эти остатки, огорченно покачивая головой, Авросимов находился как бы в столбняке, не умея увязать яви и сна.

— Солдат споткнулся, пролил,— сказал плац-майор шепотом.— А так все аккуратно... Вот солдат пролил...

Капустная полоска никак не хотела отрываться от стены и даже желтому скрюченному пальцу плац-майора не поддавалась долгое время, как вдруг оторвалась и плавно так, словно засохший лепесток розы, опустилась на каменный пол.

— Готов,— снова шепотом удовлетворенно сказал Подушкин и вытер палец о штаны.— Все на мне в этом доме, сударь,— и сильнее запахло водкой.— А теперь пожалуйте сюда.

Стража замерла поодаль. Ключ в замке прогремел. Щеколда ужасно заскрипела.

— Я, сударь, здесь погожу, а вы не сознавайтесь обо мне, а то требовать начнут-с, то да се, не дай бог... Ступайте...

И он растворил дверь камеры и слегка подтолкнул нашего героя.

Теперь наш герой стоял перед распахнутой дверью, за которой ему показались мрак и отсутствие жизни.

Теперь за ним, за его спиною, был уже один мир, в котором шепотом переговаривались тюремщики, а впереди — другой, где горел масляный светильник.

Там, в неясном, желтоватом зареве грустного этого приспособления расплывалась над столом согбенная фигура.

Авросимов-то вошел быстро, но ему самому показалось, что прошло долгое время, и дверь захлопнулась, как только он вошел, но скрежет еще долго висел в воздухе.

Перед нашим героем сидел полковник-злодей и словно читал, однако книги перед ним не было и бумаги никакой — тоже.

В одно мгновение тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове Авросимова, одна пронзительнее другой. Вот он сидит в своем последнем дому, страшный человек с маленькими глазами, который решился потягаться с государем. Но с государем тягаться невозможно, ибо, едва об том шевельнется мысль, как тотчас Павел Бутурлин и их сиятельство граф, и плац-майор Подушкин, и он сам, Авросимов, накинутся, свяжут и потребуют ответа. Разве он не знал об том? Куда ж он шел? Чего же добивался? На что надеялся гордец, возомнивший о себе бог знает что? Друзья от него отворотились, их сиятельство его боится, а раз боится, стало быть сотрет, Авросимову он душу возмутил, и только крепостные казематы еще источают для него свое сырое тепло, балуют его и коварно покоют в своих стенах. Зачем же?!

Как он шагнул вперед, наклонив голову, словно рассвирепевший бык — на красное, он и не помнил. Это была свирепость от горя и испуга, и боль клокотала в этом неопытном теле, когда он взмахнул рукой, так что железная кружка отскочила прочь, как безумная, и затарахтела по каменному полу в тишине.

Можно было подумать, что наш герой сейчас обрушится на пленника и задавит, но тарахтение злополучной кружки вдруг отрезвило его, и он замер.

Павел Иванович глядел на него вполоборота. Вдруг он легче тени скользнул с табурета, поднял кружку, подал ее нашему герою, а сам покорно воротился на свое прежнее место.

Ах, как бы вам, милостивый государь, увидеть это! Увидеть, как злодей, имеющий даже сходство с французским узурпатором, сгибался над тюремной кружкой и подносил ее как бы даже с поклоном нашему герою, оцепеневшему в своей нежданной роли. Ах, он всего мог ожидать: и молчания, и гнева, и презрения, ну, наконец, пинка сапогом по кружке, ну, скажем, полковник мог ведь наклониться с достоинством и поставить кружку на стол, или там бог знает чего еще... Но чтобы вот так!..

Теперь, после всего этого, Авросимов и не знал, что ему делать: то ли сказать что, то ли молча подать бумаги.

«Зачем же в ноги-то кидаться! — воскликнул он в душе.— Уж взялся, так держись.— И снова резкая боль его пронзила: — А что я-то могу?»

Пестель увидел обращенные к нему глаза Авросимова, в которых бушевали огоньки лампадки пополам со страданием.

— Господин полковник,— сказал Авросимов,— извольте принять опросные листы.

Павел Иванович с тою же поспешностью, что и прежде, выхватил папку с бумагами из рук нашего героя и зашуршал листами, поднося их совсем близко к пламени светильника.

Авросимову показался он еще ниже, чем в Комитете, да и нанковый халат был ему не по плечу, и не-

леная эта фигура вызывала больше сожаления, нежели гнева.

Тут наш герой вспомнил рассказы Майбороды и попытался представить себе полковника прежним, то есть в мундире, в лосинах, с холодным взглядом и с дерзостью в мыслях.

Павел Иванович читал опросные пункты, шевеля губами. Веселое племя рыжих прусаков взапуски носилось по столу. Авросимов смахнул одного на пол.

— Покоя от них нет,— пожаловался Пестель.— Есть смирные, так тех не видно, а этим, что ни делай, ничего не помогает.

— Надо бы плац-майору сказать,— посоветовал Авросимов.

Павел Иванович усмехнулся:

— Разве это в его власти? Над прусаками он бессилен.

«Кабы я был на его месте,— подумал наш герой,— я бы не упорствовал, не гордился бы, я бы государю в ноги упал».

Авросимов явственно увидел себя самого одетого в полковничий мундир, и как он валится в ноги царю: «Помилуйте, ваше величество!» Но царь глядит на него с недоверием, поджав губы.

Пестель протянул нашему герою ранее заполненные листы.

— Извольте.

И вдруг что-то, видимо, показалось ему в глазах Авросимова, что-то привиделось. Он выхватил их обратно, торопливо перелистал, склонившись к светильнику, и нашел, и принялся перечитывать.

«...все говорили, что Революция не может начаться при жизни Государя... и что надобно или смерти его дождаться или решиться оную ускорить... Но справедливость требует также и то сказать, что

ни один член из всех теперешних мне известных не вызывался сие исполнить; а напротив того каждый в свое время говорил, что хотя сие Действие может статься и будет необходимо, но что он не примет исполнение онаго на себя, а каждый думал, что найдется другой для сего».

— Отчего же так? — словно спросил кто-то с насмешкою. Но кто спросил, было не понять. Рыжий писарь стоял ни жив, ни мертв, боясь пошевельнуться; небеса были далече, за толщей сводчатых потолков.

Павел Иванович закусил губу и быстро повел перо по чистому листу, не обращая внимания на Авросимова.

«...Большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный совершить: Рассудок может говорить, что для успеха такого-то предприятия, нужна смерть такая-то; но еще весьма далеко от сего умозаключения до самаго покушения на жизнь: Человек не скоро доходит до таковаго состояния или расположения Духа чтобы на смертоубийство решиться; во всем соблюдается в природе постепенность. Дабы способным сделаться на смертоубийство, тому должны предшествовать не мнения, но *Деяния*; из всех же членов теперешняго Союза Благоденствия ни один, сколько мне известно, ни в каких отношениях не оказывал злобных качеств и злостных поступков или пороков. Посему и твердо полагаю я, что ежели бы Государь Император Александр Павлович жил еще долго, то при всех успехах Союза, революция не началась бы прежде естественной его смерти, которую бы никто не ускорил, несмотря на то, что все бы находили сие ускорение может быть полезным для успеха Общества. Сию

мысль объясняю я при полной уверенности в совершенной ея справедливости».

Он поставил точку, удовлетворенно вздохнул и ощутил на плече худенькую руку Евгения Оболенского, и услыхал его голос:

— Я вижу, как вы обольщаетесь, но мне, черт возьми, хочется вам верить. Приятно чувствовать себя сильным, вы не находите?.. Хотя я не говорю вам «да», учтите, не говорю, дайте срок, мне по сердцу ваша неукротимость, но я не знаю, то есть о себе я не знаю; это, наверное, справедливо, но я не знаю...

— А вы не боитесь, что именно нерешительность сыграет с вами однажды злую шутку? — спросил Пестель холодно.

— Не знаю,— сказал Оболенский и исчез, и голоса потухли.

Павел Иванович простился с ними с умилением и болью, и снова протянул Авросимову исписанные листы, теперь уже с поправкой.

— Извольте...

— Завтра, на рассвете,— сказал Авросимов шепотом,— повезут подпоручика Заикина бумаги ваши искать.

Пестель стоял, опустив голову. Желтый прусачок мирно спал в складке его халата. Масло в светильнике еле слышно шипело.

— Я думал, вы меня ненавидите,— удивленно сказал Павел Иванович и улыбнулся.

Авросимов шагнул было к двери, но резко оборотился.

— Я жалею об вас! — вдруг крикнул он.— Жалею! Жалею! — и распахнул проклятую дверь. Но это был не крик, а тоскливая мысль, забушевавшая в нем на мгновение.

Дверь захлопнулась со скрежетом. Пламя светильника вздрогнуло. Золотой клинок, изящно искривленный, заколебался в воображении Павла Ивановича, тускло сверкнув, напомнив недавнюю юность. Он виделся недолго и исчез, словно короткая усмешка фортуны, знаменующая ненадежность любви в этом мире.

«Хотя,— подумал узник,— страдание тоже не вечно»,— и поежился.

Я, милостивый государь, позволю себе высказать вам свою мысль, которая давно во мне утвердилась, но которая, когда возникла, волосья мои подняла дыбом.

Что же это такое? — рассуждал я по секрету.— Полковник Пестель призывал своих сообщников так все переворотить, чтобы рабство сломать и многим русским людям дать жить по-людски, а не по-скотски. Прав был Пестель или нет? Злодей он или пророк? Вот оно самое главное-то и следует. Ежели он не был прав, зачем же наш нонешний государь, я вас спрашиваю, дал народу волю? Стало быть, Пестель был прав? Ах, милостивый государь, а ежели он прав был, ежели прав был, за что же его так позорно казнили?!.

Это я открыл для себя и вам первому сообщаю по большому секрету, и тут я вижу, как вы бледнеете. Но вы погодите и слушайте дальше. Значит, в сем вопросе полковник был не злодей, но пророк. Это мы с вами установили. А государь?.. Тут сердце мое трепещет и содрогается. Он повелел казнить пророка! Вы говорите, мол, за цареубийство, но какое же цареубийство, которого не было? За намерения? Ах, милостивый государь мой, мы же не дети! Злодеем или глупцом был покойный наш государь? Ежели глупцом, а Россия тому примеры знает, значит, нельзя

 было великой стране на его благодеяния рассчиты-

вать. А ежели злодеем, ибо не внял пророку и вверг народ свой в долгое страдание, стало быть, и сам он достоин худшей участи. Вот до чего я додумался на досуге. Предвижу, как вы будете негодовать попервоначалу, но поверьте мне, подумав хорошо, вы сами к тому же придете. Вы не подумайте, ради бога, что я себя пророком мню. Нет, нет. Но сильные мира сего страсть как не любят пророков, ибо пророки своим предвидением их престиж умаляют. И тут-то, в ослеплении, пророка они казнят, а уж после того переворачивают жизнь, как пророк предсказывал, и эти предсказания выдают за свои. Спрашиваю его, что же это, мол, вы пророка отвергли, а теперь то же самое творите, что он велел? Предвижу ответ, что, мол, тогда не время было сие творить и пагубно, а нынче, мол, самое время... И так мы отговариваемся, милостивый государь, угождая собственной амбиции и тем самым замедляя движение жизни.

Теперь, думаю, пора нам с вами вернуться к нашему герою и к повествованию, печальному, но поучительному.

— Позвольте, сударь, я с вас прусачка сниму,— сказал плац-майор, когда они выходили прочь из страшного того места.— Вы удручены-с... Это я понимаю. По первому разу всегда так. Даже преступник, которому казематы наши — дом родной, и тот, сударь, пребывает в долгом оцепенении, а уж коли свежий человек-с, тому и подавно, хотя я, например, к такому порядку привык, и мне, сударь, сдается, что у нас как бы и не трудно-с,— он вдруг засмеялся чему-то своему: — А что, сударь, пожалуй, мало таких мест в Санкт-Петербурге, чтобы сразу столько знатных господ знакомство со мной водили, хотя я вам по секрету скажу-с, прежних узников я больше обихаживал: когда мало их, на каждого щедрости моей

помногу приходится. И вот некоторые из них помнят мои благодеяния и не брезгуют здороваться, сударь, ну как там кому сподручнее, а некоторые гордятся. Ермолов, пока тут в прежние времена в заточении был, никак без меня не мог-с: я ровно нянька его обихаживал, а вышел — и не замечает-с...

Нынче в следственной преступников не допрашивали, и Авросимов, сдав бумаги, тут же отправился к себе на Васильевский, дабы подготовиться к трудному пути.

Спеша по ночной улице мимо редких колотушников, он ощутил, как что-то скользнуло по его животу и мягко упало в снег. Он нагнулся и увидал свой английский пистолет.

«Дурная примета»,— подумал Авросимов, поднял пистолет и направился было далее, но тут зловещий экипаж военного министра, взвизгнув полозьями, вылетел из-за поворота и преградил ему путь.

Трудно сказать почему, но вместо того, чтобы перепугаться, как обычно, наш герой вдруг успел подумать, что ежели рукопись Пестеля найдут, то устроят вокруг нее безумство, и тогда уж полковнику ни гордость не поможет, ни фортуна.

«Как же это я спросить его растерялся, об чем у него там написано, что все они охотятся за ней, словно за последней уткой!» — подумал он сокрушенно, видя, как распахивается оконце в экипаже.

— Подойди-ка, любезный,— приказал граф.— Опять полуночничаешь? Небось, уже всех барышень перепробовал?

Авросимов лихо подошел, но обрюзгшее лицо графа, пронзительные глаза и странный вопрос быстро выбили дурь из его головы.

— Ты, любезный, однажды ко мне пожаловать отказался,— жестко сказал военный министр.— Интересно, это гордость у тебя или страх?

— Страх,— просто сказал Авросимов, хотя, ежели вы помните, он и не отказывался от посещения, а даже приходил, когда граф того пожелали.

— А почто у тебя предо мною страх? — без интереса спросил граф.— Я смертен. Все обиды с собой упесу. Кто об том вспомнит?

— Бумага, ваше сиятельство,— с дерзостью ответил наш герой.— Да вам не след беспокоиться. Я, ваше сиятельство, никого обидеть не умею.

— Ух ты какой,— рассердился граф.— И девок не обижал? Такой здоровила да не обижал?

— Никак нет, бог миловал.

— Ты нынче опросные листы к Пестелю носил? Носил, носил. Это я велел тебя направить... Искусить тебя... Ну как он, раскаивается?

«Откуда же ему известно?» — поразился наш герой.

— Мне все известно,— сказал военный министр.— Чего ладошкой прикрываешься? Иди — знай, что у тебя там, под ладошкой. Парле ву франсе?..

— Никак нет...

— Я тоже — нет, а вот не в малых чинах хожу.

«Чего ему надо!» — взмолился про себя наш герой.

— Я вижу грусть в твоих глазах,— сказал граф.— Да ты этим не гордись, любезный. У Пестеля тоже страдание русское, а он немец... Или ты доброту свою показываешь?.. Все вы за моей спиной добрые, канальи!

Тут наш герой увидел, как из-за кареты вышел Павел Бутурлин и молча остановился. Это несколько приободрило Авросимова.

— Ваше сиятельство,— взмолился он, коченея на ветру,— велите мне исполнить, что вашей душе угодно будет! Я все могу. Я только этих разговоров не могу выдержать, как они меня подминают, ваше сиятельство!

— Да ты что? — спохватился граф.— Эк его трясет. Такой медведь, а стонешь.

— И медведю больно бывает,— всхлипнул Авросимов, краем глаза поглядывая на Бутурлина,— когда из него жилки тянут...— Бутурлин улыбался одними губами.

— Да кто ж тебя тянет! — закричал военный министр.— Да как ты смеешь! — и приказал Бутурлину: — А ну-ка, отпихни его прочь. Чего стал!

Бутурлин тонкой своей рукой отпихнул всхлипывающего Авросимова, но толчок был слабоват, так что нашему герою пришлось даже самому отстраниться, чтобы хоть видимость была.

Бутурлин уселся в экипаж, сделав Авросимову тайком ручкой.

— А что это ты за грудь держишься,— спросил граф,— ровно пистолет у тебя за пазухой?

«Как это он знает?» — ужаснулся наш герой, но тут оконце захлопнулось и кони понесли, дыша паром.

После этого нелепого разговора, которого лишь со стороны военного министра, одуревшего от водки и гордости, и можно было ожидать, наш герой, намеревался, наконец, заняться своими делами, но не тут-то было. Войдя в дом, он тотчас же по лицу Ерофеича понял, что в доме что-то неладно, и тут же вспомнил, как вчера капитан Майборода сидел на его постели и пил напропалую. Да неужели до сих пор сидит?!

 И вот, разогревшись решимостью, полный благо-

родной высокопарности, сверкая синими своими глазами, отворил он дверь в комнату.

— Господин Ваня,— обрадовался Аркадий Иванович,— а я вам сучку в презент принес. Я обид не помню, как ваш человек волком на меня глядел... Тут мне, господин Ваня, пофартило в Петербурге, чудный город, а я не могу, чтобы радостью с вами не поделиться.

Авросимову трудно было оставаться с капитаном в одном дому после всех разговоров и намеков, но хохол устроился поудобнее на диванчике и сладко зевнул.

Свечи были погашены. Тени успокоились. Наш герой так устал, что не мог противоречить капитану в его желании остаться ночевать именно здесь. Дремота подступила. Послышался храп Ерофеича.

— Ох, господин Ваня,— вздохнул в этой тишине капитан,— разве ж я знал, що так оно выйдет? Вы не смотрите, что я смеюсь, мне, господин Ваня, страшно...

— Это вы про что? — спросил Авросимов, борясь со сном.

— Да все про то же, господи боже мой... Я ведь думал, как лучше, а видите?.. Всем-то не угодишь. Государю хорошо, а полковнику моему худо.

Сон отлетел прочь.

«Черт бы его побрал! — подумал наш герой.— Эдак я не высплюсь, буду вареный ехать...»

— Вы бы уж спали, Аркадий Иванович. Ночь ведь...

— Да я бы и рад, господин Ваня, ах, не спится... Как вы думаете, что полковнику моему быть может?

Слова падали тихо-тихо, как легкое шуршание травы или кисеи под ветром, но были они отягощены былым безумством, былой горечью...

— Что же это вы все на одного навалились? — прошептал наш герой, зарываясь в подушку.— И друзья и враги...

— Кто враг?! Кто враг, господин Ваня?.. Вы этим поверили, которые меня во флигеле вашем бесчестить пытались?.. Эх, вы... Да вам же полковник-то неизвестен, вы же не знаете, что он замышлял, как же вы можете его сторону брать? Вот что мне удивительно! Я ведь его любил, а как прознал про тяжкий умысел, какая уж тут может быть любовь, господин Ваня? Тут надо выбирать, господин Ваня.

Авросимов, не желая продолжения этого нелепого разговора, притворился спящим, даже всхрапнул.

— Господин Ваня,— зашептал капитан,— а господин Ваня, вы послушайте меня... Мне ваше расположение терять не хочется... Уж как вы представили меня героем, так не раскаивайтесь... Легко ли по лезвию-то ходить?.. Вы слышите? Вот вы себя честным считаете, порядочным, да вы и есть порядочный, господин Ваня, так вот вы же поедете с подпоручиком донесения делать? Разве ж вас за то судить можно? А меня можно, что я отечество спасал?.. Господин Ваня, вы меня слышите?..

Господи, кто же прав-то? Пестель, ждущий своей участи, поверженный, приуготовляемый к казни за любовь к отечеству; капитан со своими цыганскими глазами, получивший пощечины за любовь к отечеству... Кто же?!

— А те, господин Ваня, которые меня по щекам хлестали, разве ж они отечеству не служат? Да вы им прикажите — они тотчас всех бунтовщиков на Голгофу-то и поведут...

— На Голгофу? — поразился наш герой.

 — На Голгофу, господин Ваня... Вот и вы едете,

чтобы полковника уличить. И я его уличил. И ваши друзья. А за что же они меня по щекам-то били?

— За барышню,— сказал Авросимов, теряя остатки сна.

— Ох-хо-хо, господин Ваня, не прикидывайтесь... Ну да я их прощаю, прощаю... Мы ведь все ради отечества да государя стараемся...

Вот, милостивый государь мой, сколько слов всяких об отечестве!

— Поезжайте, господин Ваня, с богом. Привезите сочинение — узнаете, кто прав...

— А ежели его не найдут?

— Найдут! — крикнул капитан с ужасом.— Непременно найдут! — и уже шепотом: — Не может быть иначе. Иначе я лжецом прослыву... Вы что, с ума сошли, говорить такое?

— Я говорю: если...

— Нет, нет, господин Ваня... Тогда я сам в ножки высоким чинам упаду, чтобы меня послали. Я всю Украину перерою, все поля да леса, а сочинение найду... «Если»... Да как же может быть «если», когда моя судьба от того зависит? И судьба нас всех... Да вы знаете, чего там написано? О, он читал мне, читал, господин Ваня! Да и они не отступятся, все генералы и великие князья, и сам государь... Они сами землю рыть будут, господин Ваня, чтоб только найти сей документ...

— Да что же там написано, черт! — не выдержал Авросимов.

— А вот что,— вдруг засмеялся капитан.— В нем описаны способы, как революции производить, как низвергнуть наше христианское государство... В нем много соблазнов, господин Ваня, для молодых людей, таких, как вы и прочие... Уж ежели это вам в ручки

попадет, вы ночей спать не сможете, а все будете думать, как бы жизнь переворотить...

— Пустое вы все говорите, вздор все,— сказал наш герой.— Я не верю вам. Какие такие способы? Ну?..

— А вот какие,— сказал капитан шепотом,— пора бы, к примеру, холопам дать волю, а?

— Может, и пора,— откликнулся наш герой.

— Да с землей... А не боитесь, господин Ваня, сами холопом стать у прежних-то своих холопов?

— Ерофеич! — крикнул Авросимов с дрожью.

Старик вошел неторопливо.

— Хочешь, я тебе вольную дам?

— Ай обиделись, барин? — спросил старик, бледнея.

Аркадий Иванович захохотал, потер руки.

— Велите вашему человеку, господин Ваня, кваску мне дать. Дюже горло у меня сушит...

Ерофеич вышел. Аркадий Иванович продолжал свою беседу, но Авросимов вдруг словно провалился. Голос капитана звучал издалека, все глуше, глуше. А в сердце Авросимова возник страх за кого-то, и этот страх заглушал голос капитана. Вдруг голос совсем исчез. Тут наш герой понял, что очень просто, это он сам завернул за угол. Голос остался там, где-то, за спиной. А впереди снова лежал все тот же знакомый коридор, и наш герой чуть было не побежал по нему, задыхаясь от тревоги за кого-то. «Скорей, скорей!» Наконец снова показалось то самое место, где кто-то расплескал злополучные щи. «Скорей, скорей!..» Он потянулся за пистолетом, но тут коридор заколебался, пошел волнами и исчез. Лишь кто-то печально позвал издалека и смолк. Он открыл глаза. Аркадий Иванович в одном исподнем сидел на краешке его кровати с кружкой в руке.

— Я понимаю ваше нежелание его звать,— сказал он, словно разговор их не прерывался,— его не добудишься... Да я и сам могу об себе позаботиться,— и он отхлебнул квасу.

А кто-то там опять звал, призывал, просил беззвучно и настойчиво.

Тут наш герой подлинно уж разгневался.

— Спите вы! — прикрикнул он на капитана, изменив своей природной деликатности.

11

Две кибитки скользили по укатанному тракту, направляясь на юг. Утро едва занималось, но начало его уже обещало ясный день. Морозец был самый жгучий, накопивший за ночь силу.

Два белых молодых жеребчика, бегущих в первой кибитке, почти сливались со снежными просторами, казалось, кибитка скользит сама по себе, благодаря какой-то чудесной силе. Второй экипаж влекли, напротив, две каурых лошаденки, и заиндевелые их бока придавали им вид фантастических чудищ, беспрерывно взбрыкивающих и тонущих в клубах пара. Благодаря безветрию, снежная пыль подолгу не оседала и висела над дорогой вытянутым серебряным облаком.

Мелькали мимо просыпающиеся деревеньки и барские дома, и грустные кладбища, утопающие в сугробах, и веселые церквушки, каждая на свой лад, на свой манер.

Подпоручик Заикин скорбно покачивался на сидении перед нашим героем, у которого все надежды поспать в дороге разом схлынули, едва только их

усадили в одни сани. Это произошло еще там, в крепостном дворе, и ротмистр Слепцов, адъютант генерала Чернышева, которому было поручено возглавлять предприятие, уселся рядом, и они понеслись в первой кибитке. Теперь два офицера покачивались перед Авросимовым, один в ручных и ножных цепях, другой — вольный. На подпоручике была его обычная военная форма, так что, ежели отвлечься от цепей, можно было бы представить, что это он, Авросимов, арестован, а два молчаливых офицера сопровождают его неведомо куда. Дорога вилась бесконечно, воистину — в неизвестность. Так, разглядывая обоих офицеров, предаваясь всяким размышлениям, которые в нем рождала дорога, наш герой внезапно вздрогнул, пораженный странной мыслью. Действительно, оба офицера, и конвоир, и пленный, были поразительно меж собой схожи, если не считать одеяния. Оба молодые, с лихорадочным румянцем на щеках, одинаково задумчивые, даже печальные. Пожалуй, ротмистр был несколько постарше, но эта разница не мешала видеть в них братьев.

Минуло часа два, как вдруг ротмистр Слепцов наклонился к пленнику и принялся, орудуя маленьким ключом, сымать с него цепи, которые, робко позвякивая, смирно укладывались на сиденье рядом со своим недавним обладателем.

Авросимова поразила эта процедура, и все, все, все минувшее, милостивый государь вы мой, снова показалось ему игрой, которую вот сейчас почему-то решили прекратить, дабы не зайти слишком далеко.

— Благодарю вас,— сказал Заикин с недоумением, растирая запястья.

— Так вам как будто полегче,— смущенно улыбнулся ротмистр.

«Слава богу,— подумал наш герой с облегчением,— как хорошо-то стало. Ах, так бы вот всегда! — и он взглянул на подпоручика: — Господи, как же он на сестрицу свою похож! Так же горд и нежен».

Авросимов глубоко вздохнул, и оба его попутчика тотчас же на него воззрились.

— Кабы ничего этого не было,— сказал наш герой дрогнувшим голосом,— ну этого всего... Ну там всего этого печального происшествия... а кабы мы могли с вами вот так запросто отправиться втроем... ну, скажем, к вам, господин ротмистр, в имение, ну и там нас, натурально, ждут...

Заикин насупившись глядел в оконце.

— ...Погода чудесная,— продолжал Авросимов, вдохновляясь.— Стол накрыт. Милые люди выходят встречать нас. Все нам рады. Могло бы и так случиться.

— Вы поэт,— засмеялся ротмистр.

Тут наш герой поглядел на подпоручика и подумал, что, может, и неучтиво так-то вот разглагольствовать, когда у человека горе, хотя он с самыми добрыми намерениями, от глубины сердца, старается развлечь этого человека в беде... Да кто его знает, в самом-то деле, виноват ли он? Может, он как лучше хотел, а его в злоумышленники записали... Ах, господи боже мой, хоть бы кто ответил, не томил бы!

— Нет, уж вы продолжайте, продолжайте,— попросил ротмистр,— вы уж с подробностями, что да как, тем более, что нам действительно через мою усадьбу проезжать...

Тут Заикин снова с недоумением быстро глянул на ротмистра.

— Да, да,— сказал Слепцов торопливо,— мы там и ночлег устроим, господа. Зачем же нам в ямской избе душиться?

И снова наш герой заметил недоумевающий взгляд подпоручика, а сам и вовсе преисполнился к ротмистру расположением, ибо вдруг так легко и просто недавние несчастья отступили, и легкое облачко тревоги, которое вот уже несколько дней висело над Авросимовым, причиняя боль, тоже вдруг рассеялось, как и не было.

— Да продолжайте же,— сказал ротмистр.— Покамест вы все точно предусмотрели. Интересно, как у вас дальше получится. Вы и на картах гадать умеете?

— Нет,— засмеялся наш герой.— Это так, совпадение...

— Жаль,— искренне пожалел ротмистр,— мы бы славно вечер провели... Однако продолжайте, сударь, покорно вас прошу.

Авросимов задумался на мгновение.

— А что, может, вы и дом мой опишете? Ну-ка, интересно...

Наш герой, втянутый в игру, напрягся и вдруг увидел явственно перед собой на зеленом взгорке белый помещичий дом, окруженный столетними липами, и красную крышу, проглядывающую сквозь пышную листву. Под взгорком едва колебался пруд, по которому скользили белые лебеди...

— Полноте,— удивился ротмистр,— вы разве у меня бывали?!

Пламя всевидения охватило нашего героя. Он засмеялся.

— А откуда же зелень-то, сударь? — спросил ротмистр.— В январе!

— Да я так увидел,— сказал наш герой.— А что?

— Да нет, все правильно, сударь... Вот только, пожалуй, лебеди...



Печаль сползла с лица подпоручика, и было видно, что он с живейшим интересом прислушивается к разговору своих спутников.

— Ну, дальше,— попросил ротмистр.— Подъезжаем, и что же?

Авросимов вновь погрузился в угадывание. Зелени уже не было. На запорошенном снегом крыльце толпилась дворня. Они вылезли из кибитки. По белым ступеням начали подниматься на крыльцо, обрамленное шестью колоннами, на которых покоился белый портик с облупившейся штукатуркой. Среди дворни, молчаливо приветствующей барина, Авросимов вдруг различил господские лица: какие-то немолодые дамы, барышни с расплывчатыми лицами, кавалеры — то есть их было даже больше, нежели простых людей, то есть они-то как раз и стояли молчаливым полукругом, а дворня была малочисленна, и она жалась к стеночке, к стеночке...

— Все правильно,— засмеялся ротмистр с еще большим изумлением,— только колонн — восемь. А что это за барышни — понять не могу? Какие там барышни вам померещились?

— Милодора,— сказал Авросимов в пространство.

— Почему Милодора? Кто такая Милодора?

— Я и вашу сестрицу вижу там,— сказал наш герой Заикину.

Тот помертвел весь, передернулся бедный подпоручик, провел ладонями по щекам, но попытался улыбнуться все же.

— Ну, дальше, дальше,— нетерпеливо сказал ротмистр.— Ну, стало быть, приехали, так? Ну теперь пропустим лобызания и всякие там разговоры на крыльце... Ладно, пусть Милодора и сестрица гос-

подина Заикина... Вошли в дом, да? Что же видим мы перед собою? Ну говорите, сударь...

Нашему герою предстояло тешить уже не только ротмистра, но он и сам теперь заигрался так, что и остановиться не мог, и воображение его, все более и более распаляясь, распахивало перед ним картины, одна другой невероятнее.

— Тут мы входим в дом,— сказал Авросимов с улыбкою, полною тайны, которая давно уже не озаряла его лица.— Сбрасываем шубы, а должен вам сказать, что вечер близок, и несут свечи, и мы усаживаемся в гостиной у горящего камина...

— А камина-то нет,— засмеялся ротмистр.

—...и пусть, бог с ним. Однако тепло. Скорей, скорей несите нам вина и яств! Несут. Ваша сестрица, господин подпоручик, ее ведь Настенькой зовут? Так вот она...

— Браво! — крикнул ротмистр.

— Черт...— сказал подпоручик с восхищением.

— Она садится между вами, сударь, и мною, мы ведь с ней давно знакомы. «Ты-то как здесь?» — спрашиваете вы.— «А вот так»,— говорит она, а сама смотрит на меня с лукавством. Тут вы, натурально, все понимаете, и вы этому рады, сударь. «Ладно,— говорите вы,— я не возражаю, а ежели что — я сам батюшке в ноги упаду, умилостивлю его, живите, господь с вами...»

— А что, сударь,— вдруг спросил подпоручик, уставясь на нашего героя,— вам и в самом деле Настенька по сердцу или же вы балагурите?

— Не мешайте ему, пусть он рассказывает,— попросил ротмистр.

— Затем,— сказал наш герой, не ответив на вопрос подпоручика,— затем Настенька удалилась, чтобы не мешать нам в мужском разговоре, а мы си-

дим, пьем вино и рассуждаем о всяческих там возвышенных предметах, и ждем гостя, который с минуты на минуту должен объявиться.

— Кто же этот гость? — с удовольствием засмеялся ротмистр.

— Сейчас, сейчас,— проговорил подпоручик,— сейчас он скажет... Вы только ему не мешайте...

— Мы ждем гостя,— продолжал наш герой, обращаясь снова в пространство, как бы и ни к кому.— Наконец он входит к нам. Мы все встаем, потому что невозможно сидеть, когда он входит. Сам он невысок, кряжист, армейский полковничий мундир ладно сидит на нем. Глаза холодны и глубоки. Движения размеренны. Он садится в кресло и сидит, ровно Бонапарт, ногу чуть вытянул...

— Кто же он? — спросил ротмистр хрипло.

Но Авросимов не отозвался. Распаленное воображение безумствовало. Теперь он совсем явственно видел все, что воображал, а попутчики его нисколько не заботили. Они сидели, вытянув длинные шеи и раскрыв глаза. Авросимов даже позабыл, что он в санях, и какая печальная миссия ему предстоит, но видел, как он подошел к таинственному незнакомцу, на ходу оправляя свой майорский мундир, и сказал ему, словно век уже целый был с ним близок:

— Судьба не часто балует нас встречами.

— Полноте,— улыбнулся полковник,— с нашими-то заботами в наш век можно ли видеться чаще? Господа,— обратился он к остальным,— мы все продрогли с дороги, не выпить ли нам чего?

— Пусть ротмистр распорядится,— сказал Заикин.

Покуда люди по приказанию ротмистра подавали, приехавшие уселись поплотнее.

— Я было согласился с вашими республикан-

скими воззрениями,— сказал подпоручик полковнику,— но мысль об непременном цареубийстве столь для меня ужасна, что она меня от вас отдаляет.

— Какая же республика, коли жив монарх, пусть даже бывший? — жестко отпарировал полковник.— Что это вы? Да разве вас кто силой тащил к нам? Вот ротмистр Слепцов полный наш антагонист, так что ж из того? Я могу уважать врагов.

— Какой я враг,— засмеялся ротмистр,— я может быть, более друг, чем вы предполагаете... Я хочу вас предостеречь от неверного шага, но понятия благородства мне не чужды. Я выдавать не способен, господа, я просто вас арестовываю. Я даже понимаю ваш пафос, вы где-то там по-своему правы, и все-таки, господа, когда час ударит... Вы понимаете?.. Но пока вы в моем доме, прошу, господа, откушать.

Аромат гвоздики почему-то распространился по комнате. Все потянулись к бокалам и с наслаждением отхлебнули.

— Вот видите,— сказал ротмистр,— как хорошо мы сидим в тепле и наслаждаемся беседой и вином, а ведь осуществись ваши планы, господин полковник, и ничего этого уже не будет, а будет холод, кровь и братоубийство.

— Вздор какой,— засмеялся подпоручик,— просто вино и другие прелести тогда будут для всех.

— Это вот и есть вздор,— сказал ротмистр,— ибо всем всего никогда не может хватить. Так не бывает. Это же не сказка какая-нибудь. Да и зачем простому человеку то, что привычно нам?

— Ах, не в этом дело,— сказал подпоручик.— Но когда наступит народное правление, тогда один не будет унижать других, тогда наступит расцвет искусств...

— Позвольте,— засмеялся ротмистр,— но народное правление — это ведь тоже власть, а власть, господа, шутить не любит. Сегодня одним плохо, а завтра — другим. Какой же резон в ваших словах?

— Короче говоря, вы исповедуете рабство,— сказал полковник,— но это анахронизм...

— А кто доказал сие? — снова усмехнулся ротмистр.

— Это очевидно,— сказал полковник.

— Нет, нет,— вмешался Авросимов,— я не вижу ни у одного из вас резона, не вижу.

— Значит, вы утверждаете, что республика не может быть без цареубийства? — спросил подпоручик полковника.— Вы настаиваете?

— Это не главное,— ответил тот.— Почему вы все время э т о помните? Вы же п о к л я л и с ь освободить отечество?

— Да, но он присягнул царю,— сказал ротмистр.

— Не беспокойтесь, господин подпоручик,— мрачно усмехнулся полковник,— думайте об избавлении родины от рабства. Царя я беру на себя...

...В этот момент кибитку тряхнуло. Это словно подстегнуло усталых коней, они понеслись пуще, а Авросимов прекратил свои фантазии.

— Кто же этот полковник? — спросил ротмистр упавшим голосом.

— Я знаю,— сказал подпоручик.— Но выдумки вашей хватило не на много, сударь.

— Отчего же? — сказал ротмистр Слепцов.— Ротмистр Слепцов в вашем повествовании выглядит вполне благопристойно. Хотя, что касается таинственного полковника, я-то догадываюсь, сударь, кого вы имеете в виду, это не вполне соответствует истине, уж поверьте.

В этот момент кибитка стала, послышались хриплые голоса, в окошечко виднелась ямская изба, и на утоптанном снегу золотилась раскиданная солома... Пришла пора смены усталых лошадей.

— Поскучайте-ка, господа,— сказал ротмистр и выбрался наружу.

Авросимову совсем было показалось их путешествие мирным, и он готов был фантазировать и дальше, поскольку это доставляло удовольствие его попутчикам, но тут, не успел ротмистр выйти, как тотчас немолодой жандармский унтер, ехавший в задней кибитке, оказался у распахнутой дверцы и полез внутрь, и уселся рядом с Заикиным.

Наш герой как бы очнулся, ибо это напомнило ему о цели их путешествия, что тюрьма не спит, бодрствует. И тут он взглянул на подпоручика. Тот сидел с печальной усмешкой на устах, словно знал наперед, как все случится, хотя, может, и в самом деле знал.

«Вот как наяву-то жестоко все,— подумал Авросимов.— Сидит унтер, будто его кто врыл сюда, и хоть ты убейся,— с места не сойдет, и жилы у тебя вытянет, коли ему велят... А кто он? А он мой соплеменник, брат мой...»

— Хороший день нынче,— обратился к унтеру Авросимов.— Что за охота в кибитке сидеть? Шли бы погуляли.

— Ваше высокоблагородие,— раздельно произнес унтер,— мы уж вернемся — нагуляемся. Нынче нам нельзя-с.

— Простыть боитесь? — спросил наш герой.

— А как же-с,— засмеялся унтер, довольный, что с ним молодой рыжий в пышной шубе господин ведет беседу.— У нас простужаться никак невозможно,— и одними глазами указал на подпоручика,

который словно и не слышал этого разговора.— Я бы и рад прогуляться, да ведь простынешь,— он засмеялся вновь.— Мне перед отъездом строго-настрого велели, мол, гляди, Кузьмин, ежели простынешь!.. Мол, лучше обратно не вертайся — лечить зачнем.

— А больно лечут?

— Ох, и не спрашивайте лучше, ваше высокоблагородие, аж до самых печенок, и не встанешь опосля... Так что лучше я в тепле посижу.

— А зачем же, Кузьмин, так больно-то? — спросил Авросимов, начиная испытывать раздражение и не понимая, отчего оно в нем вдруг пробудилось.— А может, это хорошо, Кузьмин, что так лечут? Может, без этого нельзя?

— Без этого знамо нельзя,— уже не улыбаясь сказал унтер.— Кабы можно было — не лечили. Да я этого избегну.

— А ты сам-то, Кузьмин, других лечил?

— А как же, ваше высокоблагородие, бывало-с. У меня рука верная.

Тут подпоручик резко оборотился к нему. Унтер засмеялся.

— У меня рука верная,— повторил он.

— А не совестно вам рассказывать о своих злодействах? — с гневом спросил Заикин, весь бледнея.

— Так что, ваше высокоблагородие,— подмигнул унтер Авросимову,— как надобность будет, вы не сумлевайтесь: у меня рука верная.

Авросимову захотелось вскочить наподобие медведя и взмахнуть руками, чтобы унтер, прошибив дверцу, летел в снег, и глядеть, как он там будет извиваться, но следующий вопрос подпоручика остановил его.

— Неужто вам так лестны ваши обязанности? — спросил Заикин.

Унтер успел только подмигнуть Авросимову, как дверца распахнулась, и ротмистр Слепцов, румяный и счастливый, предстал пред ними.

— Ну-с,— сказал он,— можно и отправляться.

Тут унтер начал покорно выбираться вон, чтобы уступить место ротмистру, и Авросимов глядел на его напрягшуюся шею, пока он медленно сползал с сидения и протискивался в дверцу, и сердце нашего героя сильно скакнуло в груди, ударилось обо что-то, и он ринулся к выходу... От сильного его толчка унтер рухнул в придорожный снег, распластавшись, и наш герой заторопился следом, будучи не в силах удержаться в кибитке.

— Ба,— засмеялся Слепцов,— что за оказия!

— Ноги размять,— сказал Авросимов.— А ты что же это падаешь, любезный друг? — обратился он к унтеру, который наконец поднялся.

— Ваше высокоблагородие меня толкнули-с маленько,— сказал тот, стряхивая с шинели снег и недобро поглядывая на нашего героя.

— Пьян ты? — спросил, смеясь, Слепцов.— Ступай на место!

Жандарм заковылял к своей кибитке. Золотая соломинка пересекала его спину.

Первое время они ехали молча.

Подпоручик, бывший свидетелем странной сцены, разыгравшейся перед ним, изредка взглядывал на Авросимова; ротмистр, вспомнив о дорожных фантазиях нашего героя, вдруг поник лицом, глаза его сделались печальны и настороженны, счастливое выражение исчезло.

Что же касается нашего героя, то он попросту спал или делал вид, что спит, во всяком случае глаза его были закрыты, голова откинута, а щеки терялись в густом приподнятом воротнике.

И все-таки он не спал, а, полный случившимся, заново все это переживал и изредка поглядывал синим своим торопливым глазом на бедного подпоручика, лишенного даже права постоять за себя.

Тут перед нашим героем возникла давняя сцена в злополучном флигеле, когда прекрасные его, Авросимова, друзья и Сереженька покойный ныне, допытывались у капитана, как же это он смел даму оскорбить, хотя он никакой дамы (вот крест святой) не оскорблял, а посему дергался в разные стороны, не спуская взора с желтой ладони Бутурлина. И вот, вспомнив эту историю, наш герой, конечно, мог преспокойно двинуть псу по его напрягшейся шее, а после спрашивать, что, мол, случилось, и полезть обратно в кибитку, недоуменно пожимая плечами, то есть он так и поступил, да удар был слишком вял (вот жалость!), так, толчок какой-то.

— Простите, господин подпоручик,— вдруг сказал ротмистр,— я вынужден был приказать унтеру занять мое место на время стоянки, хотя сие вовсе не указывает на мое к вам недоверие, а просто инструкция...

— Да уж пожалуйста,— откликнулся Заикин, не поворачивая головы,— поступайте, как знаете, сударь.

— Но вы не должны на меня быть в претензии, ей богу... Давайте-ка обо всем забудем, а попросим господина Авросимова продолжить свои фантазии, а там, глядишь, и моя Колупановка вывернется.

— Эээ,— сказал Авросимов,— я и придумать больше ничего не могу. Ведь вот как стройно все получалось, а тут не могу да и только. А вы, господин ротмистр, стало быть, и мне не доверяете, ежели считаете долгом своим жандарма...

— Да что вы, господь с вами,— обиделся Слепцов.— Но видите ли, какая штука. Ежели, предполо-

жим, преступнику вздумается бежать, и он, ваш пистолет отобрав, вам же его в лоб и уставит, вы ведь, милостивый государь, руки вскинете и все тут, верно?

— А жандарм? — усмехнулся наш герой.

— А жандарм, сударь, при исполнении служебных обязанностей и рук подымать не смеет, а ежели и подымет, так чтобы на преступника накинуться...

В этом ответе ротмистра было ровно столько резону, чтобы не возражать, а только глянуть краем глаза на подпоручика, которого так открыто именовали преступником.

Ах, милостивый государь, мы всегда беспомощны, когда правы, ибо неправота лихорадочно обзаводится доказательствами, и она тут же все это вывалит вам, и вы отступите, ибо она свое дело знает, а правота об том не заботится: мол, ежели я правота, так и без всего всем ясно, что я правота. Вот так.

Наконец, как снова поменяли лошадей, и уже другой молоденький жандарм насиделся в кибитке вместо унтера Кузьмина, они снова тронулись, Авросимов почувствовал, что голод его истерзает и холод замучает, а каково-то подпоручику в его шинелишке?

Ротмистр, словно услыхал его размышления, а может, и его проняло холодом да голодом, но он первым нарушил длительное молчание и сказал подпоручику:

— Вы простите, сударь, что я так долго не распоряжаюсь покормить вас. Ежели на пути — так мы время потеряем, а уж доберемся до Колупановки, там вам будет все, чего ни пожелаете, ей-богу.

— Да я уж терплю,— улыбнулся Заикин.— Мне другого исхода теперь нет.

Поверите ли, как это ужасно, когда человек улыбается, произнося горькие слова!

И наш герой об этом же подумал, и снова волна

сочувствия к подпоручику и расположения к ротмистру окатила его.

«А ведь он мог бы и не извиняться,— подумал Авросимов,— а он вот извиняется».

Так они ехали. День, как это говорится, миновал, и веселое да недолгое северное солнце закатилось, только краешек его багровый еще маячил над лесом, отчего сосны да ели протянули длинные тени, синие и неподвижные. И вот тогда, когда мучения голода и молчания, и всяких мыслей достигли уже предела, кибитка скользнула в лес, вынырнула затем, и перед путниками открылась восхитительная картина. Тракт серебрящейся змеей уходил вниз, к застывшей реке, за которой снова начинался взгорок. На том взгорке, в зимнем саду расположилась белая усадьба, и восемь колонн отчетливо вырисовывались в сумерках, а за усадьбой, за садом, тянулась Колупановка, переваливаясь с пригорка на пригорок, будто старая баба с коромыслом.

Вожделенные тепло и сытость были теперь рукой подать, но смутное ощущение тревоги, уже знакомое, пропавшее было на солнышке, снова шевельнулось в душе нашего героя. Словно мохнатая серая птица неизвестного имени, затаившаяся и бесстрастная, впсела она над ним, и при виде этой птицы сердце тотчас начинало колотиться о ребра, и чей-то печальный голос все звал да звал непонятно кого, и откуда, и зачем, но так настойчиво и невыносимо. И наш герой делал невероятные усилия, чтобы отогнать эту птицу и не слышать этого зова, и на какое-то время это ему удавалось, как вдруг снова сквозь сумерки, сквозь лес пробивался этот зов, и серая ночная тень, а может, и не тень, а так нечто, нависало над ним.

— Господа,— сказал ротмистр Слепцов,— мне, господа, очень по душе пришлись ваши фантазии,—

и он кивнул нашему герою.— Давайте же сделаем вид, что нет перед нами этой печальной цели, что мы просто завернули сюда для отдыха, и все мы равны.

— Мне все равно,— не поднимая головы, отозвался подпоручик.— Поступайте, как сочтете нужным.

— Вот и славно,— обрадовался Слепцов.— Я жандармов отправлю в деревню, чтобы они нам глаза не мозолили, да велю им молчать обо всем. Мы славно отдохнем, господа.

Будто услыхав слова об отдыхе, кибитка ринулась с пригорка, пересекла реку по синему льду и заскрипела по садовой аллее. Вот и усадьба. Вот и крыльцо под снегом. И точно: молчаливая дворня застыла на том крыльце. Кибитка остановилась. Ротмистр распахнул дверцы. Его радостно заприветствовали, и это разлило по всему телу нашего героя умиротворение и предвестье покоя. И даже зов смолк.

По всему, дом этот был построен недавно, всего в конце прошлого века, но как-то быстро обветшал; видимо, сырость и ветры, дующие на взгорке, решительно творили свое дело, так что колонны облупились, а в широких и гостеприимных сенях паркет кое-где вздыбился и отстал, так что руке доброго и неумелого деревенского мастера пришлось там и сям оставить следы своего мастерства в виде желтых сосновых заплат, прочных, но грубых.

Правда, этого никто толком и не замечал из приехавших, ибо челядь так искренне радовалась приезду барина, а путники так сильно продрогли и оголодали, что обволокшее их тепло и пробивающиеся с кухни нехитрые и здоровые ароматы приятно закружили головы.

— А вот и Дуняша,— громко провозгласил ротмистр,— хозяйка сего гнезда,— и указал рукой на
 черноглазую вострушку, которая, вспыхнув вся от

радости и смущения, загородилась концом белого платка.

— Милости просим,— пропела она из-за этого своего прикрытия.

— А что, Дуняша, чем ты нас побалуешь? — спросил ротмистр, скидывая шинель и знаком приглашая попутчиков последовать его примеру.

— Чем же вас баловать, свет вы наш? — пропела Дуняша, уже не таясь.

Авросимов глянул на подпоручика. Тот стоял в стороне, уже без шинели, и если бы не небритые щеки, можно было бы подумать, что он и впрямь прикатил сюда в гости, а завтра, на заре, помчится обратно к Настеньке своей или еще к кому, ибо у всякого есть к кому торопиться.

— Будто ты и не знаешь, чего я люблю,— засмеялся ротмистр.— И гостям моим будет любопытно.

И тут она опустила глаза.

«Эге!» — подумал наш герой, любуясь девушкой.

— Идемте, господа,— пригласил ротмистр, и процессия тронулась.

Вечер выдался особенный, надо вам сказать. В тесной, но гостеприимной столовой круглый стол встретил путников уже припасенной на нем семьей графинов и графинчиков, поигрывающих отраженным светом свечей, хитросплетением граней и тонов от белого до темновишневого.

Старые и позабытые вниманием кресла были удобны и мягки, даже легкий скрип не нарушал уюта, а, напротив, добавлял к нему нечто, подобное песенке сверчка.

Еще не успели уставить стол обещанными яствами, а уж у дверей вдоль стены начали выстраиваться девушки, готовые грянуть песню.

Ротмистр Слепцов глядел на их приготовления с

улыбкой. Особенно он вспыхивал, стоило только милой Дуняше посмотреть на него. Вдруг он наклонился к подпоручику:

— Все это ради вас, милостивый государь... Я хочу, чтобы вы поняли, как я к вам отношусь. То, что там, в Санкт-Петербурге — все это вздор. Истинное — здесь. Видите, как вам все рады? Видите?.. Вон и Дуняша, а она иной петербургской барышне не уступит, и она... Видите? И все это для вас... Как она их расставила с толком...

— Благодарю вас,— отвечал подпоручик, обводя рассеянным взглядом сборище.— Благодарю...

— Ах, грустно мне глядеть на вас,— шепнул Слепцов,— да не горюйте, все обойдется... Генерал очень доволен, что вы сами вызвались место указать. Будет вам снисхождение...

В этот момент подали щи. Аромат их был так силен и густ, что бледное лицо подпоручика покрылось пятнами, и по горлу прошла судорога.

— Однако вас любят ваши люди,— заметил Авросимов ротмистру.

— Ах,— сказал Слепцов,— мой батюшка был человек крутого нрава, да скоро уж год, как помер. При нем им житья не было. А я человек добрый, и им со мной хорошо. Вот Дуняша, видите? Она теперь у них главная хозяйка. Я рад, что им хорошо. Они ведь тоже люди, неправда ли, сударь? А вот друзья господина подпоручика утверждают, что сие — рабство... Так ведь что понимать под рабством? Вы вот спросите-ка их: хотят они со мной расстаться? Спросите... А ведь у другого и вольный — раб, ей-богу... Однако вот и щи. Прошу вас, господа, без церемоний,— и он первый поднес ко рту дымящуюся ложку.

Остальные сделали то же самое. Теперь полагалось приступить и к вину. Ротмистр поднял рюмку.

Вино заиграло на свету. Дуняша, не сводящая глаз с барина, махнула рукой, и хор повел вполголоса:

На заре, на заре
Настя по воду пошла...

«Опять Настя,— подумал наш герой, млея от вина и щей.— Опять Настенька».

— Как они вас ублажают,— засмеялся ротмистр подпоручику.— А как они ведут! Слышите? Эти вот, что фальцетом, плутовки. Ах, словно ниточка натянутая!..

Настя по воду пошла...

Действительно, милостивый государь, хор был ладен и чист, и высокие голоса девушек вызывали в сознании образ прозрачного ключа с прохладным бархатным дном.

Белой рученькой качнула,
прощай, матушка моя!..

И по этому прохладному дну — две быстрых тени: золотая и серебряная, две легких тени, которых и не углядишь, ибо над ключом склонились стебли да цветы, и от них тоже тени, и они тоже переплелись. А вода звенит:

...Ты прощай, ты прощай,
ты не спрашивай: «Зачем?»

Две тени, золотая и серебряная, это ведь — две рыбки, это ведь символы чистоты и веры. Они, хоть слабые да беспомощные, но разве ж не они нам мерещутся? Нам, погрязшим в крови и безумстве? Поглядите-ка на Дуняшу, какие у нее руки! И два передних белых зубочка слегка приклонились один к другому... Когда их видно — голова кружится.

...Ты не спрашивай: «Зачем?»...

Тут, глядя на эту царевну, все позабудешь: и Милодору, и Амалию Петровну, и горести свои. Пой, рыбка золотая! Звени...

Под горой стоит рябина,
красны ягодки на ней...

— Ешьте, ешьте, друг золотой! — сказал подпоручику Слепцов.— Пейте, ни о чем не горюйте. Ах Дуняша, как она их!.. Как поют они, как поют!.. Вы и мои слова давешние забудьте, будто их и не было. Генерал Чернышев, после того как Пестеля арестовали, никак в себя прийти не мог — руки дрожали. Наливайте, пейте... Эй, вина!

Тотчас две темных молнии метнулись по комнате, забулькало вино, круглый стол сузился, и сидевшие за ним сошлись лбами, и поглядели в глаза друг другу. Наш герой отчетливо ощущал прикосновение горячего лба ротмистра и холодного, влажного — Заикина.

— Вы принимали участие в арестовании Пестеля? — спросил подпоручик, борясь со сном.

— А как же,— вздохнул ротмистр.— Куда генерал, туда и я.

— А не боялись, что он стрелять будет? — спросил Авросимов, надавливая лбом на лоб ротмистра.

— А вы его жалеете? — в свою очередь полюбопытствовал ротмистр.

Под рябиной стоит Ваня,
однова его люблю!..

Тут хор стих, затрепетал весь, будто ключ чудесный помутился, будто непогода какая ударила, будто ветер набежал и спутал стебли да цветы, и золото да

серебро потускнело на рыбках, притихших в той темной воде, где донный ил под их плавниками всплыл вдруг, загораживая все от людских глаз.

Однова его люблю...

Господи, да почему же грустно-то так? Да ты люби, люби! Радуйся. Уж коли он ждет тебя под той рябиной чертовой, так, стало быть, любит. Брось ты коромысла свои дурацкие, падай в охапку к нему, цалуй! Счастье-то какое: любит!.. Тут одни других арестовывают, кто смел — тот и съел, а этот-то, под рябиной который, он ведь тебя любит! Ждет тебя, дуру. Чего ж ты плачешь-то?

Вино уже успело пробежаться по всем жилочкам и теперь жгло огнем.

— Не пойму я,— зашептал ротмистр нашему герою,— чего вас-то с нами послали? Вы мне всю обедню испортите. Какой он, Пестель, однако, в вашем воображении герой. Вы что, за дурака меня держите?

Авросимов глянул на Дуняшу. Она и сама на него глядела, не чинясь, без скромности. «Ты одна, одна в душе моей, Дуняша!» — крикнул он про себя, но она покачала головой, да так грустно: нет, мол. Не верю.

— Запомните, сударь,— совсем трезво сказал ротмистр.— Пестель — глава заговора, и всякое упоминание его имени с симпатией может порядочным людям прийтись не по вкусу. Уж вы, господин Авросимов, выбирайте, чью сторону держать, да чтоб об том известно было...

Выбирайте, выбирайте... Вот она и выбрала того, который под рябиной. И с матушкой попрощалась.

Девушкам поднесли вина. Они выпили все разом.

Утерлись белыми рукавами. Поклонились. И с самого краю откуда-то, будто месяц выплыл в лодочке, потянулся голосок один-единственный:

Не плачь, не плачь обо мне.
Не плачь, не плачь обо мне.

— Ой, ой! — закричал Слепцов.— Сердце разорвете!

Воистину сердце разрывалось от звуков этого голоса, при виде Дуняши и подпоручика, который уже не ел, не пил, а сидел, высоко подняв голову, закрыв глаза, неподвижно, будто и нет ничего вокруг. Наш герой подумал, что паутинка прочно вкруг Заикина обвилась. А на что же он, бедняга, надеялся, когда в Комитете божился, будто знает, где она лежит, страшная пестелева рукопись? Да как божился! «Я, я, я знаю! — говорил как в умопомрачении.— Велите меня послать! Я укажу». Но это сомнение вызывало, ибо не мог бедный подпоручик иметь отношение к тому, как рукопись прятали. И генерал Чернышев, тот главный паучок, собаку съевший в таких делах, тогда и спросил: «Вы сами зарывали?» «Сам, сам!» — крикнул Заикин, бледный как смерть. Ах мальчик, а не напраслину ли ты на себя возвел? И он, Авросимов, строчил тот протокол, и голова его гудела в сомнении. Ведь, судя по всяким там намекам, братья Бобрищевы-Пушкины к сему причастны были, но они сами — ни в какую, а он вызвался. Уж не обман какой? Не для отвода ли глаз? «Значит, вы сами зарывали? — спросил Чернышев.— А передавал-то вам уж не сам ли Пестель?» «Я сам зарывал,— отвечал подпоручик,— а кто передавал, сказать не могу». Тут он, мальчик этот, побледнел пуще прежнего. «Да как же так,— удивлялся Чернышев,— вас в те поры и в
 Линцах-то не было». «Был! — снова крикнул Заи-

кин.— Проездом был, ваше превосходительство. Случай свел». Ну вот, случай так случай, бедный мальчик-подпоручик, какая вокруг паутинка!

Наш герой поднял от раздумий голову и тут увидел, что девушки уже покидают комнату, и одна лишь Дуняша замешкалась в дверях и обернулась, и снова глянула прямо в глаза ему.

— За такую песню полжизни отдаю, на! — крикнул ротмистр.— Да бери же ты!..

Но Дуняша все глядела на Авросимова, и так вот, не сводя с него глаз, и вышла прочь, и исчезла за дверью.

Пора было и ко сну отправляться.

— Она на меня так глядит,— сказал ротмистр,— что все во мне переворачивается. Верите ли, иногда даже думаю: да пропади все! Ан нет, утром-то и отойдешь...

— А вы не удерживайте себя,— сказал Авросимов.— Уж ежели она именно в а м улыбку шлет, чего же ждать?..

— Что вы, господин Авросимов,— засмеялся ротмистр,— у нее жених...

— Да черт с ним, с женихом! — выпалил наш герой.— Да вы его на конюшню! Чтоб он знал...

— Это невозможно, сударь,— изумленно сказал Слепцов.— Это не в моих правилах.

Они разбудили уснувшего в своем кресле подпоручика и все трое медленно отправились по коридору.

Представьте себе длинный коридор. Одна его стена глухая, увешанная картинами, писанными маслом, в золоченых рамах, из которых выглядывали тусклые физиономии ротмистровых предков; по другой стене — две двери, ведущие в комнаты, предназначенные нашим гостям: первая — Авросимову, вторая —

подпоручику, а сам ротмистр намеревался устроиться в дальней, венчавшей коридор.

Сон у подпоручика, как сдуло, ибо привыкший к казематам крепости, он никак прийти в себя не мог от благ, выпавших на его долю, когда ни цепей, ни охраны, а сытость и любовь.

— Вы не сомневайтесь в моей порядочности,— сказал ему ротмистр.— Я, конечно, связан присягой и приказом, но что касается моего дома — здесь вы можете чувствовать себя вполне свободно. Уж как могу, я стараюсь облегчить вашу участь, вы это, надеюсь, видите...

Подпоручик, тронутый всем этим, горячо благодарил доброго хозяина, и вошел в свою комнату.

Авросимов также в свою очередь поблагодарил хозяина за хлеб-соль да ночлег.

— Вот моя комната,— сказал ему ротмистр.— Так уж коли что, не стесняйтесь меня будить,— и отправился, не найдя для нашего героя ни одного ласкового слова.

Авросимов неловко хлопнул дверью и огляделся. Комната была невелика, но уютна. Большое окно смотрело в зимний сад, озаренный новой луной. От нее пятно лежало на паркете. По стенам темнели картины, старинное кресло, обращенное к окну, словно приглашало утонуть в нем. Кровать была широкая, и Авросимов тотчас вспомнил гостиницу и недавнее свое приключение. Он уселся в кресло. Оно продавилось, зазвенело под ним, закачалось.

И тут же возник, пронзительней чем раньше, уже знакомый зов, и серая невероятная ночная птица бесшумно снизилась и повисла над головой нашего героя, принеся с собой тревогу.

За стеной отчетливо кашлянул подпоручик. Скрипнула половица раз, другой, и уже пошел скрип, не переставая. Заикин метался по комнате.

Авросимов скинул сюртук, чтобы легче дышать в душно натопленном доме, и английский пистолет хлестнул его рукоятью по коленке. А надобно вам сказать, что великолепное сие оружие, с помощью которого мы сокращаем свой и без того короткий век, покоилось в суконном кармашке, специально сооруженном нашим героем с таким расчетом, чтобы сей кармашек приходился как раз слева под мышкой, тем самым всегда скрытый просторным сюртуком. Что побуждало Авросимова так удобно приспособить оружие, он, верно, и сам не знал. Скорее всего была это для него обольстительная заморская игрушка, одно обладание которой возвышало в собственных глазах, ибо он и представить себе не мог реальных возможностей сего пистолета, предпочитая наказывать обидчика, да и то в крайнем случае, руками, по-медвежьи.

А зов не умолкал, а, напротив, усиливался. Кто призывал к себе нашего героя? Кто это там, где-то, на него надеялся? Чья обессиленная душа, запутавшись в сомнениях и страхе, нуждалась в нем так отчаянно и горячо? И вот пистолет английский, блеснувший под луной, легко в ладонь улегся, и все тело нашего героя напряглось, как бы перед прыжком, и уже не было ни усталости, ни хмеля, а лишь учащенное дыхание — предвестье безумств.

Скрип половиц прекратился. Подпоручик, видимо, улегся, наконец, бедный. Зато из коридора послышались новые шаги, тихие и вкрадчивые. Кто-то шел осторожно, словно опасаясь расплескать воду. «Дуняша!» — мелькнуло в голове нашего героя.

«Руфь умылась, намастила себя благовониями и

надела нарядные одежды, а потом отправилась в поле...»

«Я Руфь, раба твоя, простри крыло свое на рабу твою...»

Авросимов распахнул дверь. Испуганное лицо Дуняши возникло перед ним. В белой руке она высоко держала свечу. Страх ее пропал, едва увидела она нашего героя. Она улыбнулась, и два зубочка ее передних будто поддразнили Авросимова. «Нет, нет»,— покачала она головой.

— Голубушка моя,— зашептал он с болью,— я зла тебе не желаю... Я тебя выкуплю, вот крест святой...

— Господь с вами,— рассердилась она,— да зачем мне ваш выкуп? Пустите, барин...— и снова улыбнулась, показывая два зубочка.— Вы своих лучше выкупайте, а нам не надобно...

«Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня?»...

И Дуняша медленно, словно в церковь, прошествовала по коридору и, отворив дверь в комнату ротмистра, скрылась за ней.

И снова наступила тишина.

«Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом...»

Авросимов воротился к себе, понимая, что отныне сну не бывать. Неслышимые в коридоре, снова явственно заскрипели в соседней комнате половицы. И вдруг наш герой различил в стене дверь, которой раньше и не заметил. Он нащупал ручку и потянул. Дверь поддалась со скрипом. Половицы смолкли.

— Кто здесь? — тихо спросил пленный.

Что было ответить ему? Ах, стон твой напрасен, напрасен, ибо ты пока еще вольная птица, и крылья твои не связаны, не перебиты.

 — Это вы? — удивился Заикин, различив в тем-

ноте неясную фигуру нашего героя.— Что вам угодно, сударь? Вы следите за мной совсем уже бессовестно...

На это наш герой не смог ничего возразить. Он молча прошел к креслу и уселся.

— Вы пользуетесь тем, что я пленник и не могу проучить вас,— продолжал меж тем Заикин, но в голосе его было уже недоумение и даже сочувствие, ибо лицо нашего героя, освещенное луной, являло такую скорбь, такое нечеловеческое страдание, что у всякого порядочного и не лишенного чувств человека сердце не могло не дрогнуть.

А бедный подпоручик, как вы, вероятно, успели уже заметить, как раз относился к категории людей порядочных и добросердечных, а посему, превозмогая собственные несчастья, он подсел к Авросимову, чтобы поинтересоваться, что же с ним приключилось, а может быть, и облегчить страдания.

— Сударь,— произнес наконец наш герой,— не корите меня понапрасну. Я действительно в полном расстройстве, и мне нужно было увидеть хоть одну живую душу. Клянусь вам, что я случайно обнаружил эту дверь и, услыхав, что вы не спите, пришел к вам. Но не с просьбой о помощи рискнул я совершить сей шаг: никто помочь мне не в силах, но зная, что вам и самому крайне тяжело, я питаю надежду хоть в малой мере облегчить ваши страдания.

Подпоручик выслушал это признание с крайним удивлением, но произнесено оно было с такой искренностью, обстановка была так невероятна, что не поверить ему было нельзя.

«Дуняша, чем доказать благородство свое?..»

— Сударь,— продолжал Авросимов,— перед самым отъездом сюда я имел случай встретиться с Павлом Ивановичем,— при этих словах подпоручик

стремительно прикрыл лицо руками.— Не буду клясться вам, что я разделяю ваши взгляды, сударь, даже больше того, скажу вам, что полковника Пестеля я с первых дней невзлюбил, как злодея, а нынче, хоть и нет у меня к нему ненависти, но продолжаю его считать виновником наших с вами бед и несчастий...

— Вы заблуждаетесь,— глухо произнес подпоручик из-под ладоней.— Сейчас легко обвинять человека, который ни о чем другом и не думал, как о благе человечества... Но продолжайте, сударь, я слушаю вас.

— Я видел, как он поник головою при упоминании о своей рукописи,— с тоскою прошептал Авросимов.— Ведь ежели ее найдут и его мысли о цареубийстве подтвердятся, головы ему не сносить.

Тут произошло нечто чудесное: подпоручик вдруг словно принял целительных капель, словно окунулся в живую воду и вышел из нее обновленным и бодрым. Освещенное луной лицо его было прекрасно, большие глаза сверкали.

— Послушайте,— сказал он вдохновенно,— да вы чушь говорите! Пестель страдал от несовершенств общества так же, как и мы все, как и вы... Да уж вы позвольте мне всю правду вам говорить... Только вы этого не осознаете, а он осознал. При чем цареубийство, сударь? Россия отстала от Европы на пятьдесят лет, она от этого несчастна, и это не Пестелем придумано. Да при чем тут цареубийство?! Теперь, ежели все это свершилось бы, графу Татищеву многого пришлось бы лишиться, и генералу Чернышеву, и великому князю, и всему следственному Комитету, и всем губернаторам, сударь, и сенату, всем, всем... А уж о государе и говорить нечего. Вы понимаете?

 Им всем, всем, вы понимаете? Так как же им не бе-

зумствовать? Ведь что могло случиться! А цареубийство в Русской Правде и не поминается...

— А хорошо ли это? — воскликнул наш герой.— Обществу угрожать?

— Неправда,— сказал подпоручик, снова погасая,— сие неправда и неправда. Теперь легко возводить напраслину на пленного...

— Так ведь друзья на него показывали!

— Неправда, неправда,— забубнил подпоручик.— Какая ложь. Теперь легко все вывернуть, переиначить. Да это неправда все...

— Как же неправда, когда все об том знают?

— Неправда, неправда... Ах, не были вы в моем положении!

— Я жалею вас, верьте мне! — крикнул шепотом Авросимов.— Я обещаю, что в Петербурге помогу вам с Настенькой свидеться... Хотите? Я могу все ваши слова в протоколы с пользой для вас писать, с участьем... Мне вас жалко, жалко, жалко вас!

Подпоручик словно боролся с безумством: руки его дрожали, и он никак не мог застегнуть ворот помятого своего мундира, а застегнув, принимался расстегивать, а потом — снова, и слезы лились по бледному его лицу.

Наконец мальчик этот несчастный переборол себя: то ли застегнул пуговицу, то ли расстегнул, уж и не знаю, но он сел на кровать и затих.

И тут в тишине ночной, как песня издалека, возникли едва слышные шаги, вкрадчивые и нежные. Наш герой прислушался: шаги доносились из коридора. Затем смолкли. Авросимов будто увидел, как она идет в белой домотканой рубахе, крадучись, по коридору после отчаянной своей любви, и истерзанные губы ее кривятся в плаче ли, в бессильной ли

улыбке, и два зубочка склонились один к другому, дразня, а для чего — неизвестно. Видимо, она прислонилась на мгновение к стене. Но вот пошла. Старый паркет выдавал: скрип-скрип...

Тут наш герой, забыв о подпоручике, метнулся к двери и распахнул ее. Жандарм молоденький дремал, прислонясь к стене. Шагов не было слышно, но стоило Авросимову воротиться в комнату обратно, как снова они зазвучали. Теперь звук этот скрипящий доносился со стороны окна. Авросимов, совсем потерявший голову от всего происходящего, бросился к нему. Чье-то лицо, подобно луне, выплыло из-за стены и поползло по стеклу, и два недоверчивых глаза заглянули в дом. Наш герой узнал унтера Кузьмина, закутанного в тулуп. К счастью, луна в этот миг скрылась и подлый жандарм не смог разглядеть в комнате ничего подозрительного. Тут наш герой ощутил себя самого узником, и тоска охватила его.

Подпоручик, видимо, заснул, как был в мундире. Усталость свалила его.

Авросимов тихонько прокрался к себе в комнату, сбросил одежду, утонул в перине и с облегчением вздохнул.

12

Не отъехали они и десяти верст от любезной и гостеприимной Колупановки, как не проронивший до сих пор ни звука, а только вздыхавший Заикин обратился к ротмистру Слепцову с просьбой надеть на него наручники. Изумленный ротмистр попытался было отшутиться, но подпоручик глухим голосом настаивал.

— К этому нет никакой надобности, любезный мой друг,— сказал ротмистр, пожимая плечами.

— А я вас прошу, Николай Сергеевич, сделать мне одолжение,— потребовал подпоручик.— И другом меня, ради бога, не кличьте. Я этого имени недостоин.

На глазах его были слезы, и лицо сморщилось, по всему видно было, что рыдания душат его.

Ротмистр, удрученный таким неожиданным оборотом дела, нахмурившись и сжав губы, заново украсил руки пленника цепями, а затем, откинувшись на сиденье, застыл в неподвижности.

Что же произошло? Эта мысль не давала покоя нашему герою, и он совершал всяческие движения, дабы привлечь внимание подпоручика, и, может быть, хоть как-то успокоить его и постараться выведать причину слез. Но подпоручик на Авросимова глаз не поднимал, будто его и не было.

Уж не ночной ли разговор тому причиной? Или следственное дело припомнилось, и гордость в нем забушевала?

Так они ехали. Начинался февраль. Солнце вдруг скрылось. И мелкая снежная пыль забивалась в кибитку, так что пришлось воспользоваться взятыми из крепости казенными тулупами да валяными сапогами.

Так они ехали, похожие на горе-прасолов или на купчишек, наскоро меняя лошадей, в чем отказу им не бывало, благодаря гербовой бумаге в руках у ротмистра. На постоялых дворах им предлагали горячие щи и неизменную кашу, хорошо, когда с мясом, да если еще огурчиков соленых. Озябнув в дороге, они молча выпивали вина, чтобы несколько оживить закостеневшие свои тела, и проваливались в сон, не замечая ни клопов, ни тараканов.

Так они ехали. Но постепенно юг брал свое. А уже за Тульчином и вовсе потеплело, то есть не то, чтобы

наступила весна, но мороз спал, и вьюга кожу на лицах не сворачивала.

Как ни пытался наш герой на протяжении всего пути вызвать подпоручика на разговор, ничего в сем деле не преуспел.

Не задерживаясь в Тульчине, они поскакали дальше и к полудню прибыли в Брацлавль, который отстоял от цели их путешествия всего на какие-нибудь пять-шесть верст. Чтобы не привлекать внимания посторонних, ротмистр Слепцов отложил операцию до глубокой ночи.

Кибитки остановились у постоялого двора, в котором, несмотря на захолустье, имелись даже отдельные комнаты.

Видя, что подпоручик совсем не заговаривает с Авросимовым и что последний ничего предосудительного не пытается предпринять, а сам тоже находится как бы в прострации, Слепцов успокоился и перестал глядеть на нашего героя волком.

Жандармам, предварительно еще в пути сменившим одежду, чтобы не вызывать подозрений у мирных обывателей, среди которых могли оказаться и сочувствующие злоумышленникам, Слепцов положил разместиться в общей избе, а подпоручику и нашему герою была предоставлена светелка наверху, так что скрытые от посторонних глаз, они могли, наконец, отдохнуть после многотрудной бешеной скачки через всю Россию и Малороссию.

Разместив всех таким образом, ротмистр отправился искать местного исправника, дабы заручиться от него всякой поддержкой, всякой помощью, какая понадобится, не раскрывая даже и ему истинного смысла предстоящей ночной работы.

Дверь за ротмистром хлопнула, и молодые люди, я позволю себе называть их так, остались наедине.

Тут Авросимов разглядел, как сильно сдал подпоручик за дорогу, хотя слез он уже не лил, но грустные их следы хорошо запечатлелись на его исхудалом лице. По склоненной голове и невидящему взгляду можно было с легкостью догадаться, какие страшные бури опустошили за недолгий срок этот молодой организм, какие невероятные муки подточили эту еще недавно здоровую гордую душу.

Но как же было что-либо выяснить, ежели подпоручик по неведомой прихоти совершенно не замечал нашего героя и делал вид, что не слышит его слов, когда Авросимов предпринимал робкие, жалкие попытки вывести пленника из оцепенения. И здесь, в избе, покуда наш герой приводил себя в порядок и ломал голову, стараясь что-нибудь придумать, Заикин лежал на лавке, опустив руки до полу, безучастный ко всему. Вдруг он сказал:

— Чего там говорить о благородстве, когда ложью за все расплачиваются...

— О чем вы, сударь? — спросил Авросимов, радуясь, что этот несчастный пришел наконец в себя, но подпоручик не отозвался.

Тем временем вернулся ротмистр, очень, по-видимому, довольный ходом дел, велел принести в комнату обед, и они втроем уселись за стол.

И вот снова они сидели друг против друга, но так как, видимо, установившееся за последние дни молчание не способствовало аппетиту, ротмистр нарушил его первым:

— И все-таки армейская жизнь имеет много прелестей,— сказал он, бросая взгляд на подпоручика.— Служить в Петербурге на виду у великого князя или у Самого — это вам ого-го... Вам, Николай Федорович, весьма повезло иметь службу в полку армейском.

Подпоручик молчал, и Слепцов продолжал:

— Вы, Николай Федорович, скоро вернетесь в свой полк, уж вы мне поверьте. Лишь бы наше с вами предприятие нынче прошло успешно.

Щи были отменны, а может, с дороги казались таковы. Неизменная каша была не хуже. И после обеда потянуло в сон. Подпоручик, закончив трапезу, так и не сказав ни единого слова, улегся на свою лавку и закрыл глаза. Ротмистр и Авросимов переглянулись.

— Давайте спать, сударь,— сказал Слепцов.— Ночь нам предстоит нелегкая. У меня предчувствие.

Нашего героя такое предложение весьма обрадовало, ибо разговаривать с ротмистром не хотелось. После ночлега в Колупановке образ Дуняши не шел из головы Авросимова, и с тех пор, стоило ему только остаться с глазу на глаз с ротмистром, как тотчас мучительное видение возникало в нем, как шла она по коридору с высоко поднятой свечой в руке, в белой домотканой рубахе, мимо брезгливых предков своего барина, к нему, чтобы ублажить его, лейб-гусарскую лису, забывая о плачущем женихе... Впрочем, как вы сами догадываетесь, наш герой не очень страдал сердцем за неведомого сего жениха, которого, может, и не было; но когда в душе вашей переплелись два коварства, а именно, когда к коварству Дуняшиному прибавлялось коварство ротмистра, суетящегося вокруг пленника, устраивающего представление со снятием цепей, с хором и прочим, и когда, словно две его тени — две жандармские физиономии показывались вам из дверей да из окон, тогда, милостивый государь, вам тоже было бы несладко.

О чем он пекся, этот розовощекий адъютант, раздавая обещания, похвалы и тайные угрозы? Кому служил? Богу, царю али собственной корысти? Хотя, ежели подумать, какая ему корысть? Но в то же вре-

мя все-таки корысть, ежели его фортуна будет к нему милостива и рукопись будет отрыта.

А ему, Авросимову? И месяца не прошло, а деревня забыта, где был он сердцем спокоен и душой здоров; и матушка вспоминается реже, а все больше иные картины маячат перед взором: то каземат, то флигель дивный, то Милодорочка, то граф... И голова теперь уже гудит, не переставая. И тайный зов все тот же тревожит чаще. Ах, Пестель, злодей, виновник всего!

«А признавайся-ка, Дуняша, на кого ты давеча глядела?»

Словно злая лихорадка мелко трясла нашего героя. Уже давно все спали, когда он, так и не избавившись от озноба, последовал за своими попутчиками. Но не успел он отдаться сну, как его забило сильнее, и он вскочил, подгоняемый неведомой силой, и побежал вон из избы, с постоялого двора, и бежал, покуда не очутился в знакомом коридоре, средь серых его стен, где опять слева на стене темнело пятно то ли от воды, то ли от выплеснутых щей. Рукоять пистолета горячила ему ладонь, зов о помощи раздавался то справа, то слева, то спереди. Скорей, скорей! Он торопил себя и задыхался, и бежал по проклятому коридору к кому-то, зачем-то, Скорей, скорей!..

Тут его разбудили, и кто-то опять остался неспасенным.

Горела свеча. Спутники его торопливо одевались. Жандармы, и молоденький и унтер Кузьмин, находились здесь же и, закутанные в тулупы, напоминали ямщиков.

Наконец в двери тихонько постучали, вошел местный исправник, титулярный советник господин Поповский, как его небрежно представил ротмистр, не

представляя ему однако своих спутников, как бы по забывчивости.

Исправник, на лице которого было написано страдание обойденного тайной человека, доложил ротмистру, что все, мол, готово, и люди с лопатами сидят в санях, дожидаючись.

Постоялый двор спал, когда они, предводительствуемые исправником, возносящим в руке мигающий фонарь, осторожно, словно тени, прокрались по лестнице, через сени и вышли вон.

Кибитки стояли у самого крыльца. В открытых дровнях в сене сидели молчаливые испуганные люди. Все устроились по своим местам, и ужасная вереница потянулась к селу Кирнасовке, туда, где, по рассказам, зарыты были страшные бумаги злодейского Павла Ивановича.

Перевалило за полночь, когда они достигли места. Ехали в полном молчании и разгружались так же. Сквозь темень проглядывали линия неподвижной реки, невысокий снежный берег да лес в отдалении. Фонари, прихваченные исправником, почти не светили, то есть желтые круги, падавшие от них, были малы и тусклы. Звякнули лопаты, кто-то выбранился испуганным шепотом.

Слепцов. Где же сие место, Николай Федорович?

Заикин. Погодите-ка, сударь. Я хочу оглядеться.

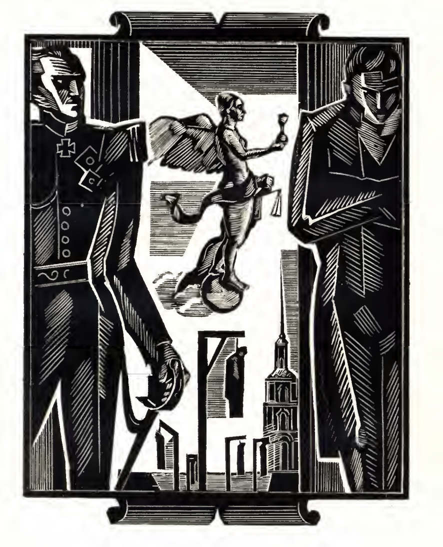
Исправник. А сей предмет железный, или сундук?

Слепцов. Господин исправник, мы же с вами уговорились...

Исправник. Господи, вы меня не так поняли!

Слепцов. Может, вот здесь?

Заикин. Бог мой, да не дергайте вы меня!



Слепцов. На вашем месте я бы запомнил...

Исправник. Ежели не запомнили, так все вапрасно...

Унтер Кузьмин. Ваше благородие, я на том конце стану, чтоб от села кто не подошел.

Слепцов. Ладно, ступай... Ну, что у вас?

Заикин. Пожалуй, здесь.

Исправник. Уж вы поточнее, милостивый государь. Ведь землю рыть, мерзлую землю.

Слепцов. Господин исправник, приказываю я и говорю я. Вы ведите рабочих.

Исправник. Да разве ж я претендую?

Заикин. Боже мой, какой позор, какой позор!

Слепцов. Возьмите себя в руки, Николай Федорович. Vous n'êtes pas un homme [1].

Заикин. Легко говорить dans votre situation [2].

Лопаты глухо врезались в снег. Он был достаточно глубок и плотен, однако в скором времени уже обнажилась прошлогодняя трава. Послышался звук кирки, бьющей о мерзлую землю.

Слепцов. Дьявол! Так мы и до утра не управимся.

Исправник. Что вы, господин ротмистр. Люди застоялись — в миг отроют. Ну-ка, ребята...

Заикин. Какой позор. Я совсем потерян.

Авросимов. Да вы успокойтесь. Сейчас найдут... Уж коли вам так того хочется...

Заикин. Оставьте меня...

Слепцов. Что?

Авросимов. Я успокаиваю господина Заикина. Он совсем не в себе.

Слепцов. Ну, что там?

[1] Вы не мужчина (фр.).
[2] в вашем положении (фр.).

Исправник. Покуда — ничего... Ежели предмет деревянный, он мог и сгнить, хотя... ежели срок недолгий...

Слепцов. Мы же уговорились.

Исправник. Да вы меня не так поняли.

Слепцов. Что-то пока ничего, Николай Федорович...

Заикин. Да?.. Может, к дороге поближе?..

Слепцов. Ведь должен быть ориентир. Вы же военный...

Заикин. Да, да, конечно... Вот здесь... Точно вот здесь...

Исправник. Что, не то место?

Слепцов. Ах, Николай Федорович! Да возьмите себя в руки. Здесь, что ли? А может, здесь?..

Заикин. Сейчас, сейчас... Боже, какой позор!.. Немного к дороге поближе...

Слепцов. Ну вот видите! Время же потеряно, черт. Вы не суетитесь, Николай Федорович, не нервничайте, а еще раз проверьте. Вот черт!..

Исправник. Поразительно, как это в моей округе что-то зарывают, а я и не знаю. Ежели б предмет был железный, его легче было бы найти, я уверен. Он, что, в виде погребца, да?..

Слепцов. Уймитесь, наконец. C'est malhonnête! [1]

Исправник. Je veux faciliter votre tâche [2]. Вы меня неправильно понимаете.

Заикин. Ну, что там? Что же?..

Слепцов. Покуда — ничего. У меня предчувствие, что ничего и не будет. Это место не похоже на то, где можно что-нибудь зарыть.

[1] Это же непорядочно! (фр.).
[2] Я хочу облегчить ваш труд (фр.).

Заикин. Боже мой, боже мой...

Авросимов. А может, и не зарывалось ничего, а так, слух пошел?

Слепцов. Что?

Исправник. Здесь тоже ничего. Aucun resultatt[1]. Может быть, ближе к лесу? Quoique j'en doute[2].

Слепцов. Эй вы, что за остановки? Давайте, давайте!

Исправник. Странная у вас компания.

Авросимов. Чем же, сударь?

Исправник. Этот прекрасный подпоручик очень удручен, как будто решается его судьба. J'ai vu ses larmes[3].

Авросимов. Это от холода, сударь.

Исправник. Bien sûr[4]. Он что, причастен?

Слепцов. Ну, что там у вас?..

Авросимов. Вы потише, сударь.

Исправник. Я так и знал. Quelle monstruosité![5]

Слепцов. И опять ничего. Вот черт!

Заикин. Может, они плохо роют? Mais je me souviens, je me souviens[6].

Авросимов. Вы не можете осуждать.

Исправник. Нет уж, могу! И даже смею!

Слепцов. Ну что еще? О чем вы?

Исправник. Господин ротмистр, мы напрасно теряем время.

Слепцов. Это еще почему?

[1] Никакого результата (фр.).
[2] Хотя я сомневаюсь (фр.).
[3] Я видел его слезы (фр.).
[4] Естественно (фр.).
[5] Какое чудовищное злодейство! (фр.).
[6] Я же помню, помню... (фр.).

Исправник. Ежели недавно зарыт предмет, ежели тут недавно зарывали, как же могла трава сохраниться? C'est impossible, impensable [1].

Слепцов. Черт! Trahison! [2] Что же вы молчали?

Исправник. Я было пытался, но вы, etant de mauvaise humeur [3], всякий раз обрывали меня...

Слепцов. Вы всякий раз говорили, о чем угодно, только не об этом... Мы теряем время и деньги!.. Николай Федорович, голубчик, что же это, а?

Заикин. J'ai rien â vous dire [4].

Слепцов. Ладно, до рассвета есть время. Сделаем передышку и попробуем еще раз. А вы, сударь, подумайте хорошенько, черт возьми! Мы не можем partir bredouillé [5].

Авросимов. Сударь, вспомните о том, кто несчастнее вас...

Заикин. Оставьте меня!.. Неужели вам радостна будет моя гибель?

Авросимов. Это не гибель, а жертва...

Заикин. Я уже жертвовал... Ничего из сего не вышло...

Авросимов. Да вы не сожалейте об том.

Заикин. Оставьте меня!.. Кабы вы знали про все, вы бы меня не мучали.

Слепцов. Да, действительно, глубже копать уже некуда. Вы ведь утверждали, что не глубоко, да?

Заикин. Говорил... Сударь, Николай Сергеевич...

Исправник. Люди готовы, можно начинать.

[1] Это же невозможно, исключено (фр.).
[2] Предательство! (фр.).
[3] находясь в нерасположении (фр.).
[4] Мне нечего вам ответить (фр.).
[5] уходить с пустыми руками (фр.).

Слепцов. Мы начинаем, господин Заикин. Мы пробуем еще раз. На вашей совести...

Заикин. Хорошо, давайте еще раз... Помнится мне, что действительно ближе к лесу. Да, да, теперь вспоминаю. На той же линии, только ближе...

Слепцов. Здесь, черт возьми?

Заикин. Да, пожалуй...

Слепцов. Или здесь?

Заикин. Нет, нет, хотя, впрочем, возможно и здесь...

Слепцов. Ну?

Заикин. Да, скорее всего здесь... Да, я помню... Конечно... Николай Сергеевич, выслушайте меня...

Слепцов. А, черт... Господин исправник, приступайте...

И снова глухо ударили лопаты, и тяжелое дыхание копающих перемешалось с шорохом мерзлой земли. Что-то там бубнил ротмистр Слепцов, перебегая от одного мужика к другому, взмахивал руками в отчаянии или во гневе. Подпоручик черной тенью неподвижно застыл в стороне, и в его позе тоже сквозило отчаяние. Из лесу крикнула птица, кто-то позвал, пронзительно и тоскливо.

Мысль о том, что в сей тайной работе нет резона, все больше и больше терзала Авросимова. Действительно, уж коли страшен был заговор, так не бумажками этими, ради которых столько мук и слез, и унижений. Или это опять игра? Уж не заигрались ли в нее, чтобы видимость была истинного служения? Вот и подпоручик так искренне, так чистосердечно восклицал, что, мол, все неправда, напраслина, что этого, мол, быть не могло, то есть не было склонности к цареубийству... Да мало ли, чего я понапишу! Нет уж, сударь, вы меня в действии уличите, а опосля и казните, а так я пред вами чист.

«А ежели он прав? — вдруг подумал наш герой с ужасом.— Хотя кто же нынче посмеет это подтвердить? Противники-то разве подтвердят? А друзья ведь отрекутся...»

«Дуняша, как же ты от выкупа отказалась?»

А может, это ротмистр розовощекий ее принудил? Чего же она так печально глядела? Хотя, чего же она так легко туда шла, словно в церковь, в своей домотканой рубахе? По этому скрипящему коридору?.. Ах, это не Пестелю по своему коридору идти... Жалеет ли он о своем поступке? Вестимо, жалеет, ежели бросился за кружкой перед ним, перед Авросимовым, который даже и не граф... Ах, вздор все, пустое. Вон он как перед графом сидит с дерзостью... Да где вы взяли дерзость-то? Как где? Или я не вижу? Да что вы, сударь, один страх и есть... Полноте, не страх вовсе, а скорбь... Да как он посмел, ротмистр несчастный, Дуняшу к себе силком заполучить?.. Как он мог правом своим воспользоваться, лицемер, говорящий, что о н и, мол, тоже люди!.. Ах, да оставьте вы, ей-богу, она как на праздник к нему шла... Вот как?

И надо было, покуда пистолет в ладони не охладел, ринуться к ротмистру в опочивальню, где он готовился к наслаждению, чтобы поднять его с ложа, его, считающего себя в полной безнаказанности. Ах, как вскочил бы он! «Перестаньте дрожать, сударь, я не разбойник. Надеюсь, вы не откажетесь от честного поединка... Где и когда?»

И с п р а в н и к. Командир Вятского полка Пестель неподалеку здесь жил.

А в р о с и м о в. Ну и что?

И с п р а в н и к. Хмурый был человек. Злодейство на его лице было написано. Как это он один, однако, против всех решился?

Авросимов. А нынче все против него...

Исправник. И поделом... Видите, как это ужасно, нарушать общий ход жизни!

Слепцов. Ну вот. Опять трава. Нас водят за нос, как детей! Предчувствие меня не обмануло. Я как знал, что вылазка будет неудачна. Николай Федорович, ваши шансы теперь — пыль. Vous comprenez â quel point votre situation est compliquée? [1]

Заикин. Боже мой, я сам во всем виноват! Какой невероятный позор. Je me sens menteur [2].

Слепцов. Vos regrets, vous pouvez les garder [3]. Они не помогают. Ладно, хватит. Que les juges décident [4]. Господин исправник, отправляйте мужиков.

Заикин. Господин ротмистр, Николай Сергеевич. Je veux faire un aveu important [5]. Теперь уже все равно.

Слепцов. Что еще?

Авросимов. А может, рытье до завтра отложить? Обдумать все...

Заикин. Ах, оставьте с вашими советами, бога ради! Николай Сергеевич...

Слепцов. Да говорите, черт возьми! Soyez donc un homme! [6]

Заикин. Теперь уж все равно. Vous avez été bon envers moi, et moi j'ai abusé de votre bonté [7]. Я лжец. Мне нет прощения. Вы были мне как брат, как отец, а я j'ai tout detruis [8].

[1] Вы понимаете всю сложность вашего положения? (фр.).
[2] Я чувствую себя лжецом (фр.).
[3] Раскаяния оставьте при себе (фр.).
[4] Пусть решают судьи (фр.).
[5] Я хочу сделать важное признание (фр.).
[6] Ну будьте же мужчиной! (фр.).
[7] Вы были ко мне добры, а я злоупотребил вашей добротой (фр.).
[8] растоптал это все (фр.).

Слепцов. Подпоручик, перестаньте жаловаться, в самом деле. Je ne veux pas en entendre parler [1]. Садитесь, господа, в кибитку.

Вот снова лошади рванули и понесли одуревших от усталости и разочарований людей к месту их ночлега.

В светелке, после того как расстались с неугомонным исправником, случилось маленькое происшествие, которое послужило началом дальнейших новых испытаний нашего героя.

Всему на свете есть предел, и нынче, то есть в эту злополучную ночь, душа Авросимова взбунтовалась. Истерзанный общим ходом дела, он, словно разъяренный зверь, затаившийся в кустах и выжидающий удобного момента, подкарауливал свою жертву, в которую велением души превратился ротмистр Слепцов. Все теперь в ротмистре возбуждало в нем гнев: и голос, и улыбка, и то, как он ходит, как ест, как стакан подносит ко рту...

— Послушайте,— сказал ротмистр подпоручику, сидящему на своей лавке в обреченной позе,— вы взялись меня одурачить? Я на вас положился и получил за это. Надо было мне держать вас за арестанта, а не за друга, в которого я поверил и которого полюбил всей душой.

Тут несчастный подпоручик заплакал, не стесняясь.

— Николай Сергеевич,— сказал он, плача,— я хочу вам сказать... но это, если вы... если это останется меж нами...

— Что же вы можете мне сказать? Что вы теперь можете?.. Ну говорите, говорите... Я даю слово...

— Николай Сергеевич,— проговорил подпоручик с

[1] Я не желаю слушать (фр.).

трудом,— делайте со мной, что хотите... Я рукописи не зарывал...

При этих словах ротмистр побледнел и долго пребывал в оцепенении.

— Для чего же вы всё проделали? — с ужасом и стоном спросил он наконец.— Вы понимаете, что это значит? Что же теперь, сударь?.. Но мне даже не потерянное время и невыполненный приказ столь ужасны, сколь ваша неблагородная ложь...

— Господин ротмистр,— проговорил подпоручик уже в полном отчаянии,— не называйте меня лжецом,— слезы так и текли по его лицу.— Да, я обманул вас, но в обмане моем не было злого умысла. Когда братья Бобрищевы-Пушкины отреклись от сего, а они, они ведь зарывали сии злополучные бумаги!.. так я решил взять на себя вину их... Всю дорогу, видя ваше со мной обхождение, я страдал и метался, понимая, что поступаю с вами подло, ввергнув вас в авантюру... Но поймите человека, очутившегося средь двух огней!

— Нет! — крикнул ротмистр дрогнувшим голосом, словно борясь с собой.— Нет! Вы не смели, черт возьми, морочить голову мне, господину Авросимову, следствию и государю! — вдруг он поник и сказал с болью: — Как вы сами себя наказали! Как отягчили свою судьбу...

— Я не хотел зла, не хотел зла,— пуще прежнего зарыдал подпоручик.

Милостивый государь, жизнь раскрывала перед нашим героем множество страниц. Он повидал молчаливых преступников, с дерзостью встречавших вопросы судей, не желавших отрекаться от собственных злодейств; были и другие — истекающие слезами и раскаивающиеся. Их раскаяния начинались с порога, и уж трудно было, даже невозможно было их остано-

вить, бог им судья... Но это была новая страница, когда на глазах Авросимова свершалось чудо падения от страстного взлета в бездну, от самопожертвования к рыданиям и страху, ах, ведь недавно совсем этот мальчик дух свой укреплял благородным стремлением, а тут вдруг повернулся спиной к собственному благородству.

Вот какую новую страницу перелистнула жизнь перед нашим героем, вот что повергло его сначала в ужас, а после — в гнев, которому суждено было расти на его собственное несчастье. Он вдруг увидел, как некий неистовый вихрь пламени и дыма обрушился на племя людей, заставляя их плясать, извиваться и корчиться, словно они и не люди, а жалкие осенние листья перед началом зимы; затем он увидел, что тот страшный и неумолимый вихрь есть не что иное, как их собственные безумства, и он попытался заглянуть еще дальше и еще глубже, но там уже начинался бог.

— Что же нам делать? — спросил ротмистр, когда страсти несколько поулеглись.— Участь ваша будет ужасна, господин подпоручик, ежели не найдется кто-либо в сем осведомленный, ежели вы его не найдете... Ведь должен был кто-то с вами об том разговаривать...

— Да, да, конечно,— проговорил подпоручик, едва сдерживая рыдания...— Такой человек есть... Дозвольте мне с ним встретиться, и я уговорю его раскрыть вам тайну.

— Кто он?

— Сударь,— вновь зарыдал подпоручик,— я назову вам человека, ежели вы пообещаете мне... дадите слово... Ежели в вас осталась хоть капля былого ко мне расположения, вы дадите слово, что оставите его имя в тайне... ибо он к сему делу совершенно не причастен... Если вы дадите слово... Ему просто показали,

где зарыта рукопись, а какая — он не ведает... ежели вы дадите слово... ежели вы дадите слово...

— Назовите же мне его,— сказал Слепцов несколько в растерянности.— Время уходит. Я даю вам слово.

— Вы слышите? — обратился Заикин к нашему герою.— Он д а е т слово... Вы дали слово, господин ротмистр, Николай Сергеевич, что не предпримете к названному лицу никаких мер...

— Кто он?

— Сей человек,— проговорил Заикин строго,— мой родной брат Феденька Заикин, который здесь... в Пермском полку подпрапорщиком... ежели вы дозволите мне с ним увидеться...

— Нет,— сказал ротмистр.— Это исключено. Вы напишете ему письмо. Горе вам, ежели он упрется! Я предвижу ужасный поворот в вашей судьбе...

— Сударь...

— Я хочу спасти вас. Еще одна возможность...

— Я не стою вашей доброты...

— Вы напишете как бы из Петербурга, поняли?.. Как бы вы из крепости пишете,— оцепенение покинуло ротмистра. Он заходил по светелке.— Вы тоже пишите, господин Авросимов...— шепнул он нашему герою.— Вы пишите подробный отчет о случившемся.— И снова громко.— Время не ждет. Я постараюсь раздобыть в полку фельдъегеря нынче же...— Исчезнувший было румянец вновь заиграл на его щеках.— Не медлите, господа: рассвет.

Подхваченные этим вихрем, и узник и вольный дворянин равно заторопились, и в желтом сиянии свечи их перья помчались по бумаге, разбрызгивая петербургские чернила.

Не буду утруждать вашего внимания донесением Авросимова, ибо он ничего не добавил к безуспешной

ночной работе, свидетелями которой вы уже были, а господин подпоручик Заикин написал следующее:

«Любезнейший брат技 Techn Techniques—

Я знаю верно что Павел Пушкин тебе показал место где он зарыл бумаги,— мне же он показал и видно неверно, я чтоб спасти его взял на себя вызвался и жестоко быв обманут погибаю совершенно. Тотчас по получении сей записки, от Николая Сергеевича Слепцова покажи ему сие место, как ты невинен, то тебе бояться и нечего ибо ты будешь иметь дело с человеком благородным моим приятелем который ни мне ни тебе зла не пожелает. Прощай будь здоров и от боязни не упорствуй, ибо тебе бояться нечего а меня спасешь. Любящий тебя брат твой

Николай Заикин.

Прошу тебя ради Бога не упорствуй, ибо иначе я погибну, чорт знает из чего из глупостей от ветренности и молодости. Если я пишу тебе сию записку, то ты смело можешь положиться на Николая Сергеевича Слепцова, ибо я ему совершенно открылся. Помни что упорство твое погубит меня и Пушкиных ибо я должен буду показать на них. Прошу еще раз не бойся и покажи».

— Николай Сергеевич, но вы дали слово, вы дали слово,— сказал подпоручик, вручая ротмистру письмо.

Слепцов, весь кипя, схватил письмо и донесение, составленное Авросимовым, и исчез, и вскоре наши герои услышали, как кибитка умчалась от постоялого двора.

Наш герой, будучи не в силах видеть отчаяния,
 обреченности и падения молодого офицера и не имея

способов поддержать его, ибо молодой офицер полностью его не замечал, вышел вон из дома, чтобы просвежиться по морозцу, а когда воротился, застал возле дверей светелки двух уже знакомых жандармов, которые, даже несмотря на сильную духоту, не сымали с плеч казенных тулупов. Их присутствие снова неприятно кольнуло его, тем более что унтер Кузьмин, развалившись прямо на полу перед дверью, и не подумал убрать свои ноги перед шагающим Авросимовым, мало того — предерзостно поглядел в глаза нашему герою.

Заикин лежал на лавке в любимой своей позе, подложив руки под голову, и слезы медленно текли по щекам.

— Все кончено,— вдруг сказал он, едва наш герой вошел в светелку.— Что же теперь будет, сударь? Теперь мне и жить нельзя, после всего.— Авросимов спервоначала удивился, что подпоручик обращается к нему, а после удивление сменилось участьем, такова уж была натура нашего героя.— Что же с Фединькой будет? Подвел я мальчика, подвел! Будто и можно положиться на слово ротмистра, да сомнения меня грызут... Я очень ослаб. Знаете, даже вот рук подымать не хочется... Не нарушит ли ротмистр слова?..

— Вы успокойтесь,— посоветовал Авросимов.— Даст бог...

— Не даст,— вдруг засмеялся подпоручик.— Не даст да и все тут. Уж коли раз не дал, так больше и подавно... Уж коли с Пестелем не дал... С Пестелем, сударь!..

— Вы отрекаетесь? — без удивления, даже как бы равнодушно спросил наш герой.— Нет, вы говорите... Отрекаетесь? Уж если отрекаетесь, то чего махать кулаками? Ведь верно?..

— Полноте, не давите на меня... Вы знаете, как я

пришел к нему? Какие прекрасные бури бушевали во мне? Как я горел?.. Вот то-то, сударь... Все было отринуто: любовь, суета жизни, личное устройство. Нетерпение сжигало меня, нетерпение, сударь. Картины, одна прелестнее другой, возникали в моем юношеском воображении, подогреваемые рассказами старших моих товарищей. Когда я засыпал, я видел перед собой предмет своего вожделения — страну, где ни подлого рабства, сударь, ни казнокрадов и грабителей, ни унижения одних другими, вы слышите? Ни солдатчины со шпицрутенами, но где добродетель и просвещение во главе... И синие моря, и зеленые горы, и воздух чист и ясен. Ну чего вам еще? Нет грязных трактиров, где умирают в пьянстве, нет постоялых дворов, где хозяева — клопы и тараканы, нет рубища... Господи, всего лишь два года назад в моей голове созревало все это! И тут я пришел к нему, как простой пастух к Моисею. И я увидел его холодные глаза. Господи, подумал я, неужто я смешон?

— Как вы это себе мыслите? — спросил он.

Я рассказал ему с жаром молодости, с азартом, сударь.

Тут он усмехнулся.

— Это прелестно,— сказал он,— ну а практически как вы представляете себе движение к сей прелестной цели? Представляете ли?

Я сказал, что постепенно, приуготовляя армию, мы поставим правителей перед необходимостью согласиться с нами...

— Под угрозой штыков?

— Что вы хотите этим сказать, господин полковник?

— Вы все-таки уповаете на армию,— снова усмехнулся он.— Значит, вы не отрицаете силы, стоящей перед вами?

— Нет, нет,— горячо возразил я.— Армия выскажет общее мнение. С этим нельзя не считаться...

— Ликвидация противоборствующей силы входит в предначертания любой революции,— сказал он.

Голова моя закружилась, когда я услыхал сей жестокий приговор. Зеленые леса пожелтели. Моря, сударь, высохли. Пустыня окружала меня, выжженная пустыня, и в центре ее возвышался злой гений с холодным взором.

— Стало быть,— пробормотал я,— пушкам надлежит стрелять, а крови литься?

Он снова усмехнулся.

— Когда бы можно было без того, я первый сложил бы оружие и надел бы хитон и сандалии.

— Но благоденствие!..— воскликнул я.

— Не говорите громких фраз,— оборвал он сурово.— Желание добра — точная наука.

— Какое же добро на крови-то? — ужаснулся я.

— Лучше добро на крови, чем кровь без добра,— отрубил он.

«Что же это должно означать? — подумал я с отчаянием.— Или неправы мои старшие товарищи? Нет, это невозможно. А он, неумолимый и точный как машина, ежели он не прав, чего ж они тогда боятся и любят его?»

Разве я мог тогда ответить на все эти вопросы?

Обетованная земля моя оскудела, кровь и пепел, и хрип бесчинствовали на ней. «Остановись! — твердил я самому себе.— Это умопомрачение!..» Но остановиться я уже не мог. Вот как. Нынче же разве это есть отречение? От чего ж мне, господин Авросимов, отрекаться, коли сие и не мое вовсе, а чужое?..

Еще один слабый друг с поспешной радостью заторопился прочь, не боясь осуждения, ибо осуждать было некому.

— Стало быть, не от мыслей, а от него отрекаетесь,— с грустью промолвил Авросимов, жалея всетаки подпоручика.

— Нет,— покачал головой Заикин,— от него — нет. Я не способен на бесчестье. Я же говорю вам, что это грех был не верить ему.

За дверью глухо переговаривались жандармы. И снова нашему герою показалось, что это он, Авросимов, не сделавший никому никакого зла, и есть узник, что будто вот они вдвоем с подпоручиком привезены сюда под конвоем и связаны общею судьбою, и что подпоручик уже сломлен, а Авросимову только еще пришел черед. Сейчас явится ротмистр, потерявший свое очарование, суетливый как распоследний писарь, вернется и произойдет нечто, отчего придется нашему герою валяться в ногах и отрекаться. Бледного и печального повезут его в Петербург, и там, в крепости, поведет его плац-майор Подушкин погибнуть в каменном мешке.

Тем временем уже ощутимо вставал февральский рассвет. Внизу ругались ямщики. Скрипел колодезный ворот. Запах печеного хлеба струился по дому. Подпоручик погрузился в кошмары на своей лавке и хрипел, и вскрикивал, и метался.

Авросимов погасил свечу, и светелка, едва тронутая серой дымкой, окружила его и погребла, словно крепостной каземат; где-то сейчас, наскоро перекусив, летел равнодушный фельдъегерь к Петербургу; где-то ротмистр вился вокруг Феденьки Заикина, чем-то его соблазняя, а может, напротив — пугая; где-то Милодорочка в чужом дому просыпалась после любовных утех; где-то Пестель стряхивал со столика утреннего прусачка, не ведая о своей судьбе, но внутренне содрогаясь.

Авросимов выглянул в оконце. До земли было недалеко. Можно вполне, повиснув на руках, соскочить, и вон — лес темнеет... Ах, господи, как хорошо на воле!

В этот самый момент на двери щелкнула задвижка. Страшная мысль ударила в голову нашему герою, он кинулся к двери и толкнул ее плечом, со всего маху. Она не поддалась. Подпоручик закричал во сне что-то несуразное... Тут страх еще более завладел Авросимовым, и вспомнились глаза ротмистра, как он спрашивает: «И чего вас со мной послали?..»

— Отвори, дьявол! — крикнул Авросимов и загрохотал в дверь кулаками. Никто не отзывался.— Отвори, убью!..

— Вы на себя потяните,— сказал за спиною подпоручик.

Авросимов, как безумный, рванул дверь и вылетел в коридор. Жандармов не было. Он сбежал вниз, через сени — на улицу, пробежал шагов двадцать и остановился.

«Господи,— подумал он, тяжело дыша.— Как хорошо на воле-то! Да пусть они разорвутся все и провалятся со всеми своими бурями и завистью! Да пусть они сами чего хотят и как хотят! Пусть расплачиваются сами и отрекаются, да... и пусть расплачиваются!..»

Но постепенно свежее утро сделало свое дело, и сердце нашего героя забилось ровнее. Возвращаться в светелку не хотелось, да и сон отлетел прочь. Тогда он пошел по утреннему Брацлавлю, так, куда глаза глядят. Господи, как хорошо на воле-то!

Представьте себе, все мысли улетучились из его головы, и февральский ветерок гулял в ней, и детская улыбка дрожала на раскрытых устах.

Прошло довольно много времени, как его догнал унтер Кузьмин и, не глядя в глаза, отрапортовал, задыхаясь в казенном тулупе:

— Ваше благородие, извольте вертаться. Господин ротмистр кличут.

— Ротмистр? — удивился Авросимов, возвращаясь на землю, где по-прежнему были дома, снег и заботы.

В светелке было тихо. На столе в миске румянились горячие пироги. Подпоручик крепко спал. Слепцов сидел у окна в раздумье. Он подмигнул Авросимову, словно приятелю, и улыбнулся.

— Наше с вами дело, господин Авросимов, в полном порядке. Я мальчика уговорил. Нынче ночью выроем и поскачем. Теперь у нас с вами все хорошо... Ух, я-то было перепугался!

«...Дуняша, оскорбитель твой, вот он — рядом. Скажи, что делать с ним?..»

— Вы так радуетесь, будто получили наследство,— шепотом, не скрывая неприязни, сказал наш герой.— Хотя, может, это и хорошо...

— Да ну вас,— засмеялся ротмистр,— все вам не так, ей-богу...

И вот его молодая рука потянулась к пирогу, и длинные пальцы ловко ухватили румяный бок, погрузились в него, отломили...

— Подпрапорщик очень мил, и все обещал сделать в лучшем виде. Но старший-то каков! Целую неделю водил за нос. То есть, я вам скажу, что восхищен им... Теперь мы вот с вами ловим, караем — все грязь, грязь — и этого не замечаем, а время пройдет, и мы не сможем не восхититься сим благородством. Ведь так, сударь?

— Нет, не так,— сказал Авросимов.

 Слепцов воззрился на него с недоумением.

— Какой вы однако спорщик,— засмеялся он благодушно.— А почему же вы со мной не согласны?

— А потому,— сказал Авросимов,— что вы службу несете, на вас надежда плоха...

Ротмистр засмеялся польщенно.

— Бутурлин в вас души не чает,— сказал он и снова ухватился за пироги.— Вы, друг мой, загадка...

— Что он там, Фединька? Не испугался? — вдруг спросил подпоручик, не открывая глаз.

— Хорош, хорош ваш братец,— радостно проговорил Слепцов.— Он умница. Тотчас все понял. Про вас спрашивал. Я сказал, что у вас все будет хорошо, что вы человек благородный.

— Спасибо,— сказал Заикин и впервые улыбнулся.— А уж вы, Николай Сергеевич, слово держите...

Так до самой полночи они забавлялись то душевными беседами, то сном, покуда не явился господин Поповский, как было уговорено, и ротмистр, распорядившись подпоручику и нашему герою оставаться и ждать, последовал за исправником на ночную свою охоту. Авросимов даже рад был сему обстоятельству, ибо до утра топтаться на холоду, даже ради государя, хоть и лестно, да зябко.

Не успели двери за ними захлопнуться, как подпоручик поворотился на бок и тотчас заснул. Авросимов начал было припоминать свое житье в деревне, да не заметил, как очутился в коридоре, уже вам знакомом. Английский пистолет в его руке был горяч. Кто-то опять призывал, однако так явственно, что можно было на сей раз почти разобрать слова. Звали на помощь. Наш герой торопился туда широкими прыжками, подобно льву в пустыне, и, наконец, увидел полуоткрытую крайнюю дверь, откуда и доносился зов. Но опять, как всегда, в ту самую минуту, как

он собирался рвануть сию злополучную дверь, его разбудили...

Горела свеча, хотя за окнами вставал рассвет. Подпоручик стоял лицом к оконцу, неподвижный как изваяние. Ротмистр торопливо обертывал мешковиной грязный объемистый сверток. Его пальцы ловко подхватывали концы, вязали узлы, будто он всю жизнь только тем и занимался, что свертки упаковывал.

Господи, подумал наш герой, неужто ради этого грязного свертка столько страданий! Вот он лежит на столе, ворочается, словно молодой поросенок перед базаром, и ротмистр, лейб-гусар и адъютант генерала, гнется над ним с нетерпением, и в Петербурге все, все, от господина Боровкова до государя ждут сей клад с еще большим нетерпением... И ради этого столько всего, столько горьких слов друг другу!

— Мы едем,— сказал Слепцов нашему герою.— Поторопитесь.

И вдруг все существо Авросимова возмутилось при звуках этого голоса. Взъерошенный, с пухом, приста́вшим к волосам, еще не совсем покинувший тот злополучный коридор, Авросимов поднялся, ровно медведь из берлоги.

— Поспешайте, поспешайте, сударь,— сказал ротмистр, заканчивая упаковку.— В кибитке отоспитесь. Ваш тяжкий труд, слава богу, закончен.

— Я не заслужил ваших насмешек,— сказал Авросимов, сжимая кулачища и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на дерзкого гусара.

Ротмистр даже не взглянул на него, а кликнул унтера, и когда тот появился, словно истукан застыв на пороге, подошел к подпоручику и тронул его за плечо:

— Простите, господин подпоручик, но боюсь, что пренебрежение инструкцией принесет мне много неприятностей. Я должен надеть на вас цепи...

В руках унтера Кузьмина звякнула цепь.

Едва слышный стон вырвался из груди нашего героя.

— Вот как? — проговорил Заикин, бледный как смерть. — Вот как?..

Цепь снова зазвенела уже в руках у ротмистра, замок щелкнул. Все было кончено.

— Что с братом? — едва шевеля губами, спросил подпоручик.

— Вашего брата, господин подпоручик, я вынужден был взять под стражу,— несколько суетливо ответил Слепцов.— Пора, господа, пора, собирайтесь.

— Вы не смеете! — закричал подпоручик.— Вы лжец! Где же ваше слово? — рыдания вновь начали душить его, и он опустился на лавку.

— Вы сами лжец! — закричал ротмистр в ответ.— Вы мне братца вашего рисовали ангелом! А он оказался пособником бунтовщиков. Он слишком ловко, черт его дери, определил место, и мы моментально извлекли сей предмет... Очень ловко, сударь! Он разболтался со мной о вещах, которые его изобличают... Это я лжец? Я кормил вас и поил и был вам заместо брата, черт вас возьми, а вы меня за нос водили! Вы — меня!..

Тут ротмистр осекся, ибо тяжкая рука нашего героя легла ему на плечо.

— Оставьте этого несчастного,— потребовал Авросимов.

— Что это значит? — спросил Слепцов, не теряя присутствия духа.

— А это значит,— грозно сказал наш герой,— что господин подпоручик за свою ложь удостоился получить от вас цепи, а вы за свою остаетесь безнаказанны.

Тут унтер, до сих пор пребывавший в оцепенении, сделал шаг в их сторону.

— Пошел прочь,— приказал Авросимов.

— Ступай, тебе говорят,— сказал Слепцов.

Унтер выбрался из светелки. Подпоручик рыдал на своей лавке. Авросимов подтолкнул ротмистра, и тот присел рядом с Заикиным.

Теперь они сидели рядом, ротмистр и подпоручик, ровно два брата. Тот, что в цепях, продолжал рыдать, но, странное дело, жалости к нему не было. Другой уставился на нашего героя, не мигая, даже как будто снисходительно.

— Вы негодяй, господин ротмистр,— сказал Авросимов, вдруг остывая.— Надеюсь, хоть не трус?

Слепцов усмехнулся.

— Это невозможно, господин Авросимов. Без секундантов?..

— К черту секундантов!

Этот подпоручик, жалкий такой... Да как он смел доверяться! Чего же слезы-то лить? Каких друзей себе полковник Пестель подбирал, уму непостижимо!..

— Я при исполнении служебных обязанностей, сударь,— сказал ротмистр.— Потерпите до Петербурга.

— Нет! — крикнул наш герой без охоты.

— Да,— усмехнулся Слепцов.

— А если так?! — крикнул Авросимов и ударил ротмистра по щеке.

Слепцов потер щеку, потом сказал:

— И все-таки, сударь, примите мой отказ... Я ценю ваше благородство, но нужно же считаться с обстоятельствами. Ежели вы меня пристрелите, на кого же я оставлю господина подпоручика и сверток?..

 А оплеуху вашу, сударь, я не забуду и в Петербурге

сам вам о ней напомню. Вы еще плохо знаете Слепцова.

Звук пощечины и спокойная речь ротмистра совсем охладили Авросимова. Пожар угас, и по телу распространилась лень. Рука была все еще занесена, но кровь была прохладна.

Рассвет совсем уж разыгрался, и в его сиянии ничтожней стал казаться таинственный сверток, из-за которого разыгралось столько бурь.

На виду у испуганных ямщиков, сгрудившихся возле постоялого двора, они прошествовали к своим кибиткам, сопровождая медленно бредущего подпоручика.

Наконец кибитки тронулись.

13

Презабавная ситуация сложилась, милостивый государь, за время их пути. Былой союз, замешанный на долге и несчастье, распался. Не замечая друг друга, наскоро съедали они свою нехитрую еду, укладывались на ночлег, или и без ночлега спали на ходу в кибитках, сидя, покуда там заиндевелые, горластые ямщики понукали лошадей и перекрикивались от кибитки к кибитке, чтобы отогнать страх ночной и доказать серым разбойникам, что люди живы, горласты и в обиду себя не дадут.

Подпоручик был погружен в тяжелые раздумья, мрачнея от версты к версте, по мере приближения к Петербургу. Ротмистр Слепцов почти всю дорогу спал, набегавшись в Брацлавле и пересуетившись. Авросимов все поглядывал через оконце на заснеженный лес, и можно было подумать, что расположение де-

ревьев и снежные на них покровы волнуют его воображение.

Вы, милостивый государь, познакомились с этой поездкой и теперь, оглядываясь назад через головы нескольких десятков лет, отделяющих вас от того путешествия, улыбаетесь снисходительно, понимая, что сие предприятие тоже было частью большой игры, в которую играли люди знатные, свободные и верящие в свое превосходство. Но они-то играли не только сами, а и других втягивали, внушая им, что это так и должно быть, и даже сами начинали верить собственным внушениям. Воистину, страсть к сей игре не переменяется с годами. Нынче-то разве не то же самое, милостивый государь? Вы поглядите, как ловко распределены чины и звания, как ниточка, на которой все это свершается, одним концом устремлена вверх, а другим уходит вниз. Ну, натурально, что в наши дни у всего у этого свой привкус и своя тонкость, ибо предложи нам, нынешним, ту игру, в которую играл еще Авросимов по собственному неведению, мы ведь ее не примем, а будем смеяться, отвергнем: мол, не в игры играть приходим мы на землю, а жить и приумножать славу отечества. Время меняет облик игры, приспособляя ее под наш с вами вкус, чтобы мы со всем сердцем в ней участвовали, чтобы головы и у нас кружились, и чтобы дух захватывало: не зря, мол, живем, господа. Не зря!

Однако, как видится мне, в обширном этом море безумств почти что и нет не плачущих о собственном пироге, ибо все мы с пеленок бываем нацелены на румяный его бок с хрустящей корочкой, поражающей наше воображение своим неистовым глянцем.

Это все говорю я к тому, чтобы вы не подумали обо мне дурно, в том смысле, что я, мол, и не вижу сути, не умею отличить подлости от добродетели,

пстины от фальши. Нет, милостивый государь, может быть, что касается нынешнего времени, я тоже, как всякий другой смертный, обольщаюсь, надеюсь, что, мол, моя-то жизнь вне игры, меня-то не проведешь... однако вчерашний день всегда виднее, и те годы, когда наш герой со всем пылом своим пытался понять себя самого, мне видны, ах, как видны. Да и что за сложность — оценить его поступки? Впрочем, не торопитесь, споткнетесь.

Теперь давайте вернемся к нашему герою, и должен вам сказать, что на самом деле сердце его было не столь смягчено созерцанием окружающей природы, сколь возбужденно клокотало от предчувствия скорого приезда в Колупановку, где, ежели вы помните, не все им было поставлено на свои места.

Незадолго до Колупановки кибитки остановились в самом лесу. Ротмистр вылез отдать распоряжения, затем вернулся и сказал:

— Господа, мы выполнили свой долг. Все наши с вами временные противоречия я предлагаю позабыть. Давайте въедем в милую Колупановку, как старые и добрые друзья. Я понимаю, что теперь это крайне трудно и вам, господин подпоручик, и вам, господин Авросимов. Поверьте однако, что и я — живой человек, и во мне тоже горит пламя обиды. Но я его прячу в самую глубину души, дабы не отравлять вам и себе самому времени, которое нам предстоит провести. Я первый кланяюсь вам и предлагаю забыть раздоры.— И тут он длинными своими пальцами ловко снял цепи с подпоручика и отшвырнул их прочь.— Докажем, господа, самим себе и всему свету, что истинные благородные представители человеческого рода умеют, не забывая о долге, предстать друг перед другом в наилучшем виде...

Засим лошади тронули, и полозья заскрипели.

Удивленный, возмущенный и одновременно ободренный пламенной ротмистровой речью, наш герой сказал в ответ:

— Господа, случилось однажды так, что я увидел вас как бы братьями. Поверьте, мне сие было дорого и радостно. На минуту забывшись, я уж был готов поверить в это, как вдруг вы, господин ротмистр, пренебрегши сердцем, выказали себя таким отчаянным ревнителем долга, что вся картина, нарисованная в моем воображении, тотчас потускнела. Когда я вижу одного брата в цепях, а другого...

— Я же спял с него цепи,— сказал ротмистр.

— Нет, нет,— откликнулся подпоручик,— вы не смеете упрекать его.— И он усмехнулся.— Я сам заслужил эти цепи и все свои несчастья. Я сам тому виною...

— Когда я вижу одного брата в цепях,— упрямо продолжал наш герой,— а другого в нетерпении ждущего свидания со своей дворовой...

— Остановитесь! — крикнул Слепцов, и краска залила ему щеки пуще прежнего.— Вы с ума сошли! Да посудите сами, несчастный вы человек, разве я виновен в бедах подпоручика? Разве на м н е грех бунта и крови?.. Чего вы меня терзаете всю дорогу!

Авросимову вдруг стало жаль ротмистра, сердце его дрогнуло.

— Господин Авросимов,— сказал подпоручик,— мое положение обязывает меня молчать, но в эту минуту, благодаря доброте господина ротмистра, я свободен от цепей...

— Да, да, скажите ему, скажите,— попросил ротмистр.

— Это ли не шаг гуманный и добропорядочный? Когда бы вам, господин Авросимов, поручено было меня держать в цепях, разве ж вы смогли бы решить-

ся на сей шаг? Смогли бы?.. Господин ротмистр — мой приятель, если вам угодно, и благодетель, а вы вторгаетесь в наш союз со своими немыслимыми суждениями и фантазиями, и безумством...

— Он ревнует Дуняшу,— засмеялся ротмистр.— Я понял. Да бог с ним. Не будем отравлять себе время. Колупановка близко. Вы ревнуете Дуняшу, господин Авросимов? А вы ее заслужили?

— Господин ротмистр,— сказал наш герой со спокойствием необыкновенным,— я имею намерение выкупить Дуняшу. Продайте ее мне.

Тут наступила такая тишина, что страшно и подумать, и можно было бы засим ждать всяких неприятностей, но ничего не случилось, и Слепцов, наконец, спросил насмешливо:

— А как же с женихом быть? С Дуняшиным женихом? Я уже имел честь вам сообщать об этом.

— А вы его на конюшню! — крикнул наш герой, разгоряченный торгом.— Я вам тоже имел честь советовать это. Вам же это не трудно.

Тут, представьте себе, ротмистр захохотал, закрутил головой.

— Да жених-то ведь я,— проговорил он сквозь смех.

Глубокое изумление поразило обоих его попутчиков. В невероятном том известии была какая-то скрытая боль, и была тайна.

Тут не выдержал подпоручик.

— Позвольте, Николай Сергеевич,— проговорил он с ужасом,— вы ведь женаты, сударь... Вы шутите...

— Нет, я не шучу,— грустно проговорил ротмистр.— Дуняша действительно моя невеста. Невеста моей души... Вы обратили внимание на ее улыбку? Как она глядит на меня? Господин Авросимов, вы молоды, не судите обо всем со строгостью старца...

Господа, давайте въедем в усадьбу прежними друзьями, а там — будь что будет.

И они увидели, как за оконцем кибитки замелькали деревья знакомого сада, и вскоре гостеприимный дом возник перед ними.

Не успели они раздеться, привести себя в порядок и усесться в гостиной в задумчивых позах, как тотчас вошел ротмистр, ведя за руку Дуняшу. Лицо ее было строго, глаза сверкали откуда-то из глубины. Она молча опустилась в кресло как раз напротив Авросимова.

— Господа,— сказал ротмистр,— я не хочу кривотолков и обид. Вот Дуняша. Видите? Вот она перед вами. Теперь я при вас же спрошу ее... Дуняша, я спросить тебя хочу... Вот господин Авросимов вызвал меня с ним стреляться, а когда я отказал ему в удовольствии, ибо я при исполнении служебных обязанностей, он меня по щеке ударил,— лицо у Дуняши даже не дрогнуло при сих словах, она даже и не пошевельнулась, сидела, положив руки на колени, глядя в окно, мимо Авросимова.— Тут в пути выяснилось, что ты господину Авросимову по сердцу,— она улыбнулась, показывая два зубочка, склоненных друг к другу,— ...и он намеревается тебя выкупить.

Все замерло, как перед бурей. Ротмистр поигрывал книжной закладкой и не глядел в сторону Дуняши. Подпоручик часто вздыхал, и глаза его, переполненные давними слезами, помаргивали, Авросимов, борясь с собой, ждал Дуняшиного приговора.

— А зачем меня выкупать? — спросила Дуняша тихо, с невозможной своей улыбкой.— Зачем же? Я вольная. Мне Николай Сергеевич волю дал. У меня и бумажка об том есть...

Ротмистр устало улыбнулся и выронил закладку.

Дуняша поднялась, поцеловала его в лоб и пошла вон из комнаты.

Во всей этой путанице страстей и нравов наш герой, натурально, разобраться не мог, а потому предпочел молчать, ибо обстановка складывалась престранная, а быть на смеху не хотелось. Когда ротмистр, спустя некоторое время, предложил песни послушать, Авросимов отказался.

Перед сном зашел Слепцов в вишневом халате, с длинным чубуком.

— Ходит слух,— сказал он,— что в округе появились разбойники. Не думаю, что они рискнут напасть на усадьбу, но всякое может быть, хотя мои люди начеку, а они народ бывалый...

Предупреждение это поначалу не очень взволновало нашего героя, ибо пистолет заветный был на своем месте. Он услыхал, как ротмистр предупредил о том же Заикина, сказав, что ежели что, он будет рядом.

И все-таки, как ни хорош был пистолет, постепенно тревога росла и усиливалась. Сон не шел. Да и какой уж тут сон? В каждом шорохе и скрипе чудилось нашему герою приближение ночных гостей. Воображение начало рисовать ему картины одну ужаснее другой. То есть не то, чтобы он испугался, но пустое ожидание становилось невыносимым. Он лежал на кровати во всей одежде, с радостью ощущая у сердца холодную тяжесть верного своего товарища.

Неизвестно, сколько времени прошло таким образом, как до навострившегося слуха нашего героя донесся протяжный свист. Он возник где-то в саду, пронесся вокруг дома и угас. Что нужно было разбойникам в спящей мирной усадьбе? Или просто им захотелось поглумиться над страхом своих жертв, или золота искали? Или мстили кому за что?.. Свист повторился ближе. И тотчас ему откликнулся другой. Дом затаился.

«Не осмелются в дом ломиться,— подумал Авросимов.— Да разве сие возможно?»

В этот момент хлопнула какая-то дальняя дверь. Наш герой вздрогнул. Свист раздался снова, жуткий, разбойный, немилосердный. Кто-то закричал истошно в доме. Что-то рухнуло, так что стены заходили ходуном.

«Надо бы к Заикину забежать,— подумал наш герой, ощущая, как к горлу подступает.— Вдвоем-то надежнее».

Вдруг за окном хрустнуло, и чья-то мерзкая физиономия прилипла к стеклу и вперила на мгновение два глаза в комнату, но тотчас скрылась.

Загрохотало сильнее. Авросимову почудился женский крик. «Дуняша!» — мелькнула мысль.

Он выхватил пистолет, еще не совсем соображая, куда бежать, но полный ощущения разверзшегося ада. Грохот внезапно прекратился. Послышались тяжелые шаги. Они приближались.

«Дверь! — успел подумать он.— Она не заперта!»

И тут дверь распахнулась, словно вихрь обрушился на нее, и множество людей в тулупах и в масках, воя и размахивая фонарями, ворвались в комнату. Воистину это были чудовища, ибо трудно было определить, где кончались у них мохнатые головы, и где начинались могучие волосатые раскоряченные ноги, и сколько было на их мордах разинутых воющих ртов... Лишь клыки поблескивали, и клубок лап, хвостов, а может, змей кишел и клокотал.

— Вот он! — крикнул высокий разбойник в маске, указывая на нашего героя.— Хватайте его! Держите!

Но не успела воющая эта масса сделать и шага, как наш герой выстрелил. Разбойник грянулся об пол.
 Крики ужаса потрясли комнату, и Авросимов с безум-

ным лицом вскочил на подоконник и локтем саданул в окно. Зазвенело стекло.

— Господин Авросимов! — услышал он за спиной громкий крик ротмистра Слепцова.— Куда вы, сударь? Очнитесь!..

Наш герой обернулся. С высоты подоконника невероятная картина представилась его взору. Чудищ не было. Множество фонарей освещали комнату, и в ярком красноватом их свете маячили, прижимаясь к стенам, неподвижные испуганные лица. Лица были белы, рты полуоткрыты. Среди этой безмолвной толпы возвышался ротмистр Слепцов в вишневом халате, с длинным чубуком в чувствительных пальцах, словно Князь Тьмы среди притихшего шабаша. Разбойник в черной маске неподвижно лежал у его ног.

— Слушайте, слезайте оттуда,— сказал ротмистр странным голосом.— Что это с вами?

Он взмахнул рукой, и несколько человек, вцепившись в бездыханное тело разбойника, выволокли его прочь.

Наш герой слез с подоконника, крепко сжимая пистолет. Люди, окружавшие ротмистра, постепенно исчезли, и вскоре ни одного из них уже не было.

— Что сие значит? — спросил Авросимов, подходя к Слепцову.

— Сударь,— сказал ротмистр миролюбиво, хотя и не без страха,— вы очень, сударь, кричали. Очевидно, во сне. И мои люди поспешили к вам на помощь.

— Господин ротмистр,— сказал Авросимов, задыхаясь от гнева,— я не спал ни минуты... Стало быть, это в а ш и люди в масках врываются в комнаты?

— В каких масках? — удивился Слепцов.

— А тот, которого я пристрелил...

— Господь с вами, кого еще вы пристрелили? Да из чего?

— А вот,— протянул Авросимов ротмистру свой пистолет.— Это вы видели?

— Ну и что? — пожал плечами ротмистр.— Вы не могли из него стрелять, ибо у него свернут курок.

— Да как же не мог, когда я выстрелил! — крикнул наш герой.

— Успокойтесь, сударь, вы спали... Дуняша услыхала ваш крик и разбудила меня, и я поспешил к вам...

— А люди? А это скопище людей? — спросил Авросимов потерянно.

— Люди? Да и людей не было. Что с вами?..

Вдруг от стены отделился подпоручик, которого до сих пор никто не замечал.

— Господин ротмистр,— сказал он глухо.— Ваша шутка граничит с подлостью. Комедия, которую вы затеяли, позорна.

— Да что вы, господа,— засмеялся Слепцов, пятясь к дверям.— Господь с вами! Какая еще комедия?

— Вам бы, очевидно, удалось надсмеяться над господином Авросимовым, не случись у него пистолета,— отрезал Заикин и шагнул к ротмистру.— Вы поступили низко, и я очень сожалею, что обстоятельства мешают мне посчитаться с вами.

— Ну ладно,— сказал ротмистр из дверей.— Ну что такого? А хотите, господа, сядем за стол и забудем об этом? А? Выспимся в дороге. Давайте, господа? И Дуняшу попросим спеть. Вам же нравится Дуняша, господин Авросимов. Вот у вас будет еще возможность полюбоваться ею...

— Ступайте прочь,— сказал Авросимов мрачно.— И вы и ваши холопы...

Тут ротмистр поклонился церемонно и исчез. Глаза его улыбались.

Наш герой обратил взгляд на свой пистолет, который так и не выпускал из рук. Курок действительно был свернут в сторону. Он заглянул в ствол — сладкий аромат выстрела распространился из темной таинственной его глубины.

— Сударь,— сказал подпоручик,— я давно к вам приглядываюсь, ваше стремление к правде мне очень по сердцу. Я помню ваше любезное предложение и, надеюсь, что вы не откажете в просьбе человеку, попавшему в беду...

Возбуждение после случившегося еще не покинуло нашего героя, но тихий доверительный шепот подпоручика и ветер, рвущийся в разбитое окно, уже делали свое дело.

— Не соблаговолите ли отыскать в Петербурге мою сестру Настеньку и передать ей сию небольшую записку, в которой (можете не сомневаться) нет ничего, что могло бы вас скомпрометировать,— тут голос у подпоручика дрогнул. Он махнул рукой.

Волнение его передалось нашему герою, и образ Настеньки возник перед ним, заслонив минувшие несчастья.

Утром, усаживаясь в кибитку, Авросимов не досчитался унтера Кузьмина. Дуняшино лицо маячило в окне. Наконец унтер появился из дверей и, прихрамывая, сошел с крыльца. Он прошествовал мимо нашего героя, не глянув в его сторону.

— Ты, я слышал, занемог, Кузьмин? — спросил Слепцов.

— Есть малость, ваше благородие,— ответствовал унтер голосом давешнего разбойника.

14

Вы, наверное, заметили, как наш герой всякий раз, когда обстоятельства напоминали ему о печальной судьбе мятежного полковника, как он всякий раз будто вздрагивал, и синие его глаза наполнялись как бы дымкою? Не обольщайтесь относительно жалостливости в нем и движений доброго сердца. Тут, милостивый государь, все обстоит посложнее, чем вам могло бы показаться, ведь Павел Иванович Авросимову мил не стал, да и как мог стать, коли гнев к возмутителю спокойствия продолжал мучать нашего героя беспрестанно. Хотя, ежели говорить начистоту, этот самый гнев ощущался как-то по-новому, и все, представьте себе, из-за прусачков.

Кажется, ну что в этом золотистом маленьком разбойнике, шустром и наглом, от которого невозможно избавиться, а единственное, что следует делать, чтобы вконец не потерять своего достоинства, гоняясь за ним, так это не обращать на него внимания... Да, все это так, а вот подите же, стоило нашему герою с гневом подумать о полковнике, как он тотчас вспоминал этих самых прусачков, бесчисленные стада которых пасутся в казематах, и, странное дело, гнев укрощался, ровно пламя, добравшееся в своем азарте до мокрых досок. И как только он укрощался и затихал и тлел, тут вспоминалась растерянная улыбка Павла Ивановича, и как он говорит: «А я думал, вы меня ненавидите...», и вот так это все одно к одному, и от гнева почти ничего не оставалось, а вместо него загоралось что-то такое, отчего у нашего героя начинались всякие страдания, будто это его самого содержат в каземате и ведут допрашивать. И он тогда разглядывал пристально своих судей: вот граф Татищев, во-

енный министр, словно не выспавшаяся птица с малиновым от водки клювом; вот генерал Чернышев, у которого под мохнатыми бровями — два презрительных отравленных зрачка, и улыбка у него, от которой не жди пощады, и крик, ровно он не просто генерал-адъютант, а сам великий князь Михаил Павлович; вот Михаил Павлович с благообразным юношеским лицом, да ему все некогда, он брезглив, тороплив и насмешлив. А над чем насмехаться, господа, ежели сие — ужасная катастрофа? Однако, ежели не катастрофа, чего же мы, господа, время теряем, распутывая узел, которого не существует?

Тут наш герой подумал, что, не сломайся полковник, он мог бы с помощью верных друзей, которые, конечно у него остались на этом свете, бежать даже отсюда, из этой страшной крепости, и тогда страху меж судей не было бы конца, тем более что кто-то, а кто — наш герой уже не помнил, высказывал предположение, что полковнику грозит гибель: не случайно, мол, все сошлись на нем в этом торжище. Уж не Павел ли Бутурлин был сей грозный оракул? Или что ужасное прочли они в найденных листах?

— Послушай,— сказал он кавалергарду.— Как то есть смерть?

— Ээ,— засмеялся друг милый,— даже цари смертны.

Это нисколько не развеяло туману, и Авросимов спросил снова, без надежды, но со злостью:

— А почем нынче честь да благородство?

— Не приценялся,— снова усмехнулся кавалергард.— Не знаю, как кто, а что до меня, так я за все ассигнациями привык платить.

Сей потешный разговор ни к чему не привел, и наш герой, ломая голову, сидел над своими бумагами в ожидании, когда, наконец, введут полковника,

как вдруг, глянув в окно, увидел на заснеженном крепостном плацу знакомую печальную фигурку, которая изменила своему обычному месту у ограды собора, и потому, наверное, теперь ее было видно. Это его крайне обрадовало, ибо с момента возвращения из поездки прошло пять дней, а Настенька будто нарочно перестала появляться на привычном месте. Он сгорал от нетерпенья, пытался в городе ее разыскать, да закружился в хлопотах.

Пестеля ввели как всегда незаметно. Уже зажгли первые свечи. Он вошел сутулясь, словно тяжкий недуг преследовал его многие дни. Теперь, после обнаружения страшной рукописи, все должно было бы совершаться быстрее, но, странное дело, лица судей были спокойны, даже скучны, огонь злорадства не сверкал в их глазах, они тихо переговаривались, приуготовляясь к привычному бою.

Павел Иванович словно даже несколько потучнел за эти дни. Рыхловатая тучность его производила грустное впечатление, да и в лице была грусть, а может, даже потерянность, лишь маленькие глаза были холодны по-прежнему, и только когда он обратил их в сторону нашего героя, подернулись легким теплом.

Авросимов опустил голову. Павел Иванович отвернулся.

«Этот рыжий великан здесь,— подумал он с легким вздохом...— Слава богу...»

В течение нескольких минут мятежный полковник и члены Комитета молча разглядывали друг друга, словно вели беззвучный разговор.

«Идеи ниспровержения монархии носятся в воздухе,— словно говорил полковник, пожимая плечами,— сие не мое изобретение, а, стало быть, и не моя вина... Просто я по складу своей души, по направлению своих интересов увидел это и воспринял. Деятельность

моя была следствием исторической неизбежности, а не злого умысла».

«Вы прикрываете высокими рассуждениями неудавшуюся попытку цареубийства,— словно твердили судьи с упрямством.— В вашей Русской Правде этого нет, но об этом вы не могли не мечтать. Не отпирайтесь».

«Господа,— продолжал полковник,— я же отлично понимаю, что обвинение меня в попытке цареубийства — это ширма. Не это вам страшно, а свержение монархии и установление республики, которой до вас нет дела. Не царя вы жалеете, но себя».

«Нет, мы жалеем царя, ибо связаны с ним духовными узами из поколения в поколение».

«Нет, вы не жалеете царя, ибо живут и здравствуют убийцы Павла Петровича... А что до меня, можете считать, что я сам предал себя в ваши руки, хотя у меня были многие возможности избежать ареста. Но я совершил сие под давлением печальной мысли о несовершенстве революционного пламени в России. Пожалуй, это и объясняет мою с вами откровенность».

«Вы признаете, что пошли по ложному пути, именуя самодержавие тиранством?»

«Неограниченная власть — всегда тиранство. Я не шел по ложному пути. Я несколько поторопился. Уравнение с многими неизвестными требует, очевидно, большей усидчивости».

«...и вовлекли в свое злодейское предприятие десятки неискушенных сердец, которые теперь расплачиваются за ваш холодный умысел».

«Бог рассудит всех по высшей справедливости. История знает тому множество примеров...»

Вот что расслышал Авросимов, участвуя в их молчаливом диалоге, как вдруг различил наяву сказанное генералом Чернышевым:

— Кто же склонил вас к увлечению политическими науками?

Павел Иванович кротко глянул на генерала, что было даже странно при его холодных глазах, и ответил, пожимая плечами:

— Никто. Их знание требовалось для поступления в верхний класс Пажеского корпуса.

Тут произошло легкое движение, и судьи переглянулись между собой. И не то чтобы замешательство, а некоторое их недоумение не укрылось от синих глаз нашего героя.

— Что же вам удалось почерпнуть из них? — тихо спросил генерал Чернышев.

— Что благоденствие и злополучие царств и народов зависит по большей части от правительств,— ответил Павел Иванович.

«А от кого же еще?..— подумал наш герой, выводя бешеные свои строчки.— Берегись, полковник!»

Настенька продолжала маячить на плацу. Бедное тоненькое создание.

— Не понимаю,— рассердился генерал.— И это навело вас на преступные мысли?

— Я имею честь,— сказал Павел Иванович, разглядывая свой палец,— со всей чистосердечностью сообщить Комитету, что сии занятия возбудили во мне намерения самые патриотические, а именно — установить: соблюдены ли в российском политическом устройстве правила, диктуемые политическими науками... Я стал обдумывать, как изменить и усовершенствовать различные государственные уложения...

— Зачем?.. Зачем? — торопливо поинтересовался военный министр.

Павел Иванович ответил все тем же тихим и бесстрастным голосом, будто все уже кончилось, и его
 самого уже не существовало, и не существовало борь-

бы за жизнь, а просто это душа его, не ведающая ни лжи, ни правды, ни гордости, ни страха, однообразно и монотонно исповедовалась где-то:

— Рабство крестьян всегда сильно на меня действовало, а равно и большие преимущества аристократии, стоящей меж монархом и народом и скрывающей истинное положение народа ради собственных выгод...

— Для чего же создавали вы Русскую Правду вашу?

— Чтобы предложить ее правительству и государю па рассмотрение.

Генерал Чернышев хотел было возразить на это, но поперхнулся и долго кашлял. Павел Иванович терпеливо ждал. Наш герой даже подумал, что случись здесь та самая железная кружка и упади она сейчас на пол, полковник бы за нею не бросился, чтобы поставить ее перед судьями.

— Зачем же вы вывели, что нужно извести монарха, ежели вина лежит, как вы утверждаете, на аристократии? — вмешался генерал Левашов, глядя при этом не на Павла Ивановича, а, почему-то на старого князя Голицына, спящего в своем кресле.

— При чем цареубийство? — поморщился Пестель.— Я ничего не утверждал. Время... Я же говорю, время выдвинуло сию необходимость. Монархия — тормоз в развитии стран. Это же подтверждено историей.

— Стремление к цареубийству было главным в вашей деятельности! — крикнул генерал Чернышев.

— Да нет же,— снова с досадой поморщился Пестель.— Я же имел честь сообщать вам, что стремление к совершенству...

Тут Павел Иванович прервал сам себя, будто устал, повел головой и остановил взгляд свой на нашем

герое. Рыжий молодец глядел не волком из-за своего столика, а наоборот, с грустью и даже с отчаянием... И все тотчас же, проследив взгляд Павла Ивановича, посмотрели на Авросимова.

«Да что же это вы!» — кричали изумленные глаза нашего героя полковнику.

— Справедливым будет добавить,— вдруг громко сказал Павел Иванович,— что в течение всего двадцать пятого года стал сей образ мыслей во мне уже ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно было совершить благополучно обратный путь...

Военный министр шумно вздохнул.

«Ложь!» — вскричал про себя Авросимов, негодуя.

Неожиданное признание Павла Ивановича престранно подействовало на нашего героя, будто слабость полковника его оскорбила, будто самому Авросимову не этого хотелось. А чего же ему хотелось? Чего вообще могло хотеться нашему рыжему мученику, в воображении облачившему себя в нанковый халат?

Сумерки скрыли фигуру Настеньки на крепостном плацу.

«Ах, кабы не ушла,— заволновался он.— Кабы дождалася!»

В следственную комнату неслышно вошел изящный Павел Бутурлин и принялся докладывать что-то графу Татищеву, при этом успевая подмигивать нашему герою.

В этот момент генерал Чернышев спросил у Пестеля:

— Каким же образом революционные мысли укреплялись в умах?

«Да, действительно,— подумал наш герой,— каким же это образом?»

Стояла томительная тишина. Пальцы Пестеля поигрывали краем красной суконной скатерти. Полковник сидел в своем кресле ровно и неподвижно, но вот пальцы его...

— Политические книги у всех в руках,— сказал он тоном усталого наставника, и все посмотрели на него, как равнодушные ученики,— политические науки везде преподаются, политические известия повсюду распространяются, история, а особливо происшествия недавней войны, показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями оныя производить...

Да, да, милостивые государи, все сие и ознакомило с возможностями и удобностями...

— Кто из высокопоставленных лиц думал и желал другого устройства в государстве? — спросил генерал Чернышев.

— Ничей из них образ мыслей мне неизвестен,— отозвался Павел Иванович.— Это просто мы рассуждали, что когда революция возьмет свой ход и будет иметь хороший успех, тогда многие к ней присоединятся, даже и из высших чиновников.

— Ну как же так? — удивился граф Татищев.

Вдруг дикая мысль блеснула в голове нашего героя о том, что женщина в сумерках очень просто могла бы выйти из крепости, и никто бы ее не хватился... Она даже могла бы перейти ров, покрытый льдом, меж равелином и крепостью. А ежели часовые крепко бы спали, она могла бы просто пройти насквозь все

коридоры равелина и тоже выйти вон... Незаметные дровни с сеном в безлунную ночь неслышно пересекут Неву, лишь легкий скрип раздастся в морозном воздухе либо будет и вовсе заглушен свистом метели... О, ежели метель, так тут и вовсе ничего невозможно будет различить... Бабье лицо плац-майора Подушкина, освещенное тревожными факелами, будет мелькать на плацу под звон ключей и грохот набата, и его инвалидам придется попотеть на морозе да пострелять в ночную темень, проклиная свою судьбу и козни злодеев.

А сумерки тем временем сгущались плотнее, и лицо Пестеля, освещенное с одной стороны свечой, другой стороной растворялось во мраке. Он казался одноглазым, и глаз его, отражая пламя, сверкал, стоило полковнику перевести взор с одного предмета на другой. Члены Комитета ничего не замечали, но Авросимов увидел в том дурное предзнаменование, могущее отразиться на судьбе самого полковника, либо его, Авросимова. Почему? А кто ж его знает. Ведь мы всегда, лишь спустя много времени после всяких душевных переворотов, спохватываемся и начинаем лихорадочно искать: с чего все началось, и тут вспоминаем всякие зловещие пустяки, которые, как мы полагаем, и играли ту самую роковую роль, и возводим те пустяки в знамения.

Сообразив это, Авросимов принялся пристальнее вглядываться в одноглазое лицо, и вдруг понял, что глаз обращен в его сторону.

«Ну что ему от меня? — подумал наш герой.— Будто я что могу... Теперь никто, никто ничего не может... Один лишь государь».

— Государь чрезмерно удручен вашим участьем в сем предприятии,— проговорил генерал Левашов.— И дальнейшая ваша участь может зависеть всецело

от вас. Вы здесь нарисовали отвратительную картину предполагаемых переустройств, замышленных вами лично в первую голову. Участие в заговоре других лиц не смягчает вашей вины...

Глаз полковника посверкивал, уставясь на Авросимова. Наш герой пребывал в смятении. Ничего нельзя было повернуть. Большая и тяжелая, словно гора, навалилась машина на злодея и перемалывала ему кости. А ежели безвинным пасть под нее?.. Вполне возможно. Вот ведь отчего пребываем мы в страхе, ибо всегда живем поблизости от каземата, либо в его преддверии, ибо не сами мы решаем, а она, наша фортуна. Так, может, прав этот чертов полковник, вознамерившийся избавить нас от вечного страха и от вечного предчувствия беды? Да, но при сем мерещилась ему кровь (вы помните?), без которой не мыслил он будущего благоденствия!.. Так что же лучше-то? Ах, что же лучше?..

— Вы все слишком много на себя взяли,— продолжал генерал Левашов.— Вы заботились о судьбах народов, а связали руки государю в его благих намерениях на целых пятьдесят лет...

«Каково ему возвращаться в каземат,— с ужасом подумал наш герой,— к прусачкам да крысам! Господи, за что ты меня-то помиловал? Вот он весь я, живу на свободе, как голубь лесной. Разве ж это не счастье?..»

И тут же подумал, что сам-то он — кто? Кто? Кабы жил он со своим счастьем в своей глуши прекрасной, а то ведь нет, взялся судить со всеми вместе, и со всеми вместе навалился на одного лежачего, считая себя правым...

Послышались шорох, звон, скрип, шарканье. Единственный глаз полковника вдруг погас. Пестель уже стоял у своего кресла. Затем его фигура, сопро-

вождаемая громадной черной тенью на стене, поплыла вон из следственной, и наш герой успел заметить, как дежурный офицер ловко набросил повязку полковнику на лицо.

Спустя несколько часов, торопясь к выходу, Авросимов вспомнил снова тот сверкающий глаз. К чему бы он? Уж не знак ли печального исхода?

Он торопился, пересекая крепостной плац, страдая, надеясь на встречу с Настенькой. Плац был пуст. Редкие фонари мигали под ветром. Обгоняя Авросимова, пролетали черные экипажи, развозя по домам счастливых избранников государя, и комья снега из-под конских копыт хлестали нашего героя по лицу.

Теперь бы миновать ночную беседу с графом! Вот что еще томило Авросимова. Но экипажи, к счастью, летели слишком быстро, так что была надежда спастись от ужасной этой возможности.

Наш герой миновал ворота, другие, перебежал мост и вдруг застыл в изумлении.

Прямо перед ним, под тусклым фонарем, будто чужая в этом мире, но по-прежнему стройная, как молодая ель, проплывала Настенька Заикина.

Сердце его забилось, заметалось, закричало от радости и безнадежности. Он приближался к ней. А она, будто нарочно, остановилась под самым фонарем в задумчивости, и вдруг услыхала его шаги.

Ну, вы понимаете, что тут она испугалась, так как встреча с громадным незнакомцем в столь позднее время не могла сулить ничего приятного. Однако вид ее был совершенно спокоен, как она разглядывала нашего героя.

Он приближался так медленно, чтобы не потревожить ее, так вкрадчиво, так мягко, словно это был и не он, а некий добрый призрак бестелесный, явившийся непрошенным из февральской ночи. Она же ждала

его приближения, стараясь понять, что нужно сему молчаливому великану.

— Сударыня,— выдохнул он едва слышно.— Вы не бойтесь меня... Вы меня помните? Мы на плацу с вами свиделись однажды... У меня к вам письмо от вашего братца, Николая Федоровича...

— Давайте же его,— приказала она без тени удивления или страха.

Письмо подпоручика, измятое в горячей ладони нашего героя, перепорхнуло к ней в руки.

— Я вас пять дней тщился увидеть,— сказал Авросимов.

Она продолжала оставаться в неподвижности. Лицо ее было строго, даже несколько надменно, а он так надеялся увидеть в нем хоть искру благоволения. Он вдруг понял, что она сейчас повернется и уйдет, не подарив его больше ни словом. Господи, он же со всей душой! Или нет ему в сем мире счастья?.. Конечно, будь Бутурлин на его месте, он бы знал, что сказать!

— Сможете ли передать ему ответ? — вдруг спросила она, вместо того чтобы уйти.

— Сейчас? — поперхнулся он от счастья, что услыхал ее голос.

— Сейчас? — в голосе ее не было ни тепла, ни сочувствия. Одно железо.— Вы смеетесь, любезный.

Он молчал. Слова, будто объевшиеся медом пчелки, не хотели вылетать. Хотя маленькая надежда теперь появилась, что она не сразу уйдет, то есть даже не то, что не сразу уйдет, а ежели и уйдет, то позволит лицезреть ее снова, в другой раз. Разве этого мало?

— Когда вам будет угодно,— сказал он уже иным тоном, чувствуя себя в новехоньком мундире, и ему даже показалось, что шпоры звенят.

— Я извещу вас,— ответила она по-прежнему отчужденно, с недоверием, не слыша звона шпор, и пошла прочь.

И ведь ни слова о брате, то есть как он там, что с ним, не нужно ли чего, можно ли надеяться на великодушие судей, то есть попросту, со всем женским сердцем...

Он медленно двинулся за нею, гадая: оглянется или нет. Нет, она не оглянулась. Едва лишь подошла к Каменноостровскому, как из-за угла выползли легкие санки, в которые она молча же и уселась, а кучер, соскочив с облучка, принялся укутывать ее в медвежью полость, затем вскарабкался на свое место, и они исчезли.

И все-таки Авросимов был полон ликования.

И так, ликуя, шествовал он обычной своей дорогой, не считая встречных фонарей, не заботясь — куда ступать, лелея в душе возгоревшийся образ суровой и неприступной Настеньки.

Февраль еще был в самом разгаре, но откуда-то, будто из подворотен, несло едва заметно острой влагой — предвестием весны, и редкие северные звезды, проглядывающие в разрывах облаков, казалось, вот-вот оттают и, наконец, прольются.

И словно это вот слабое предвестье нагнало волну новых забот, и к раздумьям о судьбе проклятого полковника прибавились новые о подпоручике, томящемся в каземате, о его прелестной и недоступной сестре. Ведь появись в нас хоть одно-единственное, хоть маленькое страдание, как оно тотчас влечет за собою другие, множество, и вот мы уже и не люди, а некие сосуды отчаяния, боли и надежд.

Все сие я и не стал бы вам повторять, ибо вам это и самому преотлично известно, но не могу избавиться от искушения поразглагольствовать о бурях, происхо-

дящих в нашем герое, ведь согласитесь — не простая жизнь обступила его, и не легкая доля ему досталась. Уж я и не имею в виду всего прочего, что с ним совершалось постоянно, но даже такой пустяк, как размолвка с ротмистром Слепцовым, ведь это тоже превратилось под рукой такого умелого мастера, как наша жизнь, в событие, полное значения и тайны.

Вообразите-ка, милостивый государь, себя на месте нашего героя хотя бы на минуту. Вообразите, что вы, истратив весь свой гнев, пыл, нервы на сведение счетов с презренным человеком, вдруг убедились, что он — образец порядочности и благородства и что его не то что по щекам бить и звать к барьеру, а следует лобызать и ползать пред ним во прахе... Клянусь, сие повергло бы вас в сильнейшую лихорадку и заставило бы еще раз подумать, что все не так-то просто на белом свете, как об том толкуют некоторые упрямые и лукавые себялюбцы.

Все трусы всегда и во всем трусы да к тому же и подлецы (так принято считать), а что ротмистр струсил, в том Авросимов не сомневался, и в первый же день после возвращения из поездки, столкнувшись с ним в комендантском доме, поглядел на него с презрением и насмешкой, однако Слепцов прошел мимо, даже вида не подав, что они знакомы. Тогда-то в сердце нашего героя угнездилась тревога, ибо ничего доброго не мог сулить этот неприступный вид подлого лейб-гусара: доложи он господину Боровкову о всяких разговорах, которые позволял себе наш герой, и жизнь Авросимова могла перемениться с прелестной легкостью. Тревога же усилилась, когда нашего героя вдруг вызвали к правителю дел. Уж как он спешил, лучше и не вспоминать.

Александр Дмитриевич распорядился относительно очередных дел и между прочим заметил, что доне-

сение, составленное нашим героем, было весьма отменно и своевременно, и что вообще ротмистр Слепцов отзывался о нем, Авросимове, столь лестно, что он, Александр Дмитриевич, весьма возможно использует в скором времени нашего героя в более щепетильном деле, позабыв некоторые его просчеты, о которых уже они имели честь разговаривать.

Батюшки светы! Как же сие произошло? За что ротмистр пощадил своего противника?

И хотя мысль об обидчике колупановском продолжала мучать Авросимова, однако новое происшествие на него весьма повлияло, и он теперь был в еще большей растерянности от раскрывшегося пред ним многообразия человеческой души.

Так переживал он, направляясь к дому, но послышался скрип полозьев, что вовсе не сулило ничего доброго, и, переполненный размышлениями и неистовством, Авросимов кинулся под родимый кров, который, ровно спасительный берег, предстал перед ним.

Ерофеич смотрел на Авросимова, подобно волку, которого вконец уже затравили, а охотники — вот они, рядом. И наш герой вообразил вдруг, что не иначе как Милодора ожидает его с жалобами, или сама Амалия Петровна подъехала душу вынимать, или, может, Дуняша разыскала его в столице каким-то чудом...

Оттолкнув старика, он ринулся в комнату. Дверь отлетела под ударом. Стены содрогнулись. Ерофеич за спиной всхлипнул или засмеялся, старый черт...

Посреди комнаты, упрятав лицо в ладони, в скорбной позе сидел Аркадий Иванович. Господи, что же еще-то стряслось?!..

Тут капитан поднял лицо. Глаза его были влажны.

— Господин Ваня,— сказал он.— Вообразите, я должен искать у вас защиты. К дядюшке вашему,

к прекрасному Артамону Михайловичу, идти я не могу, ибо он во мне видит героя, но меня бьют по щекам, господин Ваня.

— Как же это?

— За верность мою был я определен в гвардию,— с горечью продолжал капитан,— но господа гвардейские офицеры чинят мне всяческие подлости, и нигде в полках не могу найти я себе пристанища. Что же делать мне, господин Ваня?..

— За что они? — спросил наш герой, обуреваемый сложными чувствами. С одной стороны, ему, как человеку искреннему и полному всяческих благородств, было жаль капитана, который подвергался преследованиям самодовольных петербургских шалопаев, но с другой — цыганские глаза Аркадия Ивановича уже не возбуждали в нем прежнего расположения, да и смех его был холоден, и рыдания не безутешны...— За что же они?

— Ах, не знаю, господин Ваня,— вздохнул капитан.— Кто за что, по пустякам все, то будто поглядел не так, то словно должен что... Вот нынче, к примеру, в Павловских казармах, вы только вообразите, я уж о прежних случаях не говорю, нет, а вот нынче в Павловских казармах, свеженькое еще: собираются деньги по кругу, ну, знаете, для подарка дочери генерала к свадьбе. Спрашиваю: «Кому деньги сдавать?» Норовлю самым первым, чтобы не подумали чего: мол, армейский нищенка, черная кость... Нет уж, увольте, господа... «Какие деньги?» — удивляется Штуб, этот прапорчишка, проклятый немец, бисова сука. «Да на подарок генеральской дочери»,— говорю я, а сам трясусь в лихорадке, господин Ваня. «Ах, на подарок? — говорит он.— А деньги-то ваши? Кровные? Не ворованные?»... Это опять, господин Ваня, презренный намек на ту историю, помните? Ну

с казенными суммами... Я же не могу с ним стреляться, черт! Я же только определен! По высшему соизволению! Или лицом я не вышел?.. Ну хорошо. Тут к вечеру, вообразите, квартирмейстер этот, Чичагов, спрашивает меня с расположением :«Как вы, господин штабс-капитан, о полковнике вашем о бывшем думаете? Жалеете его?» «Жалею,— говорю я.— Я любил его и люблю, и боль разрывает мою душу...» «Вот как? — усмехается он.— Любите государственного преступника, и боль разрывает вам душу?..» Представляете? Ставит меня в такое положение перед десятью парами нахальных глаз! Он, подлая лиса, сам, небось, по Галерной маршировал, я знаю, и хватал и вязал тогда в декабре!.. Тут я, господин Ваня, натурально, смешался, потому что не могу понять: с добром он или напротив... «То есть как это я его люблю?» — спрашиваю. Вижу улыбки на лицах. «Это я вас спрашиваю: — говорит он,— вы любите государственного преступника?» «Нет,— говорю я,— не люблю». «Как же это вы его не любите? То любили, а теперь не любите,— говорит он усмехаясь.— Какой вы однако непостоянный...» И уходит прочь, и все они уходят с ним. Хоть бы один мне сочувствие выразил. В полночь еду в один дом. Хочу развеяться маленько. Еще карты по рукам не пошли, а уже слышу: «Вы передергиваете!..» Помилуйте, какое тут может быть передергивание, когда карты еще по рукам не пошли?.. Тут всей колодой мне по щеке... «Стреляться!» — кричу я, потому что сил моих уже больше терпеть не осталось. «С вами стреляться невозможно,— говорят они,— потому что вы на руку не чисты...» Вы разве меня не знаете, господин Ваня? Вы же меня вот как знаете... Я плакал перед генералом. «Ваше превосходительство, это же невыносимо!» «Голубчик,— сказал он мне,— вы новенький, это со всеми

так...» «Ваше превосходительство, а может, неродовитость моя тому причина? Да, пусть я не знатен, разве я государю не честно служу?..» «Что вы, господь с вами,— сказал он.— Какой предрассудок!» Вот вам и предрассудок.

— Вы же сами в гвардию мечтали,— сказал наш герой, вдруг пожалев капитана.— Нет, вам надобно стреляться, стреляться...

Тут он вспомнил собственную свою обиду, и лицо ротмистра Слепцова возникло перед ним.

— А у пистолета вашего курок свернут,— сказал он Аркадию Ивановичу.

— Да это не беда,— ответил капитан равнодушно, не удивляясь,— он и со свернутым курком стреляет, я знаю...

— Да неужто вы всем так не угодили? — спросил Авросимов.— Вот ведь и полковник ото всех терпит, и от врагов своих и от друзей...

И тут перед Авросимовым промелькнуло одно давнее воспоминание, как летом в деревне благословенной наблюдал он совершенно нелепую картину, говорящую о многих неизведанных тайнах природы. Брали курицу, клали ее на спину, прижимая к полу, и проводили мелом вокруг несчастной птицы, а затем отпускали ее. Она вскакивала, дурочка такая, пуча глаза, ноги ее выписывали кренделя, будто она с почи до утра гуляла в трактире у заставы. Так ковыляла она среди изображенного круга, а выйти из него не смела. Отчего такое? Кто же это шепнул ей, что она не смеет? Все вокруг надрывались смехом, глядючи на хмельную тварь, а кто-то вдруг возьми да и крикни:

— Да вы сами в кругу, черти лопоухие!

Может быть, и в кругу, милостивый государь, но ужель возможно сие понять тому, кто сам из круга не

вырвался? Нет, невозможно. Вот, вообразите, провели вокруг нас линию, означающую, к примеру, что без казенной палаты жить, мол, нельзя, и мы с тем понятием существуем, и ежели и мелькнет сомнение, так сразу же его гоним прочь: да неужто все дураки, а я один — умник? Такого быть не может. Нужна казенная палата... Вот ведь беда какая. О казенной палате — это я к примеру, а не потому, что я против. Пусть она себе процветает, бог с нею. Но история жизни учит, что лишь немногим из нас удается вырваться за сию линию, проведенную вокруг, и лишь они-то и могут понять, что сие — просто линия, а не божье установление... Да, лишь немногие...

«Что же я спросить его позабыл,— подумал наш герой о полковнике с тоскою,— что же не спросил, как это он-то смог? Не боязно теперь расплачиваться? А не придется ли в круг тот вернуться?»

— Господин Ваня,— сказал капитан,— есть горилка. Разделите со мною компанию, будьте милостивы.

— А Русскую Правду нашли,— сказал наш герой, ожидая, что капитан закричит от радости, но Аркадий Иванович, напротив, проявил полное безучастие к сему и неохотно так выдавил из себя:

— А я знаю... Видите, как оно? А считали меня бесчестным человеком. А я с детства воспитан в правилах чести, хоть и не знатного рода...

И он принялся извлекать из кармана плоскую зеленую бутыль, в которой булькала жидкость, и тотчас, откуда ни возьмись, звякнул в руке его зеленый же стаканчик. Пробка отлетела, и полилось, полилось на славу.

В окно сильно постучали, но наш герой тому не удивился, не вздрогнул. Он поднялся во весь рост перед пьющим и плачущим капитаном. Громкий зов

о помощи раздался в комнате. «Бегу, бегу! — крикнул Авросимов в душе.— Бегу!» Он будто и в самом деле побежал не то по снегу, не то по коридору, держа в руке злополучный пистолет со свернутым курком. Фигура в женском салопе метнулась через ров и, задыхаясь, упала в возок. Кони понесли. Авросимов на своих щеках ощущал неистовое жжение ночного ветра. На крепостной стене замелькали фонари, послышались выстрелы. Забил набат. «Поздно! — подумал наш герой со злорадством.— Поздно, господа!» И выстрелил в преследователей.

Съежившийся на стуле со стаканчиком в руке несчастный капитан ничего этого не видел и не воображал. Вино помаленьку делало свое дело, и скоро его осталось в зеленой бутыли на донышке. Допив остаток, капитан сказал:

— Ваше превосходительство... хоть я и не знатен, но честен. Хочу вам сделать презент... Эта маленькая сучка — сущий бес... Возьмите, ваше превосходительство...

Это было смешно и печально, как человек, теряя свой облик, помнит, какую струнку щипнуть, чтобы раздался главный звон.

А меж тем фигура в женском салопе продолжала скакать в возке по Петербургу, путая следы, пугая случайных путников...

Капитан уже храпел на кровати нашего героя. Ерофеич вздыхал в своей кухне. А к Авросимову сон не шел. Разгоряченный фантазиями, с трудом дождался он утра и помчался в дом к Амалии Петровне, бросив спящего капитана на произвол судьбы.

15

Человек провел Авросимова в гостиную, отправился доложить, а воротившись, сказал, что барыня просили обождать.

Теперь при свете утра наш герой мог наконец с большими подробностями оглядеть гостиную, ту самую, в которой он уже бывал по неизъяснимым прихотям судьбы, где, словно в древней амфоре, так странно перемешались первое восхищение и первая горечь, надежда и отчаяние; гостиную, где все носило следы ее обитательницы, такой возвышенной и такой земной и хрупкой, что не приведи господь.

Всю дорогу, покуда Авросимов мчался по просыпающемуся Петербургу сюда, на Загородный, в дом господина Тычинкина, невыносимый зов о помощи раздавался в его голове, то усиливаясь, то затухая, отчего наш герой испытывал дрожь в руках, будто больной лихорадкою. И здесь, в этой гостиной с красными покойными креслами, раскорячившимися на золотом скользком паркете, здесь, под потолком, с которого глядели амуры, здесь, среди стен, обтянутых бледно-зеленым китайским ситцем, этот зов загудел в полную силу, отвергая приличия, не давая погрузиться в ровное течение повседневных забот. А уж тонкий аромат печений, витающий среди всего этого изыска, тех самых печений, сдобренных корицею, которые так хороши к утреннему кофию, и подавно был бессилен погасить зов, который через весь Петербург летел на своих скорбных крыльях. Что ему была сия легкая преграда?

И шумный вздох вырвался из груди Авросимова, и он понял, что зов этот — не случайность, не блажь

 природы, а прямое указание, идущее, может быть,

свыше, требующее от него вмешаться в судьбу несчастного, оставленного в одиночестве полковника.

«Да бегу, бегу же! — крикнул он в душе.— Вот он я. Сейчас, сейчас!»

Внезапно, скрипнув по-кошачьи, поддалась и притворилась дверь, ведущая в следующую комнату. То ли ветер ее приоткрыл, то ли бог, неизвестно, но до Авросимова долетел голос Амалии Петровны и мужской незнакомый, и он услыхал совершенно явственно:

Незнакомец. Да что же теперь об том говорить. Судьбе было неугодно. Но я всегда знал, что вы достойны любви и преклонения. Об одном остается жалеть, что не его удостоили вы своей милостью.

Амалия Петровна. Уж не видите ли вы в том ошибки?

Незнакомец. Какие уж тут ошибки, любезная Амалия Петровна? Простое сожаление, хотя и пустое, ибо он был человеком железных правил и ничего, кроме собственных идей, в расчет не брал. Это общеизвестно.

Амалия Петровна. Но вы хоть цените это в нем? Вы не отворотились от него в своем сердце?

Незнакомец. Помилуйте, господь с вами!

Амалия Петровна. Ведь бывает же так, что за внешней холодностью страшатся различать суть. Вы будете о нем помнить?..

Незнакомец. У меня вызывает слезы ваша преданность ему и ваша непоколебимость. Как вы это умеете, когда все, почти все отворотились, так молиться о нем!

Амалия Петровна. К сожалению, молиться — это единственное, что мне позволено.

«О, нет, не единственное! — подумал наш герой, ощущая за спиной крылья.— Как вы закричите с ра-

достью и страхом, когда узнаете, что есть еще надежда».

Незнакомец. Слухи о милосердии государя меня мало утешают. Я в них просто не верю.

Амалия Петровна. Вы и не можете в них верить. В ы не можете...

Незнакомец. Я бы хотел признаться вам, что укоры совести нещадно мучают меня последнее время. Ах, не потому, что мы с ним врозь, сему есть множество логических причин, да к тому же давних; и все же то, что я не с ним, это, согласитесь, печально. У меня был разговор с великим князем, ну, так разговор... вполне приличный. Что с меня взять?

Амалия Петровна. Не касались ли Владимира Ивановича?

Незнакомец. Нет, нет, что вы...

Амалия Петровна. Ну да, естественно...

Ах, кабы знала она, что на следующий же день после страшной экзекуции пожалуют Владимиру Ивановичу флигель-адъютанта, она бы тотчас утешилась; да вот не знала, ибо не дано нам предугадать капризы судьбы.

Незнакомец. Амалия Петровна, я приехал утешать вас, но вижу, как вы мужественны и сильны духом. Вы даже улыбаетесь... Это добрый знак.

Амалия Петровна. Я надеюсь, что ваши друзья будут знать об этом. Даже самые суровые испытания не могут сокрушить сердце, когда оно — любит.

Наконец голоса смолкли. Видимо, Амалия Петровна проводила своего гостя через другую дверь. Прошло несколько мгновений, и она появилась. На лице ее не было ни радости, ни удивления при виде нашего героя, словно они каждый день встречались, словно она ждала его.

Он стремительно шагнул к ней навстречу.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Я пришел обрадовать вас,— ответствовал он не очень уверенно.

— Чем же вы можете обрадовать меня? Вам что-нибудь стало известно?

— Амалия Петровна, сударыня, когда бы вы соблаговолили только, а я знаю, как вы заинтересованы в судьбе Павла Ивановича...

— Что такое? — брови у нее взлетели.

— ...мы смогли бы попытать счастья с вами...

— О чем это вы?

— Медлить нельзя... Ему грозит жестокая участь... Ежели вы готовы помочь мне... Я там все выходы знаю... я уже все решил, любезная Амалия Петровна... ежели вы только...

Тут лицо ее стало бледным, и Авросимов в первый миг даже испугался, он испугался, что ей станет худо, что это он со своей торопливостью причинил ей боль, хотя можно ведь было говорить обо всем мягко, а не рубить с плеча. Но эти сожаления и страх тотчас рассеялись, ибо лихорадка его все усиливалась, и никаким другим чувствам уже не оставалось места. Однако она справилась с волнением.

— Вы сами это надумали? — спросила она.

Он кивнул.

— Ах, вот как...— какие-то таинственные бури бушевали в ней, в самой глубине, но на поверхности было лишь легкое волнение.— А последствия?..

— Сударыня, я все обдумал... ежели вы согласны...

— Да? — растерянно сказала она.— Да, да, это так неожиданно...

Вдруг солнце ударило в окна, и китайский ситец на стенах зашевелился, зацвел, послышалось пение птиц. Амалия Петровна, бережно прикасаясь паль-

цами к своей родинке, уходила сквозь густую траву, которая достигала до ее груди.

— Вы не поняли меня! — крикнул он.— Вы поняли? Его хотят убить... В острастку нам... Вы поняли?

— Ах, да я поняла вас, поняла,— с ужасом произнесла она, и слезы хлынули из ее прекрасных глаз...— И вы решились?!.

Он торопился по улице. Полетел влажный и крупный снег, и, пробираясь в нем, Авросимов с трудом различал редкие расплывчатые фигуры прохожих, втягивавших головы в плечи, поднявших воротники, скрючившихся и крадущихся, словно за ними охотились. Даже богатые экипажи, пролетавшие мимо, торопились все как-то боком. Ваньки, дремлющие на углах, распадались в зыбком тумане.

Крепостной плац был пустынен. Пистолет терся о ребра в неистовом каком-то предчувствии. Встретившийся в коридоре Александр Дмитриевич Боровков на поклон не откликнулся, а, вытянув острый подбородок, пролетел мимо, отчего у нашего героя в сердце что-то отвратительно щелкнуло.

На мгновение мелькнул в сознании бледный и неудержимый образ Настеньки, но тут же погас и рассеялся.

Где-то за сырой крепостной степой, совсем рядом, ловил прусачков мятежный полковник, не подозревая о возможном своем и скором освобождении. Где-то тоже рядом, насупротив полковника, лил слезы бедный Заикин, разуверившись в людях и жалея ротмистра Слепцова, с легкостью выдающего ложь за правду, и завидуя рыжему писарю, верящему в собственное благородство.

 Даже получая от Александра Дмитриевича работу, а именно — перебелить набросанные начерно мнения

пленных друзей полковника о своем предводителе, он и тут не удостоился его взгляда, ровно это был и не он, Авросимов, баловень и удачник, а некий неопределенный предмет, на который и глядеть-то не стоило. И все это, благодаря душевной чуткости нашего героя, пребольно его задело и встревожило, потому что как ни обольщайся милостивым к себе отношением, а ухо держи востро, ибо никто не знает, где и какие грозные силы шевельнулись, как по-новому расположились звезды, кто руку вознес для удара.

«Мешкать нельзя,— подумал наш герой, нацеливая перо на бумагу,— неровен час — все переменится, а переменится — прощай полковник несчастный, не жди добра!»

И он сам не заметил, как перо повело по чистому листу какую-то свою линию, рядом — другую, и постепенно нарисовался треугольный коридор ужасного равелина, от дверей упал через ров мостик, потянулась крепостная стена с куртинами, ворота, комендантский дом, похожий на пустую птичью клетку, вторые ворота, кружок несколько поодаль, знаменующий некоего ваньку, мерзнущего в своем тулупе в февральскую ночь.

План крепости со всеми подходами и углами неожиданно получился весьма верно. Затем наш герой, прикусив от напряжения кончик языка, вывел в треугольном коридоре несколько крестиков, которые должны были означать солдат и караульных офицеров, и другой крестик побольше — очевидно, плац-майора Подушкина.

Осуществить готовый план он решил нынче же в среду, в полночь, ибо в молчании Боровкова почудились ему весьма недобрые, даже грозные предзнаменования. Оставалось договориться с каким-нибудь возницею, что труда не представляло, ежели на руб-

ли не скупиться. Глубоко вздохнув, он намеревался было, тщательно сложив, упрятать свою тайную работу куда подальше от посторонних взоров, но принялся напоследок подсчитывать крестики. Солдат получилось двенадцать да три офицера, не считая плац-майора. Это обстоятельство сильно смешало его намерения. Он торопливо еще раз пересчитал крестики — солдат не уменьшилось. Крестики изгибались под пером, ровно живые, перебегали с места на место, прятались за углами, а когда он начинал радоваться, что их все-таки меньше, внезапно высовывались и корчили рожи. По широкому лбу нашего героя струился пот, рыжие его волосы торчали во все стороны, тревожимые нервной пятерней.

Постепенно комендантский дом начал наполняться людьми. Захлопали двери, раздались голоса и шаги, замелькали головы, спины, эполеты. Авросимов упрятал план поглубже и удрученно перенес его осуществление на завтра, то есть на четверг, на полночь же, надеясь что-нибудь придумать со злосчастными инвалидами, которых развелось, ровно прусачков, великое множество.

Тем не менее следовало заняться делом, которое ждать не могло, и Авросимов, продолжая метаться душою, углубился, как ему показалось, в чтение черновика и снова нацелил перо на чистый лист.

И тут он увидел себя синеглазым поручиком, легко взбежавшим по дрогнувшим ступеням на малороссийское крыльцо, и шпоры его зазвенели, словно это и в самом деле было, да, было летом, прошлым, запрошлым, когда-то, когда он ехал через Малороссию и по странному незадуманному крюку докатился до Линцов, где проживал тогда полковник, впрочем — он именно туда и ехал, и никакого крюка, собственно, и не было.

Они сидели в белой комнате Павла Ивановича, в точности описанной капитаном Майбородой, и Павел Иванович, будучи в расположении, сказал доверительно:

— Вот вы скачете, скачете, пот у вас струится, и щеки у вас пунцовеют как у барышень, а в глазах — одно дилетантство. Заранее предвижу каждый ваш жест... Вам боязно, да стыдно признаться...

— Хитрец вы, Павел Иванович,— засмеялся Авросимов и погрозил полковнику пальцем.— Вы меня поддеть хотите, да я не дамся. Вы отменный соблазнитель. А у вас щечки-то, глядите, какие пунцовые у самого-то...

— Это на деревенском воздухе,— вдруг смутился Пестель.— Здесь не то, что у вас, в гнилом вашем Петербурге. Или не так? Видели вы мою матушку? Что она?

— Видел,— сказал наш герой.— Она имела со мной откровенную беседу.

— Вот как?

— ...в том смысле, что ваше предприятие... наше предприятие (Пестель засмеялся) обречено...

— Вот как?

— ...неоднократные попытки свергнуть тиранию приводили к новой же... Какая разница?

— Надеюсь,— сказал Пестель,— что вы говорили tête a tête [1]. Экая страсть сбивать юнцов с толку!

— Полноте,— обиделся Авросимов,— мне двадцать два, и я намерен жениться на Настеньке Заикиной.

— Мне всегда любопытно было знать вас ближе,— сказал Павел Иванович.— Скажите откровенно: вы очень голодны? Только не стесняйтесь... Савенко!

[1] с глазу на глаз (фр.).

Тут появился знаменитый денщик. Наш герой тотчас узнал его. Однако ничего отвратительного, песьего, как утверждал бедный капитан Майборода, в солдате не было. Передвигался он бесшумно. Стол накрыл мгновенно. Вина не поставил.

— Это мешает общаться,— усмехнулся полковник.

— Натурально,— в тон ему ответил Авросимов.

— Скажите мне, господин поручик, насколько верите вы в успех нашего предприятия?

— Верю, верю,— слишком поспешно откликнулся наш герой, словно от его ответа все и зависело.

— Отлично. И все элементы его вам понятны и дороги?

— Да.

— И у вас нет мыслей о корыстности моих намерений?

— Господь с вами!

— Как у некоторых моих единомышленников?

— То есть?..

— Ну в том смысле, что я, мол, склонен к диктаторству, и ежели все свершится, то...

— Да полноте, зачем так-то?

— Минуточку... Вы проглядывали Русскую Правду? Значит, вы согласны, что после того, как все свершится, необходима будет диктатура власти? Согласны?

— Да,— сказал наш герой, и сердце его похолодело. Небольшие пронзительные глаза Пестеля уставились прямо в него.

Полковник легким движением расстегнул мундир и вздохнул.

Авросимов тем временем ринулся с облаков на землю, очутился в комендантском доме перед исписанными листами и снова принялся за них. Ах, они

были горячи! И горьки, неся в себе следы прикосновений страждущих душ. Словно живые встали пред его взором странные силуэты ответчиков, пестелевых единоверцев бывших, в которых не угасли еще искорки надежды, но на которых лежали скорбные тени казематов, и стрелы недоумения, отчаяния и поздней горечи крест на крест сходились на них. И он слышал их голоса, звонкие и глухие, и перо плясало в его руке...

«...крайние взгляды Пестеля... и надо было противопоставить ему ну, скажем, Михайлу Орлова, имевшего большое влияние во 2-й Армии... требовал, чтобы общества слепо и беспрекословно повиновались одному лицу, подразумевая себя... Петербургское общество боялось ввериться сему диктатору... Северные члены отвергали Русскую Правду, потому что замечали честолюбивые виды и диктаторство Пестеля...»

Господи, а где же слова о благоденствии?! О счастье народа? О солдатских поселениях? О мраке и хаосе, повергшем Россию на колени не в пример Европе?.. Где эти высокопарные мечтания полковника, которые он, Авросимов, сам слышал и сам записывал дрожащею рукою, с тоской и страхом?

Понятия времени и места перемешались, и уже нельзя было решить, то ли Авросимов воистину пребывает в гостях у страшного предводителя заговора, то ли Павел Иванович с отменным тщанием, согнувшись над черновиками вместе с нашим героем, помогает ему перебелять печальные документы.

— Что же вынуждает вас отказаться от роли главы государства? — вдруг спросил Авросимов.— Что же такое может препятствовать?

— Фамилия,— очень строго, не замечая лукавства, ответил полковник.— Моя фамилия. Человек с моей фамилией не может быть во главе Российского государства,— снова вздохнул.— Вы верите, что все сложится удачно?

— Да,— сказал Авросимов, не веря, то есть не то, что не веря, а уже з н а я о сем...

— Ежели все сложится удачно,— проговорил Павел Иванович, стараясь выговаривать твердо,— и я закончу все дела сии, что, вы думаете, намерен я сделать?.. Удалюсь в Киево-Печерскую Лавру и сделаюсь схимником...

— Вздор какой!

— Не вздор. Вы этого не поймете.

— Отчего же не пойму? Все равно вздор...

— Точный расчет и последовательность воспринимаются как безумство честолюбия,— он вдруг засмеялся не без удовольствия.— Разве я похож на диктатора?

— На Бонапарта...

— Бонапарт? — удивился Пестель.— Вы говорите о внешности? Фу, да у него живот до колен был!

Они снова углубились в протоколы.

«На одном из совещаний в Киеве в 1823-м, в квартире князя Волконского в первый раз было говорено об уничтожении императорской фамилии... Пестель... желал истребления всех особ...»

«...Пестель уговорил большую часть членов на истребление императорской фамилии... Ежели останутся великие князья, не избежать междоусобия...»

«...Никто более Пестеля не стремился к исполнению преступных замыслов общества... Он предлагал истребление всей императорской фамилии...»

И снова, как когда-то, молодой государь император, на сей раз в мундире бригадного генерала и кра-

сивый очень, вышел из дальнего угла и остановился перед Авросимовым. Но прекрасное его лицо с чертами древнеримского героя не было привлекательно. В то время как губы слегка змеились в усмешке, глаза словно утопали под тяжелыми бровями, и были эти глаза неподвижны, и вселяли повиновение...

«Предлагал истребить императорскую фамилию...»

И из сего повиновения слепого родилось безумство подлых черновиков, похожих на донос, производимый сильным на слабого.

«...истребить императорскую фамилию...»

Он будет милостив, но не по сердцу, а по расчету, и угодливые его холопы произведут тот расчет с отменным усердием, ибо неспроста запомнилась нашему герою фраза, оброненная как-то генералом Чернышевым, вскользь, где-то на ходу: «Полагаю, что государь не унизится до помилования главных преступников...»

«...истребить...»

Господи, а где же слова о благоденствии России, о вольности духа? Почему они не вписаны в черновики?!

— Ложь! — шепотом закричал Авросимов, ломая перо.— Обман!

Обида за несчастного полковника подкатила к горлу. Поверьте, он был страшен в это мгновение, наш рыжий великан, и, кто его знает, может, очутись пред ним сам великий князь, пришлось бы его императорскому высочеству худо, да видно, господь уберег.

Лихорадочно и, не в пример другим разам, небрежно, наш герой справился с отвратительной его сердцу работой и, услыхав гром полуденной пушки, выбежал из крепости, вновь положив произвести операцию ныне же, в среду, не откладывая до четвер-

га, словно опять ворвался в его душу пронзительный зов о помощи, от которого не было спасения.

«Так, так,— твердил он про себя, торопясь к дому,— каковы канальи! Значит, ничего и не было? Одно лишь истребление?.. Канальи!»

Так он бежал по Петербургу, бормоча про себя проклятия, словно хворосту подкидывая в огонь, который мог затухнуть на сырой погоде, однако и тут здравый организм старательно, как верный молчаливый слуга, начал прибирать к рукам отчаяние нашего героя, да еще морозец и ветер делали исподволь свое дело, не в силах глядеть, как разрывается его сердце от всяческих мук, и уже на полпути к дому, на середине Большого проспекта легкое умиротворение вдруг потекло по жилочкам, разрастаясь, позволяя вновь увидеть все вокруг.

Что же увидел он?

Он увидел дома, черные окна, провалы ворот. Вон ванька ждет своего ездока, вон крендельщик стоит на пороге крендельной, разглядывая проходящих мимо, вон чья-то легкая карета, покрытая коричневым лаком, пронеслась вихрем в сторону залива, так что ее беспрестанно заносило, несмотря на тонкие полозья саней.

Что же еще он увидел?

Он увидел гуляющего молодого человека с тихой улыбкой на лице, словно сейчас у него должна была свершиться самая главная радость. Он увидел двух молодых дам, болтающих о чем-то меж собой; они мельком оглядели нашего героя, прежде чем усесться в удобный возок. Он впервые заметил, что проспект похож на Неву, а дома — на гранитные берега, и сам он, подхваченный ровным неторопливым течением, медленно уносится куда-то вдаль, откуда не захочется воротиться. Угас пронзительный крик о помощи,

растаял. Но ванька, дремлющий на углу, вдруг напомнил ему о плане, и не очень торопливо наш герой подошел поближе.

— Милости просим, ваше благородие...

— Недосуг мне сейчас,— откликнулся Авросимов.— Вот бы ночью... ну, скажем, часа в два...

— Ночью?.. Это зачем же, ваше благородие?

— Ты не разговаривай... Я хорошо заплачу... Согласен?

— Может, чего против закону?

— Да почему же против закону? — ужаснулся Авросимов.

— А коли нет, так ладно...

«А ведь в самом деле против закону!» — подумал наш герой и побежал прочь, и вскоре достиг дома.

«Дурень какой, господи,— подумал он, взбираясь по лестнице.— Да я живо другого найду... Уж не с тобой, увальнем, связываться, черт... Еще заснешь на полпути, прощелыга. Найду другого, мордастого такого, с разбойными глазами, да и чтоб лошадь, как лошадь чтоб... Ну не нынче, так завтра уже непременно найду... В четверг...»

Рассуждая так с самим собою, он прошел через кухню, не замечая Ерофеича, остолбенело вытянувшегося перед ним, вошел в комнату и остановился пораженный.

Перед ним, откинув шубу с плеча, подставляя под серый оконный свет строгое лицо, неподвижный, подобный грозному каменному изваянию, стоял ротмистр Слепцов, адъютант генерала Чернышева, недавний спутник, искуситель, обидчик и благодетель.

— Ну-с, так вот, господин Авросимов,— промолвил ротмистр, вдоволь насладившись растерянностью нашего героя.— Вы, конечно, изволили позабыть обо мне, сударь, а я — вот он. Надеюсь, однако, что не

забыли оскорблений, которые вы мне нанесли. Вы слышите меня? В те поры мне было недосуг заниматься с вами, нынче я к вашим услугам. Покорнейше прошу прислать ваших секундантов нынче же к господину N., чтобы иметь время договориться об условиях на завтра. Вы слышите? На завтра, сударь.

Кровь ударила Авросимову в голову, ибо, пока он слушал высокопарный вызов ротмистра, тонкая ниточка размышлений, цепляя одно за другое, привела его к образу Дуняши. Воспоминание об этой далекой женщине, недоступной, словно эхо, едва мелькнувшей перед ним в колупановской глуши, окруженной таинственными событиями, возбудило в нем гнев, однако спешу вас уверить, что внешне это состояние выразилось едва заметно, и наш герой оставался неподвижен с вызовом в синих глазах.

— Полагаю, вам нет оснований отказывать мне,— усмехнулся проклятый гусар.

Где-то далеко, в самой глубине сознания Авросимова, вспыхнула мысль о намеченном на завтра, на четверг, плане; вспомнилось вдруг страшное великодушие Слепцова и лестные его рапорты об участии Авросимова в поездке, но вид ротмистра был так вызывающ, держался он так дерзко, да в довершение ко всему коварный поступок ротмистра там, в поездке, был так ярок перед глазами, что лишь чудо удержало руку Авросимова, чтобы разом не покончить с наглецом.

— Я к вашим услугам, сударь,— спокойно поклонился он и в свою очередь тоже с усмешкою глянул в глаза ротмистру.

Брови гусара удивленно взлетели, едва он увидел эту усмешку, но делать было нечего.

И вдруг издалека, сквозь стены и стекла, из февральского полдня пробился и долетел знакомый скорб-

ный зов, отчего наш герой едва не вздрогнул... Мыслимое ли это дело сознавать, что ты, будучи причастен к высокой тайне, готовясь к благороднейшему поступку, в то же время стоишь пред тем, кто, лишь узнай он, станет твоим преследователем и судьею, гримасой лжесвидетельства не испортив своего лица?

«А как же с тем?..— тоскливо подумал наш герой, хотя почувствовал, как некое странное облегчение коснулось его сердца.— Да не вымаливать же отсрочек у вздорного негодяя! Стреляться!..»

И он положил перенести свой замысел на пятницу, на послезавтра, но уже не откладывая более ни на минуту.

Ротмистр давно покинул дом, а Авросимов все еще стоял посреди комнаты в странном оцепенении.

Нет, мысль о возможной гибели не терзала его, да собственной смерти для него и не было, словно он ежедневно выходил к барьеру и от пули был заговорен. Все это я склонен объяснять опять его молодостью и отсутствием опыта, а в таком возрасте, вы сами знаете, и море по колено.

Нет, не о смерти думал он. Воображение рисовало ему картины одну достойней другой, и распростертое хладное тело ротмистра Слепцова было из них лучшей.

Не буду утруждать вашего внимания подробным рассказом о том, как метался наш герой по Санкт-Петербургу в поисках Бутурлина, которому он решил доверить секундантство, как разыскал его наконец в знакомом вам флигеле у Браницкого, чтобы уж окончательно все обговорить. Позволю себе на самое короткое время отвлечься, чтобы, может быть, в последний раз заглянуть к Павлу Ивановичу, в треугольный его равелин.

Павел Иванович был, должно быть, счастлив, что

не знал о буре, поднятой им в душе нашего героя, и о его жарких приготовлениях и метаниях. Когда б он знал о том, ему бы, верно, пришлось несладко: ждать, томиться да терзаться сомнениями.

Он даже смирился с возможностью угодить в солдаты, хотя всякий раз горестно морщился, думая об этом. Пастор Рейнбот, посетивший его вчера, тщетно пытался смягчить полковника. Оба были вежливы и расстались холодно.

Пестель насмехался над самим собою с величайшей злостью, вспоминая, как за несколько дней до ареста, находясь в полном неведении относительно того, как повернется дело, больше всего переживал не о том, что все рухнуло, а о том, как бы подальше упрятать Русскую Правду — кровное свое дитя. И в суете и поспешности предарестных дней какие-то многочисленные руки передавали друг другу сие собрание идей и размышлений, чтобы предать земле, чтобы сохранить, уберечь, чтобы потом, в скором времени, как только рассеются наветы и раскроются двери гауптвахты (не тюрьмы — гауптвахты, думал он!), тотчас извлечь схороненное дитя на свет божий.

И все виделось так, как может видеться в ослеплении самоуверенности: все только на равных, только по высшему счету, только в блеске словесных поединков.

Однако тяжелый взгляд молодого императора выдавал не удивление, а непримиримость, и стадо старых разнузданных следователей уже само по себе говорило о полном пренебрежении к идеям схваченного полковника.

Все это было так внезапно и потому так ужасно, что приученный к точным расчетам и неумолимой логике мозг Павла Ивановича взбунтовался и ударился в панику. Вдруг стало ясно, что блестящих поедин-

ков идей и мнений не будет, а будет пиковый халат, крепость и прусачки, да еще будут мрак и безвестность. И свобода, словно коварная разлюбившая женщина, вдруг ушла прочь к живым и счастливым, оставив полковника в полном недоумении. Тогда-то и возникла перед ним его печальная фортуна в образе немолодого солдата, шагающего под веселую и непрерывную дробь полкового барабана.

Да, милостивый государь, именно — солдата.

Вот что навалилось на полковника и что мучало его. Ах, когда б он только мог знать, что предстоит ему на самом-то деле, он воспринял бы эту солдатчину как благо, а не как наказание, и он бы не сидел, согнувшись над столом, колдуя над листом бумаги, и не писал бы торопливо грустных слов генералу Левашову, в тайной надежде, что письмо попадет к государю, и не обещал бы искупить свою дерзость отменным служением на благо отечества... Когда бы знал... Но он сего знать не мог.

Кстати, о дерзости.

Ведь дерзость — слово, может быть, и удобное в письме на имя государя, но весьма неточное. Вы только вообразите себе тех самых судей, которые вдруг услыхали сие слово... Да они смеялись бы над ним, ибо с их точки зрения, с их, как говорится, колокольни, поступки полковника — не дерзость никакая, а преступление. А что касается народа российского, так ведь он ни об чем таком не имеет понятия, ибо занят своей землей, своей наковальней, своим хлебушком насущным, и бюллетеней всяких не читает, а ежели и читает кое-когда, ничего в том не смыслит, а ежели и смыслит, так кроме того, что эти поступки есть преступление, и ничего другого не узнает.

Возьмите-ка, милостивый государь, бюллетени тех лет, почитайте-ка их (а я читал-с, и премного), и вы

ничего, кроме понятия преступление, и не вычитаете: ни о том, что Павел Иванович делал свой расчет освободить крестьян, и ни о том, что он предполагал положить конец казнокрадству, дать солдатам облегчение, и множество другого всякого — не вычитаете тоже, а лишь одно: вор, разбойник, цареубийца... Вот как... Так что Павел Иванович, брошенный в сырость и мрак, к прусачкам, оцепенел от такой несправедливости, но по собственному неведению не понял еще, что он в глазах государя — преступник, что он преступление совершил, а не дерзость. Потому-то судьи и не всплеснули руками, прочитав его Русскую Правду, а отложили ее в сторону, а сами забубнили свое про цареубийство, ибо за это легко карать, а за справедливые слова — совестно. Ах, полковник, бедная голова!..

Письмо было закончено, и лист сложен вдвое. И без того темный полдень угасал окончательно. Светильник коптил нещадно. Пахло копотью. Не дай вам бог услышать запах копоти в сыром месте! Лети, письмо! Ежели судьбе угодно и государь прочтет его, он не сможет не побороть в себе ожесточения, и тогда все изменится. Конечно, полка не будет, даже — батальона. Может быть, и вовсе выпадет отставка, и тогда осуществится желание maman видеть сына в тишине и покое. А ежели — нет? Ежели прочтет и ожесточится более? Тогда — солдатчина?.. А ежели (о господи!) выпадет сидеть в каземате год, два, много!.. И будет капать вода, греметь железо, будут плясать прусачки при свете коптилки, будут крысы делить меж собою его арестантский хлеб...

Он поднял голову. Серое лицо его было спокойно. Буря бушевала в сердце, под ребрами да на листе бумаги, сложенном вдвое.

Теперь, милостивый государь, извольте-ка заметить, что слово дерзость и со стороны полковничьей,

так сказать, тоже не раскрывало сути дела, ибо не дерзостью питались умы мятежников, а расчетом и мыслями о добре. Стало быть, дерзость — вздор, милостивый государь, и те, в ком она будто бы горела ярким огнем, вполне могли оказаться людьми, может и прекрасными, да ненадежными. Павла же Ивановича в таковом грехе упрекнуть было невозможно, а словечко это, промелькнувшее в письме, промелькнуло, я полагаю, по причине того, что сильным сего мира оно нравится своей туманностью и безопасностью. Так что простите полковнику эту маленькую хитрость поверженного, но не потерявшего надежд человека. Он каялся, но механизм его мозга был устроен так, что виновным себя признавать он не мог, душа его металась с криком и билась о стены и решетки равелина... Ах, полковник, бедная голова!..

— Ежели вы получите свободу, будете ли вы упорствовать в своих замыслах? Будете ли стремиться восстановить разрушенное? — спросил он самого себя. И ответил себе же тюремным шепотом:

— Нет, никогда.

— Но почему? Почему? Почему же, о господи?!

— Не знаю... Сие свыше сил...

— Значит, отрекаешься?

— Да нет же, боже мой, нет! Не отрекаюсь!

Когда он сидел, согнувшись там, в Линцах, над своей Русской Правдой, когда обдумывал каждое слово, кочуя по России, когда стучал кулаком по столу, отстаивая ее от сомнений единомышленников, тогда она казалась совершенной, и от нее исходил ослепительный свет добра и счастья — вот что вдохновляло Павла Ивановича и придавало сил. Холодный расчет не мешал воображать будущее блаженство, а напротив, усмирял чрезмерную фантазию, и пусть свобода не казалась райскими кущами, безбрежным

океаном неги — прибежищем для дилетантов,— а земной, грубой, с горьковатым привкусом былых страданий; но у него было такое чувство, будто он уже касался ее когда-то, где-то, однажды, совершив первый и теперь уже последний глоток.

Самый крупный и упрямый прусачок медленно и достойно танцевал на столе в свете лампадки.

«Ежели он испугается,— подумал Павел Иванович о танцоре с усмешкой,— стало быть, царь проявит великодушие»,— и протянул к прусачку ладонь. Насекомое продолжало танец. Полковник пощелкал пальцами — таракан метнулся в тень.

Тем временем наш герой разрывался на части. С одной стороны — план, бушующий в сердце, требовал пищи. Это легко себе представить, ежели вспомнить об огне. С другой стороны — завтрашний бой так напрягал все тело, что оно ныло, словно по нему прошлись кнутом. Что касается плана, то тут опять не было ни возницы еще, ни решения, как справиться с двенадцатью инвалидами и офицерами караула, а время шло. Наконец он махнул рукою, положив выполнить сперва свой кавалерский долг на поединке, а уж после, проучив Слепцова, заняться приготовлениями к страшному предприятию.

Как ни уговаривал его Ерофеич откушать, пугая матушкиным горем и отчаянием, Авросимов за стол не садился, а старика гнал. Стоял в одиночестве, глядел в окно, как там вечерело, не слыша ни слов, ни прочих звуков. Одна ненадежная мысль сверлила мозг: ах, кабы кто помог! Кабы можно было на кого положиться!.. Вдруг что-то заставило его обернуться.

На пороге стоял незнакомый господин неопределенного возраста. В одной руке держал он узелок, будто освященный кулич, а другою старательно прикрывал дверь.

— Филимонов,— представился он негромко.

Авросимов поклонился.

— Ежели вам нужна моя помощь в известном вам деле,— шепотом сказал человек,— не побрезгуйте.

— В каком таком деле? — спросил наш герой.

— Вы же намерены спасти узника,— очень просто шепнул Филимонов.— Так я могу взять на себя заботы...

— Что за вздор? — крикнул Авросимов.

— Денег я не возьму,— сказал Филимонов,— так, от души. Вы только прикажите...

Сердце нашего героя было готово выскочить наружу. Филимонов стоял уже рядом. Он оказался ростом с Авросимова, только невероятно тощ и черен, и под черными свисающими усами нельзя было разглядеть — улыбка это у него там или гримаса. Однако грустные черные глаза глядели прямо, доверительно, без лукавства.

— Значит, в четверг, к полночи,— спокойно сказал он.— Вы не беспокойтесь. Возок где поставим: у ворот али за стеной, на Неве?

— Сударь,— взмолился наш герой.— Об чем вы толкуете? Какой узник? Как вы можете врываться к честному человеку с таковыми предложениями?

— Да вы не беспокойтесь,— сказал Филимонов.— Я свое дело знаю. Вы, господин Авросимов, можете даже из дому не выходить — мы все сделаем преотлично. Не впервой, сударь.

— Кто это мы?! — крикнул наш герой, отталкивая в грудь наседающего на него Филимонова.

— Граждане,— пояснил тот.— Стародубцев, к примеру, Мешков, поручик Гордон... Вы можете не беспокоиться, мы все сделаем и доставим, куда прикажете...

— Какой еще Гордон? Кого доставите?

— Узника-с.

— Да я ничего не хочу! — крикнул Авросимов.— Я никого ни об чем не просил!

— Да мы сами об этом узнали,— сказал Филимонов спокойно.— Все об ваших муках-с знают. Вам и просить не нужно...— и он зашептал в самое ухо нашего героя: — Только уж вы, сударь, Брыкину не доверяйте. Это ни к чему, сударь. У него все не как у людей. Ежели прикажете, так я скажу Семену, чтобы он Брыкина и близко не подпускал, уж он справится.— Вдруг он улыбнулся: — Вы ни об чем не беспокойтесь. Я пойду, а то ведь дело делать — не зерно клевать-с. До свиданьица...

— Погодите! — крикнул Авросимов.

Но Филимонов уже исчез, словно и не было его.

— Вздор какой,— пробормотал наш герой, измученный фантазией.— К черту Филимонова...

— Ты что это бездельников всяких пускаешь? — спросил он у Ерофеича со строгостью.

— Вы лучше покушайте, а я никого не пускаю,— смело ответствовал старик.— Узнает матушка — будет вам на орехи.

— Пошел прочь,— приказал наш герой.

Он попытался вновь сосредоточиться на своих многочисленных заботах, но мысли заработали в другом направлении, и тут же дверь в комнату приоткрылась, и молодой бравый офицер, крепко сбитый, с чарующей улыбкой, танцуя, подскочил к нему.

— Филимонов был? — спросил он.— Я лишь на одну минутку, господин Авросимов. Моя фамилия Гордон.

— Вы-то еще откуда? — теряя силы, выдавил Авросимов.— Что вам надо?..

 Поручик не обиделся на столь холодный прием.

— Господин Авросимов,— шепнул он.— Получается неувязка. Данные не сходятся. Видите ли, сударь, у меня по списку числятся десять караульных, а у вас в списке — их двенадцать... Позвольте-ка ваш списочек...

Не удивляйтесь, милостивый государь, и не смейтесь. Наверное, все так и было. Во всяком случае — в голове Авросимова. Может, это февральские погоды тому виною или знамение какое, однако нашему герою приходилось туго, и он даже гнева не испытывал, а только ужас да бессилие.

— Значит так,— сказал поручик, познакомившись с планом,— вот здесь у вас ошибка, сударь. Я так и знал. Этого вот солдата вообще нет, а этот вот не здесь располагается... Этот и вовсе офицер, сударь, а не солдат, как у вас обозначено, так? Стало быть, ему тут не место, не место... Пусть вистом займется, так?.. Теперь я побегу, а Филимонов все вам будет докладывать, что да как. Честь имею...

И он исчез, ровно привидение, лишь пламя недавно зажженной свечи заколебалось, заметалось, заколобродило...

«К черту,— решил Авросимов, борясь с лихорадкой.— Надо поскорее к Бутурлину. А эти, кто они такие? Откуда они? Почему им все известно? Да эдак и до самого графа дойдет... Да кто им позволил?!»

Ему вдруг захотелось бросить все, нанять кибитку и укатить в деревню, и чтобы вьюга замела следы, и чтобы лица всех стерлись в памяти, исчезли с первым тающим снегом. Весны! Весны! Весны не хватало, зеленой травы, голубой воды, покоя... Ну их всех к черту, пусть передавят друг друга, злодеи, упыри, все, все: и Филимонов этот со своей шайкой, и Слепцов, и Боровков, и граф, и государь, черт их всех раздери! А полковник-то, злодей, злодей! Из-за него, зло-

дея, такая чертова кутерьма, грех, раздор, плач... да и сам ведь — в железах, в каземате, дурень чертов! Зачем? Зачем?.. Матушка, протяни белую свою рученьку, помоги великодушно своему дитяти...

Стемнело. Вошел Ерофеич, с жалостью поглядел на молодого барина.

— К вам человек господский, батюшка, с письмом.

— Какой еще человек! — заорал наш герой, бросаясь в кухню.

Мужик самого подлого вида топтался возле дверей.

— Ааа, филимоновское отродье! — крикнул Авросимов, поднимая кулаки.— Филимонов прислал?!

— Никак нет-с,— прохрипел мужик с ужасом.— Мы заикинские.

— Какие такие заикинские? Ты тоже, небось, про все прознал, да? Тоже помогать пришел?!..

— Никак нет-с. Барышня передать велели,— и протянул розовый конверт.

Тут все оборвалось. Схлынуло. Шум затих. Вдалеке словно песня раздалася. От розового конверта пахнуло духами, умиротворяя, пригибая к полу, к земле, к траве... Лицо Настеньки, окруженное сиянием, возникло перед нашим героем.

— Велели ответ принесть,— сказал мужик.

Настенька, ангел, вся выточенная из стекла, из хрусталя, богиня, так что сквозь нее проглянуло пламя свечи... Что-то булькнуло в горле у Авросимова, и он, прижимая к сердцу конверт, громадными прыжками устремился в комнату.

«Любезный господин Авросимов,

несчастный Николай Федорович много лестного написал про вас, как вы его опекали и спасали,

и какой вы благородный человек, почему мы вас с маменькой ждем в пятницу вечером непременно, и не подумайте, сударь, обмануть наших ожиданий. Напишите ответ и успокойте два бедных сердца.

Настасья Заикина»

Он рухнул на стул, приготовил бумагу, очинил перо (да скорее же, черт!), привычно изогнулся над столом, подвинул свечу поближе и, глядя Настеньке прямо в глаза, спасительнице — в глаза, повел перо по бумаге.

«Милостивая государыня Настасья Федоровна, кабы не моя жалость к Вашему горемычному братцу да не мое перед Вами восхищение, да разве я посмел бы с Вами заговаривать там, на плацу, да возле моста, когда Вы изволили ночью одна со своей печалью возвращаться домой?

Вы такая великодушная простили мою дерзость и желаете вместе с Вашей матушкой меня видеть, на что я очень радуюсь и спешу Вам сообщить, что буду у Вас в пятницу вечером всенепременно.

За сим кланяюсь Вашей матушке

Высочайше учрежденного Комитета
писарь и кавалер

Иван Авросимов».

Почему кавалер — сие осталось тайной даже для него самого, ибо кавалер — носитель ордена, а ордена наш герой не имел, но рука бодро и так вдохновенно вывела высокопарное словцо, что ему захотелось тотчас же броситься перед Настенькой на колени и губами приложиться к самому краешку ее подола.

В пятницу!

Но передав письмо мужику, он ощутил, как ликование в нем задрожало и начало гаснуть, ибо в сознании вновь всплыло страшное замышляемое им дело, которое тоже ведь имело быть в пятницу. Ах, Настенька, судьбе не угодно было свести их, и желанное свидание должно было уже разрушиться, но в последнюю минуту Авросимов, превозмогая отчаяние, решил перенести освобождение узника на субботу!

Не успел он все это решить и взвесить, как снова какой-то господин в добротной шубе, распространяя аромат спиртного, шагнул к нему с порога.

— Стародубцев,— представился он.— Филимонов в отчаянии.

— Знать не хочу никакого Филимонова,— заявил наш герой, опираясь о Настенькино плечо.

— Дело в том,— как ни в чем не бывало продолжал Стародубцев,— что, отказавшись в разговоре с вами от вознаграждения, он понял, что допустил ошибку... Дело в том, господин Авросимов, что за два дня сие приготовить невозможно, согласитесь. А уж ежели готовить, так надо дать туда-сюда ради скорости... За скорость, сударь.

— Ну и что? — спросил наш герой, чувствуя, что сейчас рассмеется, ибо лицо Стародубцева выражало такую гамму переживаний, словно это он томился в каземате и все предпринимаемые лихорадочные действия направлены на его одного спасение.

— А то,— сказал он,— что извольте деньги, сударь. Без денег Филимонов отказывается.

— Сколько же вам требуется? — засмеялся наш герой.

Но Стародубцев смехом пренебрег, пошевелил пальцами, поглядел в потолок.

— Пятьсот ассигнациями, сударь,— твердо сообщил он.

— А было бы на субботу?

— Было бы на субботу — и без денег обошлись бы,— сказал Стародубцев,— Не было бы срочности... А сейчас извольте денег.

— Переношу на субботу,— сказал, смеясь, наш герой, видя, что и Настенька смеется. Каково-то теперь Филимонову?

Стародубцев стоял как громом пораженный. Лицо его исказилось, глаза полезли из орбит. Он задыхался. Авросимова же сие нисколько не волновало, и он терпеливо ждал, когда, наконец, очнется нахальный этот господин.

Наконец все стало на свои места. Буря миновала.

— Нехорошо-с,— промолвил Стародубцев.— Узник надеется, а вы меняете сроки. Нехорошо-с. Ладно, я Филимонову передам, но это неблагородно-с...— и он удалился, пятясь и глядя на нашего героя с укоризною.

Уход его был как нельзя более кстати, ибо образ Настеньки вторгся в душу нашего героя, требуя к себе внимания, и вторжение то было Авросимову сладко.

Дивные картины замаячили пред ним: то будто бы он медленно и бездумно идет с Настенькой по зеленому лугу, и пчелы гудят; то вот опять же они вместе спешат к усадьбе, где матушка уже их ждет; то будто Настенька глядит на него ясными своими глазами, и таинственная многообещающая улыбка шевелится на ее губах... Вдруг он увидел, как обнял ее, и тонкое, горячее тело задрожало, забилось, голова запрокинулась, и открылась белая шея, и голубая жилка шевельнулась на ней. «Ах! — воскликнула она, слабея.— Оставьте!..», а сама прижалась к нему, целуя в щеки, в губы, в лоб быстро-быстро, с отчаянием и любовью.

Эти сцены, увиденные им и прочувствованные, так разгорячили его воображение, но в то же время так смягчили сердце, что он, наконец, позволил Ерофеичу покормить себя, чем старика осчастливил.

Поев, он заторопился, упрятал поглубже, поближе к сердцу розовый конверт и пошел из дому.

Но едва ступил он на мостовую, как тотчас несколько ванек ринулись к нему, окружили, зазазывали прокатиться. Это обстоятельство показалось ему весьма странным, и он, с трудом от них отделавшись, пошел по морозцу пешком. Однако ваньки, как привязанные, тянулись следом, делая какие-то намеки, подъезжая вплотную и даже пытаясь схватить за рукав.

Тут из темени вынырнул неизвестный Авросимову человек и, поровнявшись, шепнул в ухо:

— Филимонов велел кланяться... Ни об чем не беспокойтесь.

Сказав это, он исчез, оставив нашего героя самого во всем разбираться.

«Да что же это такое! — рассердился Авросимов.— Что они, взбесились?!»

— Барин,— окликнул его ближайший из возниц.— Ты в нем не сумлевайся... Правая рука у Филимонова...

Тут Авросимов не выдержал и кинулся бежать. Свернул в проходной двор, несколько раз упал, запутавшись в длиннополой шубе, и, выбежав на Большой проспект, вздохнул наконец с облегчением. Ванек нигде не было видно, да они теперь не скоро смогли бы его разыскать. Освещенная дверь немецкой кондитерской привлекла его внимание, и он вошел. Вечер был в самом разгаре. Едва прозвенела дверь, как все тотчас же на него уставились, а хозяин в оранжевом колпаке — поклонился. Наступила тишина.

«Все про все уже знают!» — с ужасом подумал Авросимов.

— Чашечку кофе? — спросил хозяин.

— Благодарствуйте,— с трудом выдавил наш герой.

— Нынче ветер,— сказал хозяин, многозначительно подмигивая.— А господин Мешков тоже здесь.

— Я не знаю никакого господина Мешкова,— едва не плача, проговорил Авросимов.— Как это можно так бесчестно приставать!..

Весь Санкт-Петербург будто не спал, а занимался делом, хлопоча вокруг известного вам предприятия. Везде Авросимов видел обращенные на него лица, полные тайны глаза. Какие-то незнакомые люди его останавливали, хватали за рукава, уверяли, что все, мол, движется преотлично, чтобы он не волновался и чтобы во всем полагался на гений Филимонова. Наконец терпение его лопнуло, и он вскочил в первого же вывернувшего из-за угла ваньку и велел гнать что есть мочи к флигелю, решив про себя, что ежели возница заговорит о Филимонове, стрелять ему в спину, разбойнику! Он извлек пистолет из тайника, но возница, к счастью, молчал, не будучи, видимо, посвящен в тайну треугольного равелина.

Кони понесли. Ветерок задул, заморозил, и Авросимов совсем было успокоился, как вдруг сани вылетели на Сенатскую площадь, на ту самую, с которой, ежели вы помните, началась необыкновенная карьера нашего молодого человека.

Вид площади многое ему напомнил. Сквозь темень, на фоне чуть светлеющего к северу неба он разглядел шпиль крепостного собора. И сейчас же прежнее мужество вдруг пробудилось в нашем герое, все тело его напряглось, мысли заработали четко, не перегоняя одна другую.

Заспанный будочник был крайне удивлен, увидев, как какой-то полоумный ванька, стремительно взметая снежные вихри, пронесся по площади, сделав круг и едва не разбившись о гранитные глыбы, во множестве нагроможденные одна на другую, и помчался обратно тем же путем, и скрылся из глаз.

Чем ближе подлетали сани к крепости, тем сильнее и призывнее раздавался зов, так что даже кучер стал подергивать плечами, словно от нетерпения. Сразу же померкло Настенькино лицо, и стал казаться нелепым завтрашний поединок, потому что в треугольном равелине метался злодей, несчастный человек, пророк, разбойник, переворотивший всю душу, достойный самой лютой казни и самого возвышенного благоговения, убийца и сеятель добра, один, один из племени людского, вышедший за круг, покинутый всеми и всем необходимый: и государю, и графу, и ему, Авросимову, проклинающему его и плачущему над ним. И эти проклятия и плач были так сильны, что Филимонов тотчас же вмешался, словно и без того забот ему не хватало.

Вот она, страшная стена, примолкшая, подкарауливающая новые жертвы, запорошенная снежком, пугающая людей.

«Господи,— с содроганием подумал наш герой,— не обойден я тобою, не обойден! Я жив, на воле, счастье-то какое!»

Сани остановились. Он велел кучеру ждать, а сам двинулся к стене. Страх охватил его. Отсюда, снаружи, была она ужаснее. Казалось, что она дышит, что она живая, что вот-вот и утянет в свою глубину, в сырость, к прусачкам.

Он прошел вдоль стены порядочно далеко, ваньки уже не было видно. Ветер усилился. Снег закрутил пуще.

Как же все это должно свершиться? Как же будет он уходить от сих стен, сквозь решетки, через штыки? Где она, где та счастливая лазейка, которая снилась ночами? Или действительно есть Филимонов, которому все нипочем? Или воистину весь Петербург только этим и дышит, вздымая свою больную грудь, и будет так, что все, крича и ликуя, хлынут на эту степу, так что она рухнет, и полковник, пожелтевший от раздумий и боли, выкарабкается из-под развалин, чтобы упасть людям на руки?

Пистолет шевельнулся в своем тайничке, английская диковинка со свернутым курком. Может, тоже от страха пред этой степою шевельнулся?

В этот момент громадный черный экипаж, взвизгнув полозьями, остановился неподалеку, и какие-то фигуры засуетились возле. Зафыркали лошади.

— Да подите вы прочь! — услыхал он хриплый голос графа.— Дайте покоя!..

«Пропал,— подумал Авросимов.— Сейчас жилы тянуть начнет!»

Заслонившись рукавом, он попятился к стене, в темень, и тут военный министр узнал его.

— Ох-хохо! — радостно закричал он.— Да иди же сюда, иди! Чего боишься?.. Вот ты какой, гуляка!..— сказал он, когда наш герой приблизился.— Ну, какую даму подкарауливаешь? — и захохотал. Молоденький офицер, высунувшись из-за экипажа, скалил зубы в улыбке. Слава богу, граф был в расположении.— Рассказывай, рассказывай, ну...

— О чем же, ваше сиятельство? — с трудом выговорил Авросимов.

— Я теперь моциону без тебя и не мыслю,— сказал граф.— Каков ты! Весь в тайне... Ну почему это я тебя встречаю?.. А я-то думал: ну перепутает рыжий этот — где добро, где зло... вяжи его тогда.

— За что ж меня вязать? Я, ваше сиятельство, стараюсь, всегда все, что ни прикажут, в точности, чтобы угодить...

«Господи, спаси и защити!..»

— А вязать, вязать тебя, злодея! — засмеялся Татищев.— Да не вязать, а в железа! Хочешь?.. Не хочешь? То-то, любезный. А скажи-ка мне, любезный, почему это в глазах твоих не вижу дерзости? Притворяешься? Или смирный ты?..

— Не знаю,— протянул Авросимов с удивлением, но без прежнего ужаса.

— Где же дама твоя?

— Не пришла-с,— облегченно выдохнул наш герой, впервые видя такое настроение у графа и радуясь, что разговор складывается легкий, почти приятельский.— Напрасно жду-с...

Граф снова засмеялся, молоденький офицер с почтением вторил ему из темноты, у Авросимова совсем отлегло.

«Не боюсь, не боюсь! — подумал он, ликуя.— Не боюсь да и все тут!»

— А что это, ваше сиятельство, места для моциону какие ищете? Тоже, небось, дама? — спросил он осмелев.

— Цыц,— сказал граф.— Всякий сверчок... знаешь?

— Знаю,— сказал Авросимов покорно.

«Бог милостив ко мне,— подумал он.— Честь это али что другое?»

— Отчего же все-таки,— сказал граф,— именно ты мне встречаешься, а не кто другой?

— Оттого, ваше сиятельство,— с почтением ответил наш герой,— что природа, верно, так определила, не иначе. Я и сам этому удивляюсь, а понять не могу...

— Вот мы сейчас с тобой возле крепости ходим. Чего нам надобно в сем зловещем месте? — граф засмеялся: — Уж не подкоп ли ты умышляешь?

Матушка, ваш рыжий сын с самим военным министром так запросто беседует, и ничего. Вот офицер из-за кареты выйти боится, а ваш сын под высокой куртиной отвечает без промедления на все вопросы графа. Нет, ваше сиятельство, не подкоп, ничего такого... Ничего, никогда, никому, нитаковаго... Уж ежели чего — так это все Филимонов!

— Хорош, хорош,— сказал граф милостиво.— Я за тобой, любезный, посматриваю. Хорош. Исполнителен. Смирен. От тебя польза... Я ведь читал твое донесение. Доволен...

— Да что вы, ваше сиятельство! — воскликнул Авросимов, захлебываясь.— Так мелочь какая-то, сущие пустяки-с...

Вся февральская ночь в эту минуту начала опускаться на Авросимова, мягкая и душистая, словно елей. Ветер утих. Будто соловьи ударили с разных сторон свои восторженные гимны. Граф погрозил ему пальцем шутливо и сказал на прощание:

— Чаю я, не миновать тебе Владимира носить, любезный...

Наш герой почувствовал головокружение при этих словах. Тем временем граф удалился, и вскоре черный экипаж исчез во мраке.

Пение соловьев продолжалось. Крепость стояла притихшая. Видимо, полковник-злодей спал на жесткой своей кровати, потеряв всякую надежду.

У знакомых ворот на Мойке наш герой, полный ликования, нежданно столкнулся с господином в богатой шубе.

— Я от Филимонова,— сказал тот вполголоса.— Суббота остается?

Авросимов засмеялся.

— А вы ступайте к Филимонову,— сказал он, отстраняя господина,— да у него и спрашивайте.

— Извольте задаток,— не унимался тот.— Без денег какая же работа? Филимонов велел передать, мол, давать приходится туда-сюда... Вы же об том сами знать должны... Пожалуйте задаток... Нет уж, позвольте... Уж вы сначала дайте...

— Да не дам я! — крикнул наш герой, оглядываясь, ибо граф мог вполне очутиться и здесь.— И не позволю!..

— Да я Филимонову буду жаловаться! — предупредил господин.— А вы неблагородно поступаете, ежели хотите знать! Так нельзя, чтобы договориться, а после...

Но Авросимов уже не слушал. Господин, натурально, исчез. Впереди горел фонарь над входом в знакомый флигель, знаменуя начало новых событий.

16

Теперь давайте-ка отвлечемся от нашего героя, как он входил в тепло и сытость, а полюбопытствуем на неугомонную родственницу пленного полковника, не знающую покоя ни днем, ни ночью, ибо она в эту самую минуту, дождавшись возвращения графа Татищева из ночной прогулки, была звана молоденьким адъютантом в кабинет к военному министру. Просидев в ожидании больше двух часов, она никак не верила, что граф так просто ее примет, однако вошла к нему, сохраняя достоинство, с высоко поднятой головой, поигрывая родинкой, и только чрезвычайная

бледность выдавала ее состояние, что не укрылось от проницательного взора графа.

Не желая придавать своему визиту характера сугубо личного, она с первых же минут разговора поделилась с графом своими опасениями насчет возможных страшных бедствий, грозивших и следствию и самому его сиятельству, на что военный министр тут же поинтересовался, откуда сие стало ей известно, хотя серьезной тревоги и не проявил. Тут она напомнила ему о молодом рыжем дворянине, что вызвало у графа улыбку, ибо он тотчас вспомнил свое с ним случайное нынешнее рандеву. Так, между «покорнейше прошу», «не извольте беспокоиться», «чему обязан», «не придаю значения пустякам» и «ваше благородное волнение», проявилось вдруг краснощекое, какое оно им запомнилось обоим, лицо Авросимова с удивленно посаженными глазами, в которых бушевали отчаяние и робость, и граф вдруг различил страх в голосе несчастной дамы...

— Я боюсь за него,— сказала она, ломая пальцы.— Весь этот вздор может стать достоянием... Ваше сиятельство, я уверена, что это вздор, но вздор, поселившись в юном сердце, может привести к несчастьям... Мы с Владимиром Ивановичем твердо решили спасти молодого человека, и я не преминула обратиться к вам...

— То есть, вы утверждаете, что сей вздор может породить преступные действия? — спросил граф, мрачнея.

— Нет,— заторопилась она.— Это фантазии... Я не утверждаю, но вполне возможны подобные намерения со стороны каких-то там лиц...

— Сударыня,— улыбнулся Татищев,— это невозможно. Пустое...— однако присел к столу и, все так же с улыбкою, написал на листке несколько слов, ак-

куратно сложил листок и позвонил. И тотчас влетел в кабинет молоденький офицер и пухленьким ртом выкрикнул о своей готовности.., на что военный министр, вручив ему листок, велел немедленно отыскать «хоть из-под земли» поручика Бутурлина и передать ему это послание.

Когда офицер убежал, они стали прощаться, раскланиваться и дарить друг друга всякими необязательными словами, выражая надежду на благоприятный исход дела, ибо «Владимир Иванович будет сильно удручен наказанием молодого писаря, ежели вдруг тот невиновен, потому что разговор идет о принципах, а не о конкретных людях...», «Да, сударыня... Кто бы мог подумать!.. Примите уверения...»

А во флигеле тем временем был все тот же восхитительный полумрак, в котором, словно в заросшем пруду, лениво колыхались призрачные фигуры и слышался легкий шелест карт, похожий на редкие всплески воды, да приглушенные неразборчивые слова, тихий смех, вздохи.

Как всегда, никто не обратил на нашего героя внимания, но он вошел в тот густой и ленивый мир уже кавалером, и из тьмы гостиной залы глядел на него багряный крест Святого Владимира, окаймленный золотом и чернью, так что дух захватывало.

Все были разделены на группы, на пары, и никому не было до Авросимова ровно никакого дела. На ковре желтели апельсины. Бутурлин держал банк. Браницкий в неизменном своем халате возлежал на тахте. Гренадерский поручик Крупников одиноко пил перед самым камином, и от увядающего пламени лицо его казалось медным. Остальные были люди незнакомые.

Наш герой повалился на ковер недалеко от ног
 Бутурлина, ожидая окончания игры. Все вокруг было,

как в первое посещение, однако чего-то все-таки не хватало. И вдруг, обведя медленным взором всю залу, он понял: не хватало тайны, той самой, которая раньше парила среди людей. Теперь ее не было: либо она еще не прилетела, либо уже померла и лежала где-нибудь бездыханная, и Авросимова потянуло выпить вина, дабы охладить разгоряченное тело, и именно — выпить, а не так, как тогда, когда вино, словно нектар, вливалось без спросу, словно оно было во всем: в мебели, в стенах, в каминном пламени, в воздухе, в табачном дыме.

За круглым столом зашумели. Вист кончился. Бутурлин сполз со стула и улегся на ковре, подперев голову тонкою рукою.

— Не боишься завтрашнего утра? — спросил у Авросимова.

Тут наш герой снова вспомнил о поединке.

— Вы оба прекрасны,— сказал Бутурлин.— Будет худо, ежели один из вас растянется.

«Действительно,— подумал Авросимов,— помирать неохота».

— У меня счеты с ним,— сказал он.— Примирение невозможно.

— Возможно,— сказал Бутурлин.— Все возможно. Обнимитесь...

— Да нет же! — воскликнул наш герой без энтузиазма.— Где же это будет?

— За Новой Деревней.

«Не время стреляться,— подумал Авросимов с тоской.— Кабы я был свободен... Ах, боже мой!»

— Да обнимитесь вы, и все...

— Нет,— сказал Авросимов.— Это невозможно.

— Ну и черт с вами,— вяло ответствовал кавалергард.— Ну, давай.

И он приподнял бокал.

Авросимов выпил. Бутурлин усмехнулся. Бокал в его руке закачался, поплыл и опрокинулся, и меж тонких губ кавалергарда медленно потекло вино.

— Ах Ванюша, ты стрелять-то умеешь?

— А ты, Бутурлин, крепостных прусачков боишься?.. Почему ты, Бутурлин, там не оказался, а здесь вино пьешь?

— Это дело не по мне, Ванюша,— засмеялся кавалергард.— Видишь какие у меня руки тонкие?.. Да чем здесь лучше, философ?.. Ты хоть стрелять-то умеешь?

«Уж ежели я со свернутым курком в унтера угодил,— подумал Авросимов,— так уж из нового пистолета подстрелю Слепцова непременно...»

Тут ему сделалось грустно, и желание убивать ротмистра пропало.

— Если в тебя пулю влепить,— сказал Бутурлин,— ничего тебе не сделается: вон ты здоровенный какой, и щеки у тебя палились, ровно яблочки. Тебе бы, Ванюша, в деревню, там жить...

А время меж тем шло, и поединок приближался, и Авросимов только об нем и думал, то есть страдал, потому что, милостивый государь, вообразите-ка, что это вам завтра стреляться предстоит, а у вас уже — ни злости, ни благородного порыва, а лишь одна истома да сожаление, после коих обычно пора течь слезам... И вот в таком состоянии он вспоминал, а вспомнить не мог, что же, собственно, вынуждало его тогда бить ротмистра по щеке? Ну, история с Заикиным, натурально. А что в сей истории было такого, что ротмистра следовало оскорбить? Подпоручик этот сам лгал и ввел в обман других, сам плакал... уж постыдился бы плакать! Плакал бы тогда, когда, ручки потираючи, предвкушал легкую победу, когда соблазнам верил и, речами полковника опьяненный, видел

себя генералом, что ли... А ротмистр? Он же при исполнении служебных обязанностей, разве он мог быть другим? И в дом свой привез, поил, кормил... Так за что же его?.. Хотя, с другой стороны, Дуняша... Да мое ли это дело?..

Опять начиналась лихорадка. Мысли скакали в голове. Вино не успокаивало, даже не ощущалось, лилось и лилось, подобно воде. И все вокруг казались неживыми, а так — сизыми призраками без глаз и без слов, размахивающими длинными руками. И призраки играли в вист, а над круглым столом висела тишина. Браницкий исчез, а на тахте спал Крупников, раскинув руки.

Наш герой тоже незаметно и счастливо уснул, как это с ним не раз бывало, но громкие голоса заставили его пробудиться.

Теперь все находились в странном возбуждении. Дрова в камине трещали, и пламя буйствовало. Браницкий стоял в шубе посреди залы. Остальные его окружили.

— Это невозможно,— сказал Крупников.— Быть не может. Этого не может быть... Вздор.

— Ну хочешь пари? — спокойно предложил Браницкий.— Я ставлю своих девок, а ты, ежели проиграешь, обос... ворота Строгановского дома... Согласен?

Тут все зашумели.

— Перестаньте, Браницкий,— вмешался незнакомый павловец.— Вы не лжете? А?.. Это же страшно, что вы говорите... Это правда? Клянитесь.

— Чем надоедать с подозрениями,— обиделся Браницкий,— сходите к Зимнему, поглядите, что творится...

— Как же это случилось? — сказал Крупников.— Нужно идти, господа...

— А не сходить ли в самом деле? — сказал Бутурлин.— Это даже любопытно.

— Как это вышло? — зашумели все.— Да тише! Дайте ему рассказать!

— Господа,— сказал Браницкий, сбрасывая шубу к ногам,— рассказывают, будто нынче ночью, ну часа два назад...

— Что случилось? — спросил наш герой.

— Тише!

— Пестель бежал,— глухо промолвил Бутурлин.— Да он лжец, этот толстяк...

Большое мощное тело нашего героя вдруг обмякло, голова закружилась, он взмахнул руками, словно ребенок на неровном месте, но этого, к счастью, никто не заметил, ибо взоры всех были устремлены на рассказчика.

— Надо идти,— сказал Крупников.

— Тише!

— ...пока солдаты спали, опоенные каким-то зельем,— продолжал Браницкий,— он с помощью караульного офицера (черт знает, кто там нынче караулил) выбрался...

— Ага,— воскликнул павловец,— сукин сын!

— Самое удивительное, господа,— сказал Браницкий,— что платье свое он оставил в нумере. Очевидно, переоделся. Предполагают, что он отправился в Малороссию, где его ждут в армии...

— Вздор,— сказал Бутурлин.— А как же государь?

— Государь уехал в Царское... Говорят, множество людей принимало участие в сем деле.

— Не может быть! — крикнул Крупников. Черные усы его стояли торчком, вызывающе.

— Очень может быть,— вздохнул павловец.— Отчего же не может?

У Авросимова перед глазами тотчас возникли подлые и таинственные физиономии Филимонова и его сообщников.

— Филимонова не упоминали? — спросил он ослабевшим голосом.

— Упоминали,— быстро поворотился к нему Браницкий.— А что? — и хитро улыбнулся.

— Так, темный человек,— сказал наш герой.

Браницкий засмеялся.

— А может, это и к лучшему, что он бежал,— тихо заметил кто-то.— Его бы не помиловали... Его одного не помиловали бы...

— Вы с ума сошли! — рассердился Крупников.— Опять все сначала?

«Действительно,— подумал наш герой,— неужто все сначала? Никто, никогда, никому, ничего... Теперь уж не до награды...»

— Господа, прощайте, мне следует быть там,— решительно произнес Крупников, направляясь к выходу. В дверях он остановился.— Хотя все это похоже на дурной сон. Вы должны понять, сударь,— сказал неизвестно к кому обращаясь,— что сия история печально отразится на вас же самом, да на мне... На нас на всех... Мы ответчики, сударь. Он едет в Малороссию, а мы с вами... Видите, как он об нас не подумал...

— Полагаю, что и вы о нем не думали, когда препровождали его в Петербург,— усмехнулся Бутурлин.— Каждый думает об себе...

«Надо уезжать! — подумал Авросимов, теряя силы.— Скорей, скорей от этих перемен, к черту от этих бурь! Скорее, скорее! Надо бы Настеньку... Ах Настенька, ваше душистое письмо не укрепило меня! Я не в себе нынче...— он налил большой бокал вина

и с жадностью его осушил.— Ах чертов полковник, об нас-то он и не подумал».

— Да и вы, Бутурлин, с вашим графом о полковнике не очень заботились, надеюсь,— отрезал Крупников, смеясь.— Вы его хорошо в оборот взяли, очень умело...

— Послушайте,— вмешался Браницкий,—перестаньте считаться, ну что за счеты?

Авросимов снова выпил до дна.

— Что же будет? Что же будет? — спросил он у Бутурлина. Кавалергард не ответил.

— Представляю, как граф рвет и мечет,— сказал бледный павловец.

— А я,— вмешался Авросимов,— нынче графа встретил у крепости... нынче ночью...— все уставились на него.— Он меня спрашивал, уж не подкоп ли я веду...

— Не мелите вздора! — сказал Браницкий.— Вы пьяны...

— Ей-богу... Он посулил мне Владимира...

В этот момент Браницкий захлопал в ладоши и поднял обе руки.

— Господа,— торжественно произнес он. Все затихли.— Простите меня великодушно... Будьте снисходительны к старому жеребцу...

— Я так и знал,— равнодушно сказал Бутурлин.— Какая свинья...

— Что? Что такое? — понеслось по зале.

— Он соврал. Я предполагал это.

Авросимов горько зарыдал, уткнувшись лицом в тахту.

— Да, господа, я соврал,— засмеялся Браницкий, очень довольный произведенным эффектом.— То есть не то чтобы соврал...

 — Скотина ты, Браницкий!

— Ах, не то чтобы скотина,— смеялся толстяк,— но попал в самую точку... Жаль, Круппиков, что ты не спорил... Получил бы сейчас Дельфинию. Дурак...

Кто-то засмеялся тоже, однако общего веселья не последовало. Все разбрелись по своим углам, бокалы зазвенели пуще, со злостью...

Нашему герою стало совсем нехорошо. Шатаясь, он выбрался из залы и, спотыкаясь о брошенные шубы, распахнул входную дверь. Свежий ветер ударил в лицо, наполнил грудь, остудил, привел в чувство. Авросимов шагнул за порог и вздрогнул от изумления: на ступеньках крыльца, под входным фонарем, в желтом кругу света сидел пригорюнившись капитан Майборода.

— Господин Ваня,— всхлипнул он,— какая несправедливость. Вы там в тепле и веселье, а я один на морозе. Хиба ж це справедливо?

— Да чего это вы тут-то сидите? — изумился наш герой, трезвея.

— Не пускают. Велено не пускать...

— Ну домой идите, бог с ними... Замерзнете.

— Нет,— упрямо сказал капитан.— Пусть это им укор будет... Я скоро из Петербурга уеду, а пока пусть им укор будет...

Авросимов вспомнил, как изящная ладонь Бутурлина хлестала капитана по щеке, махнул рукой и воротился в залу.

Толстяк Браницкий был в восторге от своей выходки, похлопывал друзей по плечам, подносил вина каждому, смеялся, и постепенно черные тучи поднялись к потолку и рассеялись, и снова пламя камина, как единственное их ночное солнце, бушевало, посылая тепло и свет.

И наш герой, устроившись поудобнее в креслах, предался размышлениям о жизни, и крест Святого

Владимира снова выплыл из тьмы и засиял пред ним. Однако в высокопарном его сиянии чего-то уже не было, словно камень не до конца свалился с души, в которой продолжался коварный поединок беды и славы. Ах полковник, он ведь рыдал, наш молодой человек, проклиная ложь Браницкого, твое злодейство и жалея об тебе! Ах ротмистр, и он рыдал не из страха за свою жизнь, а потому, что судьба ставила его к барьеру, позабыв, что сердце-то отходчиво. Ах Настенька, и об тебе он рыдал, рыжий наш великан, не веря своим фантазиям и проклиная их. Но тут же перед ним возникла синяя полоса лесного тракта, по которому весело летит его кибитка, в которой он — один, один, один, совсем один, черт вас всех побери!

В этот момент неслышно, на одних носках появился в зале молоденький адъютант графа Татищева, с пунцовыми от ветра щеками, со счастливой улыбкой ребенка на устах, полный надежд на близкое счастье, которому ничто не помеха. Он легко поклонился, кивнул эдак всем и, увидев Бутурлина, еще более засиял, засветился.

— Вот вы где? — воскликнул он звонко.— А уж я-то ищу вас, я-то вас ищу!.. Я уже и надежду потерял... Как дымно у вас, господа,— и с загадочной улыбкой: — господин Бутурлин, вам письмецо от одной нашей общей знакомой... Ежели вам будет угодно, у меня возок...

— Ага,— сказал Крупников,— от дамы. Стало быть, жизнь продолжается, господа...

Бутурлин покинул игру и легко, как бы танцуя, подбежал к молодому человеку, и белый листок перепорхнул с ладони на ладонь.

— Вот так...

Все это происходило в противоположном от Авросимова конце залы, но молоденький адъютант, поку-

да Бутурлин пробегал листок, разглядел нашего героя и радостно закивал ему.

— Ах сударь, и вы здесь?! Граф очень лестно говорил об вас! Я крайне рад видеть вас и сказать вам об этом.

В этот момент Бутурлин поднял голову и поглядел через зал на Авросимова. Затем вновь пробежал листок и снова глянул, и решительно направился в его сторону. Авросимов увидел глаза кавалергарда, и сердце его шевельнулось.

— Прости, брат,— сказал Бутурлин и пожал плечами.— Я должен тебя арестовать...

Услыхав сии страшные слова, наш герой вскочил так, что проклятый подарок капитана, вырвавшись из ненадежных своих петель, пребольно ударил его по коленке и распластался на ковре. Проворнее ястреба кинулся к нему Бутурлин. За круглым столом шла игра. Никто ничего не слыхал, слава богу, и не видел. Незаметно они покинули сей гостеприимный кров, и сквозь шум ветра и фырканье лошадей то ли воистину сказанное «прости, брат», то ли придуманное в слабости, донеслось до слуха нашего героя.

17

В разговоре с графом Авросимов все начисто отрицал. Граф слезам его верил. О Филимонове вопросов не было, ибо в чем-в чем, а уж в фантазиях собственных мы вольны, и нет нас вольнее. Знатнейшие специалисты проверяли английский пистолет неоднократно, но проклятая игрушка упрямо отказывалась стрелять. Остаток ночи, проведенный нашим героем взаперти на гауптвахте, вызвал в нем такую бурю отча-

яния, а случайный прусачок, редкий гость в сем сухом месте, так его возбудил, что граф не стал продолжать разговора, а махнул рукой, дабы избавили его от вида сего зареванного лица.

Однако вышло повеление Авросимову крепости не посещать, а в двадцать четыре часа покинуть столицу и торопиться в свою деревню, что он, сотрясаемый лихорадкой, и исполнил за очень короткое время.

Наступила весна, лето. Как совершилась жестокая экзекуция, наш герой, натурально, видеть не мог, пребывая в счастливом неведении и оправляясь от зимней своей болезни. Уже значительно позже, когда печальная весть пробралась в их медвежий угол, в самую осеннюю пору, сквозь запах липового меда, грибов, опадающей антоновки, она, как ни была печальна, все же не смогла его поразить. Видимо, где-то в глубине души таилось все-таки предчувствие неминуемой жестокой расправы над несчастным полковником, не ко времени родившимся.

Тут, не омраченная ничем, в разгаре осени свершилась свадьба, внезапная как первый снег, и наш герой совсем закружился, завертелся, зараспоряжался, ибо никаких новых печальных известий не возникало больше, а уж слух об том, что Аркадий Иванович где-то в далекой Темир-Хан-Шуре застрелился, слух об том, по малости своей, не дошел и вовсе.

Вот и все, милостивый государь. Простите великодушно. Что же касается меня, то я, представьте, даже рад за нашего героя, что так все у него устроилось, так сложилось ко всеобщему ликованию.

Бог с ним совсем.

Эпилог

В минувшую субботу, в сороковую годовщину страшной казни, очутился я, милостивый государь, на Васильевском острове, за Смоленским кладбищем, у самого взморья, где, по преданию, будто бы были тайно схоронены тела тех пятерых несчастных и среди них полковник... Ах, полковник! Государь отобрал у него жизнь, земля — тело. Пора бы уж мне было, кажется, позабыть обо всем этом, а я не мог, и чем ближе была полночь, тем явственнее в моем воображении вставали кронверк и пять виселиц, и я слышал нервический треск барабанов... Все пятеро медленно тянулись к эшафоту. Я видел лишь Павла Ивановича. Он держался прямее, чем обычно, тюремная бледность не покрывала его лица, оно было спокойно, взгляд был ясен... «Возможно ли?!» — ужаснулся я, но тут же безумное мое недоумение исчезло: как пришел он глашатаем своих истин и вождем, так и уходил, будто не было ни равелина, ни прусачков, ни слабости, ни печали о своей молодой жизни. Не всякому такое суждено, но это-то и вливает в нас, остающихся, силы и велит нам помнить...

Да, так вот, значит, очутился я у самого взморья... Как это со мной случилось, что я в свои годы решил

на ночь глядя туда отправиться, в эту глухомань, на самый край света, понять не могу.

Время приближалось к полночи. Было душно поиюльски. Слезши с извозчика перед оградой кладбищенской, отправился я далее пешком. Уже всюду вокруг меня возникали мглистые тени, и старинные вязы и липы легонько шелестели, и за ними вдалеке поблескивали зарницы.

Медленно и бездумно пересек я безмолвное кладбище, не встретив ни одной живой души, и передо мной за стволами дерев шевельнулось свинцовое полночное море...

И тут, милостивый государь вы мой, почудилось мне, будто погружаюсь я в сон, в сказку: странные видения возникли передо мною. На узком пространстве меж кладбищем и водой привиделся мне огонек свечи. Я было подумал, что это и впрямь игра воображения, однако огонек приближался, и вскоре мимо меня проскользил неясный женский силуэт с зажженною свечой в руке. Вдруг справа от себя заметил я другой огонек, за ним — третий, и с другой стороны, и впереди, и сзади... Они вспыхивали, терялись за стволами, появлялись вновь, перемигивались, какие-то призрачные фигуры мелькали там и сям, и слышалась тихая речь, вздохи, едва различимое «ау»... Я вгляделся пуще: какие-то молодые господа и барышни шли со свечами, кружились по берегу, не останавливаясь ни на миг, словно искали что-то.

«Ау! Ау!..» — доносилось отовсюду.

Кто же это поднял меня с моей лежанки в сию душную июльскую полночь? Неужто бессонница и горькая память о прошлом? А этих-то, этих-то, молодых, со свечами, этих-то что привело сюда на печальную тризну? Мало им любви промеж себя и всяческих надежд, чтобы вот так кружиться средь дерев

с поднятыми свечами? И ведь не один какой-нибудь несмышленыш, а множество, множество. И я слышал их вкрадчивые шаги и представлял, какие бури бушуют в их душах, и мне захотелось выбежать к ним и крикнуть:

— Господа, опомнитесь! Или вы тоже все на свой лад переворотить желаете? Или я совсем из ума выжил, старый дурень, эк меня трясет всего при воспоминаниях! Или вам прошлого мало? Куда же вас так много? И печальный мой полковник, взошедший на эшафот с поднятой головой и со взором, устремленным в иные надежды... да неужели теперь он вам снова... он вас снова... он для вас?.. Опомнитесь, опомнитесь, господа!

Окуджава Б. Ш.

О-52 ГЛОТОК СВОБОДЫ. (Повесть о П. Пестеле). М., Политиздат, 1971.

360 с. с илл. (Пламенные революционеры).

Р2+9(С)15

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *Г. Е. Щербакова*
Иллюстрации художника *Кирилла Соколова*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Сдано в набор 8 июля 1971 г. Подписано в печать 11 ноября 1971 г. Формат 70×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 16,36. Учетно-изд. л. 14,78. Тираж 200 тыс. (1—100 000) экз. А11986. Заказ № 630. Цена 69 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.



